

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»

ISSN 2658-5413

Ф

илософические
письма.

Русско-европейский
диалог

1/2023



P

hilosophical Letters.

Russian and European Dialogue

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
РУССКО-ЕВРОПЕЙСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ДИАЛОГА

ФИЛОСОФИЧЕСКИЕ ПИСЬМА РУССКО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

2023

Том 6, № 1

ISSN 2658-5413

Эл. почта: philletters@hse.ru

Веб-сайт: phillet.hse.ru

Адрес редакции: 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. 217

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Редакция

Главный редактор

Владимир Карлович Кантор

Заместитель главного редактора

Марина Сергеевна Киселева

Ответственный секретарь

Анна Александровна Доронина

Шеф-редактор

Сергей Максимович Малков

Редактор-практикант

Екатерина Андреевна Гуреева

Серийное оформление

Петр Павлович Ефремов

Компьютерная верстка

Игорь Юрьевич Кротов

Корректор

Марина Владиславовна Нагришко

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY “HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS”
INTERNATIONAL LABORATORY FOR THE STUDY
OF RUSSIAN AND EUROPEAN INTELLECTUAL DIALOGUE

PHILOSOPHICAL LETTERS. RUSSIAN AND EUROPEAN DIALOGUE

2023
Vol. 6, no. 1

ISSN 2658-5413

Mail: philletters@hse.ru

Web-site: phillet.hse.ru

Address: 217, 21/4 Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editors

Editor-in-Chief

Vladimir Kantor

Deputy Editor-in-Chief

Marina Kiseleva

Executive secretary

Anna Doronina

Chief Editor

Sergey Malkov

Trainee Editor

Ekaterina Gureeva

Layout designer

Peter Efremov

Computer layout

Igor Krotov

Proofreader

Marina Nagrishko

Владимир Карлович Кантор,

д. филос. н., профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующий Международной лабораторией (МЛ) исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ

Марина Сергеевна Киселева,

д. филос. н., профессор, главный научный сотрудник ИФ РАН, главный научный сотрудник МЛ исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, профессор кафедры истории и философии науки ИФ РАН, Москва

Анна Александровна Доронина,

канд. филос. н., стажер-исследователь МЛ исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, ответственный секретарь редакции журнала

Ирина Антанасиевич,

д. филол. н., профессор кафедры славистики факультета филологии Белградского университета, Белград, Республика Сербия

Ольга Дмитриевна Баженова,

д. искусствоведения, профессор кафедры искусств и средового дизайна Белорусского государственного университета, Минск, Республика Беларусь

Константин Абрекович Баршт,

д. филол. н., профессор, ведущий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, Санкт-Петербург

Ирина Захаровна Белобровцева,

д. филос. н., профессор эмеритус, ст. научный сотрудник Таллинского университета, Эстония

Игорь Леонидович Волгин,

д. филол. н., к. ист. н., президент Фонда Достоевского, Москва

Федор Александрович Гайда,

д. ист. н., доцент исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

Анастасия Георгиевна Гачева,

д. филол. н., ведущий научный сотрудник Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, Москва

Алексей Алексеевич Гапоненков,

д. филол. н., профессор Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, Саратов

Ольга Анатольевна Жукова,

д. филос. н., профессор, гл. науч. сотр. МЛ исследований русско-европейского интеллектуального диалога НИУ ВШЭ, академический руководитель ОП «Философская антропология», научный руководитель философской и культурологической магистратуры НИУ ВШЭ

Корнелия Ичин,

д. филол. н., профессор филологического факультета Белградского университета, Сербия

Евгений Вячеславович Казарцев,

д. филол. н., профессор, руководитель школы филологических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Москва

Александр Борисович Каменский,

д. ист. н., профессор, ординарный профессор НИУ ВШЭ, руководитель школы исторических наук факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, Москва

Наталья Васильевна Корниенко,

член-корреспондент Российской академии наук, заведующая Отделом новейшей русской литературы и литературы русского зарубежья ИМЛИ РАН, Москва

Владислав Александрович Лекторский,

д. филос. н., профессор, академик Российской академии наук, Москва

Людмила Луцевич,

д. филол. н., профессор кафедры литературоведения и межкультурных исследований Института специальной и межкультурной коммуникации Факультета прикладной лингвистики Варшавского университета, Варшава, Польша

Алексей Валерьевич Малинов,

д. филос. н., профессор, профессор СПбГУ, Санкт-Петербург

Сергей Владимирович Мироненко,

член-корреспондент Российской академии наук, д. ист. н., профессор, заведующий кафедрой истории России XIX века — начала XX века исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, Москва

Федор Борисович Поляков,

PhD, профессор, профессор Венского университета, Австрия

Ричард Темпест,

PhD, профессор славянских языков и литератур Иллинойского университета в Урбане-Шампейн, старший редактор Journal of Political Marketing, США

Эдуард Тинн,

канд. ист. н., д. филос. н., профессор Евроакадемии, Таллинн, Эстонская Республика

Валерий Александрович Тишков,

д. ист. н., профессор, министр по делам национальностей Российской Федерации (1992), вице-президент Международного союза антропологических и этнологических наук, академик Российской академии наук, Москва

Татьяна Витаутасовна Чумакова,

д. филос. н., профессор, профессор Института философии СПбГУ, Санкт-Петербург

Татьяна Геннадьевна Щедрина,

д. филос. н., профессор, профессор МПГУ, Москва

О журнале

«Философические письма. Русско-европейский диалог» — академический рецензируемый журнал, посвященный теоретическим, эмпирическим и историческим исследованиям интеллектуального диалога России и Европы как равноправных партнеров. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры, рецензии, рефераты и архивные материалы.

Цель

Наладить прямой контакт с западными коллегами для того, чтобы не просто предоставить возможность высказаться на страницах русских изданий (для этого много других площадок), а включить их в прямой диалог по проблемам взаимоважным для русской и европейской мысли.

Тематические рубрики

- Философия в литературном контексте.
 - Россия как иная Европа: культурфилософский контекст.
 - Русский путь к просвещению.
 - Современные аспекты диалога России и Европы.
 - Социальные трансформации в современном мире и сохранность интеллектуальной культуры.
 - Архивные материалы. Из неопубликованного.
- Научная жизнь. Рецензии. Обзоры.

Наша аудитория

- исследователи, занимающиеся изучением истории русской мысли, интеллектуальной историей России, русской литературой;
- преподаватели российских и зарубежных вузов по специальностям, связанным с историей философии;
- студенты, аспиранты и докторанты, изучающие соответствующие дисциплины;
- западные слависты, исследователи русской истории и культуры;
- журналисты и практики, занимающиеся решением социальных проблем России и вопросами коммуникации с Западной культурой;
- люди, не профессионально интересующиеся изучением наследия русской мысли.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: phillet.hse.ru. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: philletters@hse.ru.

Editorial Board

Vladimir Kantor,

Doctor of Philosophy, Professor at the National Research University “Higher School of Economics”, head of the International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue of National Research University “Higher School of Economics”

Marina Kiseleva,

Doctor of Philosophy, Professor, chief research fellow at the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, chief research fellow at the International laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, National Research University “Higher School of Economics, Moscow

Anna Doronina,

PhD of Philosophy, executive secretary of the editorial office of the Journal, research assistant at the International laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue of National Research University “Higher School of Economics”

Irina Antanasievich,

Doctor of Philology, Professor of Slavic Studies Department, Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade, Republic of Serbia

Olga Bazhenova,

Doctor of Art History, Professor at the Department of Arts and Environmental Design of the Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus

Konstantin Barsht,

Doctor of Philology, Professor, Leading Researcher at the Institute of Russian Literature (Pushkin House) of the Russian Academy of Sciences, Saint-Petersburg

Irina Belobrovtsseva,

Doctor of Philosophy, Professor Emeritus, senior research fellow at the Tallinn University, Estonia

Igor Volgin,

Doctor of Philology, Candidate of Historical Sciences, President of the Dostoevsky Foundation, Moscow

Fyodor Gayda,

Doctor of History, Associate Professor at the History Department of the Lomonosov Moscow State University, Moscow

Anastasia Gacheva,

Doctor of Philology, Leading Research Fellow at the A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Alexey Gaponenkov,

Doctor of Philology, Professor of Saratov State University named after N. G. Chernysheskij, Saratov

Olga Zhukova,

Doctor of Philosophy, Professor, chief research fellow at the International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue of the National Research University “Higher School of Economics”. Academic Supervisor of the Philosophical Anthropology EP, Academic Supervisor of the Philosophical and Culturological Master’s Degree at the Higher School of Economics

Cornelia Ichin,

Doctor of Philology, Professor at Faculty of Philology of the University of Belgrade, Serbia

Evgeny Kazartsev,

Doctor of Philology, Professor, head of the School of Philological Studies of the Faculty of Humanities of National Research University “Higher School of Economics”, Moscow

Alexander Kamenskii,

Doctor of History, Professor, Professor at the National Research University “Higher School of Economics”, head of the School of History of the Faculty of Humanities of National Research University “Higher School of Economics”, Moscow

Natalya Kornienko,

Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, the head of the Department of Modern Russian Literature and Literature of the Russian Abroad, Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Vladislav Lektorsky,

Doctor of Philosophy, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Ludmila Lutsevich,

Doctor of Philology, Professor at the Department of Literature and Intercultural Studies of the Institute of Special and Intercultural Communication, Faculty of Applied Linguistics of the Warsaw University, Warszawa, Polska

Alexey Malinov,

Doctor of Philosophy, Professor at the Saint-Petersburg University

Sergey Mironenko,

Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor of History, Professor, the head of the Department of Russian History of the 19th Century — Beginning of the 20th Century of the Lomonosov Moscow State University, Moscow

Fedor Polyakov,

PhD, Professor at the University of Vienna, Austria

Richard Tempest,

Professor of Slavic Languages & Literatures at the University of Illinois Urbana-Champaign, chief editor of the Journal of Political Marketing, USA

Eduard Tinn,

PhD of History, Doctor of Philosophy, Professor of Euroacademy, Tallinn, Republic of Estonia

Valery Tishkov,

Doctor of Historical Sciences, Minister for Nationalities of the Russian Federation (1992), Vice-President of the International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, Academician of the Russian Academy of Sciences, Moscow

Tatyana Chumakova,

Doctor of Philosophy, Professor, Professor at the Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg

Tatyana Shchedrina,

Doctor of Philosophy, Professor at the Moscow Pedagogical State University, Moscow

About the Journal

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in intellectual dialogue between Russia and Europe as equal partners. *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue* publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and archival materials.

Aims

To establish direct contacts with Western colleagues in order to provide them with an opportunity to speak on the pages of Russian periodicals and include them in a direct dialogue on issues of mutual importance for Russian and European thought as well.

Scope and Topics

- Philosophy in a literary context.
- Russia as a different Europe: cultural and philosophical context.
- Russian way to enlightenment.
- Modern aspects of the dialogue between Russia and Europe.
- Social transformations in the modern world and the preservation of intellectual culture.
- Archival materials.
- Reviews.

Our Audience

- researchers engaged in the study of the history of Russian thought, the intellectual history of Russia, Russian literature;
- teachers of Russian and foreign universities in specialties related to the history of philosophy;
- undergraduate and postgraduate students studying relevant subjects; Western Slavic scholars, researchers of Russian history and culture;
- journalists involved in solving social problems of Russia and issues of communication with Western culture;
- people who are not professionally interested in studying the heritage of Russian thought.

Subscription

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue is an open access electronic journal and available online for free via phillet.hse.ru. To receive messages about new issues, please subscribe to the journal's newsletter at: philletters@hse.ru.

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора

В. К. Кантор —

Заветы Карамзина 11

Европа и Россия: парадоксы родства

А. В. Лазарева —

«Сборище диких, ужасных, угрюмых»:

становление негативных стереотипов о России

в Германии в эпоху Тридцатилетней войны (1618–1648) 41

Н. Б. Хайлова —

Встреча «двух России»: письма русских эмигрантов

в Чехословакии с оккупированных советских территорий (1942–1943) 61

А. А. Гиринский —

Проблема невыразимости «этического»

в философии Л. Витгенштейна и М. К. Мамардашвили 70

Литература. Философия. Религия

С. Л. Чижков —

Две линии отношения к власти в России: анализируя

полемику между А. И. Герценом и Б. Н. Чичериным 82

А. В. Мартынов —

«Спешу ответить на Ваш вопрос...»: к истории написания

брошюры Георгия Флоровского «Жил ли Христос?» 118

Т. И. Харитонов —

Диалектика любви и жалости в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»

как отражение полемики В. С. Соловьева с А. Шопенгауэром 131

Память культуры

А. И. Жеребин —

Георг Лукач и Максим Горький:

у истоков теории социалистического реализма 153

М. П. Одесский, Д. М. Фельдман —

Герой времени: «История русской

интеллигенции» в зеркале гидронимики 168

Л. Ф. Луцевич —

«Я хотел бы принести покаяние»:

исповедь Александра Блока 203

Научная жизнь. Рецензии. Обзоры

<i>М. С. Киселева</i> — Барокко. Схоластика. <i>Ens rationis</i>	230
<i>А. А. Жукова</i> — Зачем эстонцу понимать Россию?	237
Зеркало Гутенберга	243

CONTENTS

From the Editor

- V. K. Kantor* —
Precepts of Karamzin 11

Europe and Russia: Paradoxes of Kinship

- A. V. Lazareva* —
“A bunch of wild, terrible, gloomy”:
The Formation of Negative Stereotypes of Russia
in Germany in the Era of the Thirty Years’ War (1618–1648) 41
- N. B. Khailova* —
Meeting of the “Two Russias”:
Letters of Russian Emigrants in Czechoslovakia
from the Occupied Soviet Territories (1942–1943)” 61
- A. A. Girinskiy* —
The Problem of the Inexpressibility of the “Ethical”
in the Philosophy of L. Wittgenstein and M. K. Mamardashvili 70

Literature. Philosophy. Religion

- S. L. Chizhkov* —
The two Lines of attitude to the Power in Russia:
Analyzing the Controversy between A. I. Herzen and B. N. Chicherin 82
- A. V. Martynov* —
“I hasten to answer your question... ”:
To the History of Writing the Brochure by Georges Florovsky “Did Christ Live?” 118
- T. I. Kharitonov* —
The Dialectics of Love and Pity in Dostoevsky’s “The Idiot”
in the View of V. S. Solovyov’s Polemics with A. Schopenhauer 131

Memory of Culture

- A. I. Zherebin* —
Georg Lukach and Maxim Gorky:
At the Origins of the Theory of Socialist Realism 153
- M. P. Odesskiy, D. M. Feldman* —
Hero of Time: “The History of the Russian Intelligentsia”
in the Mirror of Hydronymics 168
- L. F. Lutsevich* —
“I would like to bring repentance”: The Confession of Alexander Blok 203

Academic Life. Reviews

M. S. Kiseleva —

Baroque. Scholasticism. Ens rationis 230

A. A. Zhukova —

Why Should an Estonian Understand Russia? 237

In a Gutenberg's Mirror 243

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 11–40.

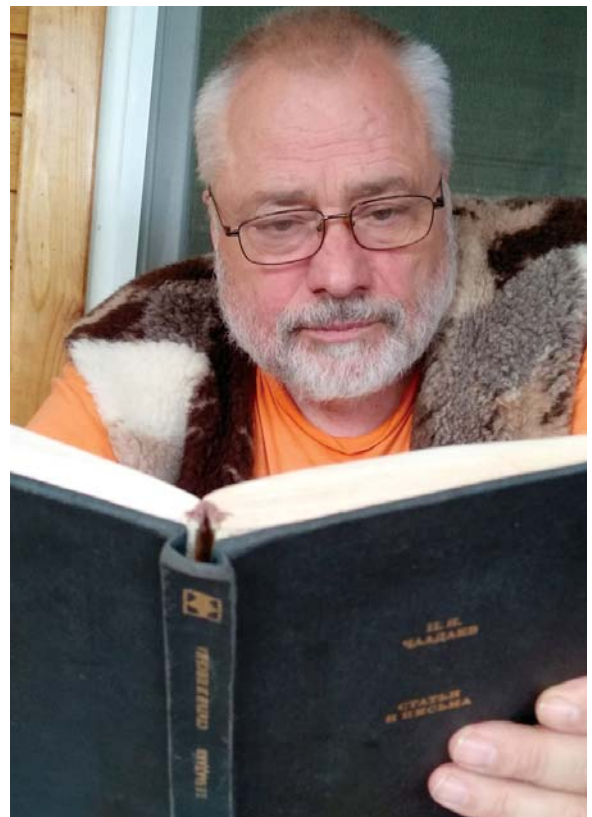
Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 11–40.

Научная статья / Original article

УДК 821.161.1

doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-11-40

ЗАВЕТЫ КАРАМЗИНА



Владимир Карлович Кантор

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия, vlkantor@mail.ru



Аннотация. В статье автор анализирует творчество великого русского историка, писателя и поэта Николая Михайловича Карамзина. Начиная с «Писем русского путешественника», современники воспринимали его как очевидного западника и сторонника республиканского правления. Именно он ввел в русский язык европейские слова «гуманность», «энергия», «катастрофа», обогатил язык словами-кальками, такими как «впечатление», «влияние», «влюбленность», «трогательный» и «занимательный». Именно он ввел в обиход слова «промышленность», «сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха»,

«сцена», «гармония», «будущность». Карамзин говорил, что русские люди спокойно могут принимать европейские новшества, ибо человек должен брать все лучшее, независимо от того, где оно возникло. Однако опыт Французской революции, ее чудовищная жестокость обратили Карамзина к опыту российского государства. Он становится сторонником и апологетом просвещенной самодержавной монархии, вызывая недовольство либеральных друзей. На все упреки Карамзин ответил своим великим трудом — «Историей государства Российского», когда, как писал Пушкин, Россия, казалось, «найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом». Да и Чаадаев, написавший инвективу России в «Философических письмах», любил Карамзина, восклицая: «Какая была возвышенность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он свое отечество!» Автор приходит к заключению, что русским мыслителям — Карамзину, Пушкину, Чаадаеву — удалось создать Россию как явление культурно-историческое силою своих слов. Все, что последовало далее, было результатом их невероятной инициативы.



Ключевые слова: Карамзин, история, Россия, Пушкин, Чаадаев, Европа, Французская революция, самодержавие



Благодарности: Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).



Ссылка для цитирования: Кантор В. К. Заветы Карамзина // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 11–40. doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-11-40.

From the Editor

PRECEPTS OF KARAMZIN

Vladimir K. Kantor

National Research University “Higher School of Economics” (HSE University),
Moscow, Russia, vlkantor@mail.ru



Abstract. In the article, the author analyzes the work of the great Russian historian, writer and poet Nikolai Mikhailovich Karamzin. Starting with the “Letters of

the Russian Traveler”, his contemporaries perceived him as an obvious Westerner and supporter of republican rule. It was he who introduced the European words “humanity”, “energy”, “catastrophe” into the Russian language, enriched the language with tracing words such as “impression”, “influence”, “love”, “touching” and “entertaining”. It was he who coined the words “industry”, “focus”, “moral”, “aesthetic”, “epoch”, “stage”, “harmony”, “future”. Karamzin said that Russian people can safely accept European innovations, because a person should take the best, regardless of where it originated. However, the experience of the French Revolution, its monstrous cruelty turned Karamzin to the experience of the Russian state. He becomes a supporter and apologist of the enlightened autocratic monarchy, causing discontent among liberal friends. Karamzin answered all the reproaches with his great work — “The History of the Russian State”, when, as Pushkin wrote, Russia seemed “to be found by Karamzin, as America was found by Columb”. And Chaadaev, who wrote an invective of Russia in Philosophical Letters, loved Karamzin, exclaiming: “What was the sublimity in this soul, what warmth in this heart! How sensibly, how sensibly he loved his fatherland!” The author comes to the conclusion that Russian thinkers — Karamzin, Pushkin, Chaadaev — managed to create Russia as a cultural and historical phenomenon by the power of their words. Everything that followed was the result of their incredible initiative.



Keywords: Karamzin, history, Russia, Pushkin, Chaadaev, Europe, French revolution, autocracy



Acknowledgments: The article was prepared within the framework of the Basic Research Program at the National Research University “Higher School of Economics” (HSE University).



For citation: Kantor, V. K. (2023) “Precepts of Karamzin”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 11–40. (In Russ.).
doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-11-40.

Многие помнят и даже с некоторой гордостью цитируют гениальные слова Тютчева о том, что навстречу империи Карла Великого поднялась империя Петра Великого. То есть навстречу Западной Европе явилась «другая Европа». Все так, но Тютчев бесспорно понимал ужас временного разрыва между этими двумя империями и Европами. Карл Великий был провозглашен императором папой Львом III в 800 году.

Петр I почти на тысячу лет позже. 2 ноября 1721 года он принял титул Императора Всероссийского. После заключения Ништадтского мира, завершившего войну против Швеции, сенаторы поднесли государю прошение с просьбой принять титулы «Великого, Отца Отечества и Императора Всероссийского». Победа над шведами стала формальным поводом для обновления статуса России.

Когда короновался Карл Великий, России еще не было. Как правило, отечественная историография отсчитывает начало государства с 862 года. Знаменитая скульптура М. Микешина

на 1862 года в Великом Новгороде посвящена тысячелетию России. Она берет даты 862–1862 годы. На памятнике изображен Карамзин (читатель увидит его облик в конце статьи), и это не случайно, как не случайно историческое на-



В базилике Святого Петра папа Лев III возлагает императорскую корону на голову Карла



Б. А. Чориков. Провозглашение Петра I императором. Книжная иллюстрация первой половины XIX века

чало моей статьи, поскольку Карамзина можно понять лишь в контексте не только русской, но большой европейской истории.

За этот период Западная Европа пережила крестовые походы, религиозные войны, Возрождение, протестантизм как оппозицию католицизму, доработалась в теории до идеи «вечного мира», открыла Америку, куда ринулись десятки тысяч европейцев, обрушившихся, по словам Чаадаева, «на племена Северной Америки, которые искореняет с таким усердием материальная цивилизация Соединенных Штатов» [Чаадаев, 1991, т. 1, с. 329], пережила промышленную революцию, построила управляемый деньгами мир. Читая на заре университетской юности Чаадаева, я — и не только я, думаю, — смотрел на противопоставление Европы и России, а слова об истребляемых племенах Северной Америки проскакивал глазами: в голове был туман Майн Рида и Фенимора Купера. Но в последние десятилетия с уничтожением Ливии, бомбежкой Белграда, провокативной прокси-войной на Украине вдруг высветились и эти слова Чаадаева. Однако я бы остановился на ужасе Чаадаева, который так характеризовал пропасть между Россией и Западом: «Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее — иноземное владычество, жестокое, унижительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, — вот печальная история нашей юности» [Там же, с. 324].

И это справедливо. До Петра Великого Московская Русь воспринималась западными путешественниками почти как дикая Африка, где были свои владыки. Жизнь в ней текла вне всяких норм, как в захваченной неприятелем стране, поскольку не было никаких гарантий жизни и собственности. Западным путешественникам казалось, что это навсегда. Но, как писал Пушкин, случай — мгновенное и мощное орудие провидения — решает многое. Необходим был культурный герой, из тех, которых знали все народы, начиная от Гильгамеша, Тесея, Геракла и до Карла Великого. Интересно, что, рассуждая о судьбе России, три русских мыслителя — Карамзин, Пушкин, Хомяков — независимо друг от друга употребили одну и ту же формулу: «Явился Петр». Петр Великий как явление и культурный герой! Как политическая и военная сила Россия вошла в Европу при Петре.

Чернышевский писал:

...цель Петра была гораздо проще, практичнее, сообразнее с его положением и понятиями. Ему нужно было сильное регулярное войско, которое умело бы драться не хуже шведских и немецких армий; ему нужно было иметь хорошие литейные заводы, пороховые фабрики; он понимал, что элементы военного могущества ненадежны, если его подданные сами не обучатся вести военную

часть, как ведут ее немцы, если мы останемся по военной части в зависимости от иностранных офицеров и техников; стало быть, представлялась ему надобность выучить русских быть хорошими офицерами, инженерами, литейщиками. Раз пошедши по этой дороге, занявшись мыслью устроить самостоятельное русское войско в таком виде, как существовало войско у немцев и шведов, он по своей энергической натуре развил это стремление очень далеко и, заимствуя у немцев или шведов военные учреждения, заимствовал, кстати, мимоходом и все вообще, что встречалось его взгляду.

[Чернышевский, 1950, с. 611]

Но все было не так просто. Напомню, что первые всходы европейской культуры мы наблюдаем в Античности, где росли города-полисы. Полисы воевали друг с другом, но дело не в войнах, а в том, как греки интеллектуально сумели их переварить. Ведь был Гомер, а затем историк Геродот, написавший о Греко-персидских войнах, давший начало греческому самосознанию. Если бы не было Геродота, Эсхила, Аристофана, Платона и других древнегреческих гениев, мы бы не знали Древней Греции, она прошла бы, как проходили десятки и сотни других государств. А в России? Как писал Карамзин,

согласимся, что деяния, описанные Геродотом, Фукидидом, Ливием, для всякого не Русского вообще занимательнее, представляя более душевной силы и живейшую игру страстей: ибо Греция и Рим были народными Державами и просвещеннее России; однако ж смело можем сказать, что некоторые случаи, картины, характеры нашей Истории любопытны не менее древних. Таковы суть подвиги Святослава, гроза Батыева, восстание Россиян при Донском, падение Новгорода, взятие Казани, торжество народных добродетелей во время Междоцарствия. Великаны сумрака, Олег и сын Игорев; простосердечный витязь, слепец Василько; друг отечества, благолюбивый Мономах; Мстиславы *Храбрые*, ужасные в битвах и пример незлобия в мире; Михаил Тверский, столь знаменитый великодушною смертию... первосвятитель Филарет с Державным сыном, светоносцем во тьме наших государственных бедствий, и Царь Алексий, мудрый отец Императора, коего назвала Великим Европа. Или вся Новая История должна безмолвствовать, или Российская иметь право на внимание.

[Карамзин, 1993, с. 7]

Пушкин писал, что «успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы» [Пушкин, 1951, с. 307–308]. Но Карамзин стал тем, кто совершил интел-



Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)

лектуальное утверждение европейских ценностей, которые создали из дикого Калибана волшебника Просперо. Иными словами, создал культурный смысл России. Но как возник сей Просперо?

Шел взрывной XVIII век, когда Россия невероятным усилием оказалась в состоянии воспринять высшие достижения западноевропейской культуры. Стоит вспомнить, что крупнейшие западные мыслители (французские энциклопедисты) назвали русскую императрицу философом на троне. Петр воздвиг непобедимый город европейской культуры — Санкт Петербург, в котором по совету Лейбница император создал академию. А в «порфиноносной

вдове» — Москве открыла университет дочь Петра императрица Елизавета Петровна. Строительство городов в России продолжила Екатерина II. Страна становилась городской, цивилизованной. Это был, бесспорно, взрыв, внезапно включивший Россию в число европейски ориентированных стран.

В 1767 году Екатерина обнародовала свой «Наказ», обращенный к комиссии по составлению нового Уложения, глава первая которого начиналась словами: «Россия есть Европейская держава» [Императрица Екатерина II, 2003, с. 72]. Вряд ли все собравшиеся осознали повелительный напор в словах императрицы. К тому же степные помещики, тем более провинциальные, мало охоты имели к учебе. Но были и другие: небогатый дворянин из Симбирска стал человеком не менее, если не более образованным, чем самые образованные европейцы. Речь я веду о Николае Михайловиче Карамзине.

В 1778 году, в возрасте 12 лет, отец отправляет его в пансион профессора Московского университета Иоганна Шадена, где молодой человек изучает немецкий и французский языки. Еще через три года он начинает посещать лекции знаменитого профессора эстетики Ивана Шварца в Московском университете. Потом он общался с масонами, вошел в ближний круг Николая Новикова — книжника, издателя, масона. Карамзин усердно читает Руссо, Стерна, Гердера, возможно и Канта. В 1792 году он публикует в «Московском журнале» шедевр



О. А. Кипренский (1782–1836) — художник-романтик XIX века. Он пишет свою «Бедную Лизу» в 1827 году. Многие отмечали, что он в этой работе милосердием своим превзошел Н. М. Карамзина. Если писатель сентиментален в изображении своей бедной Лизы, то Кипренский романтичен. О. А. Кипренский на обороте холста написал: «Навеяно повестью Карамзина»

написана до брака и за десять лет до смерти Елизаветы Ивановны.

Пока же замечу, что едва ли не первый русский европеец Карамзин все время чувствует себя в пространстве европейской интеллектуальной истории. Его постоянная ориентация на античную Грецию и Рим создавала тот уровень, с которого он смотрел на Россию и Европу. И в статьях, и в прозе. К примеру, фраза из любимой молодежью его времени повести «Остров Борнгольм» (1794). Рассказчик плывет на корабле и меланхолично замечает: «*Nil mortalibus arduum est*» — «Нет для смертных не-

русского сентиментализма «Бедную Лизу» — повесть, родившую так называемый «лизин текст».

Лизы — отныне героини Пушкина, Тургенева, Достоевского. Бедная Лиза утопилась в пруду около Симонина монастыря на окраине Москвы. Многие девушки, пережившие несчастную любовь, пытались там же свести счеты со своей несложившейся жизнью. Именно в этой повести прозвучали слова, что и крестьянки любить умеют. Спустя четыре десятка лет на этот посыл ответил Пушкин в «Барышне-крестьянке». Но об этом позже.

Существует легенда, что героиню Карамзин назвал Лизой в честь своей безвременно умершей первой жены (1801–1802) Елизаветы Ивановны Протасовой (1767–1802). Но повесть была



О. А. Кипренский. «Бедная Лиза»



Первая жена Карамзина. Николай Михайлович в 1801 году женился на Елизавете Ивановне Протасовой (она была в родстве с семейством В. А. Жуковского). Но уже в 1802 году она скончалась, оставив маленькую дочь Софью

возможного”, — думал я с Горацием, теряясь взором в бесконечности Нептунова царства» [Карамзин, 1964, т. 1, с. 664]. Русские читатели Карамзина понимали и принимали этот настрой и уровень писателя. Стоит привести слова поэта и героя 1812 года Федора Глинки:

Прочитав *первые* опыты Карамзина, я поступил в 1-й кадетский корпус и на первом шагу встретился с славою и уже последующими опытами Николая Михайловича.

Кадеты и рекреационные часы и в классах, заслоняясь лавкою, тишком и украдкою читали и вытверживали наизусть музыкальную прозу и стихи, так легко укладывавшиеся в памяти. Смело могу сказать, что из 1200 кадет редкий не повторял наизусть какой-нибудь страницы из «Острова Борнгольма». И это уважение, эта любовь к Карамзину доходила до того, что во многих кадетских

кружках любимым разговором и лучшим желанием было: «Как бы пойти пешком в Москву поклониться Карамзину!»

[Глинка, 1990, с. 444]

Говоря современным языком, после «Бедной Лизы» Карамзин становится литературной звездой. Но перед повестью он неожиданно для многих уезжает вдруг в 1789 году в Европу, откуда возвращается с поразительной книгой «Письма русского путешественника». «Письма» он начал публиковать в 1796 году. А его знаменитая повесть написана после возвращения из Европы, но до книги писем. Слава пришла, но он, видимо, хотел большего. Решал проблему от-



Сергиев пруд. Симонов монастырь. Рисунок К. И. Рабуса



Иммануил Кант (1724–1804)



Жан-Жак Руссо (1712–1778)

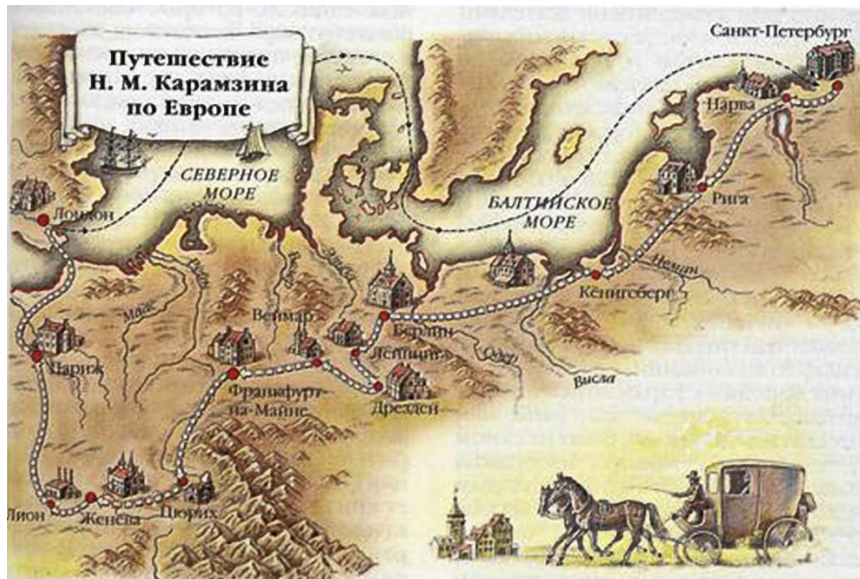
ношения двух культур, ведь книга именно об этом. Является ли Россия частью Европы?

Нельзя забывать и то, о чем напоминает Лотман:

Карамзин был современником великих исторических событий: первые его сознательные впечатления были связаны с восстанием Пугачева, предсмертные размышления — с 14 декабря 1825 года. Решающий этап его политического развития совпал с Великой французской революцией. Возвышение и падение Наполеона совершилось на его глазах. Убеденный противник войн, он готовился сражаться у стен Москвы и был в числе последних, покинувших ее стены.

[Лотман, 1987, с. 15]

Это не могло не структурировать ум и душу человека, он рано повзрослел и помудрел. Напомню, что до Карамзина европейские путешественники описывали дикую Россию как вариант белой Африки. Карамзин совершил ментальный, почти коперниканский переворот. Он описал со всем уважением европейский Запад, но это уважение покоилось на понимании себя как русского, который не ниже европейца. Европа перестала быть центром, вокруг которого вертелось человечество, хотя и осталась весьма важным моментом исторической жизни.



Прежде чем снова вернуться к Карамзину, хочу, чтобы читатель осознал: помимо взрывного XVIII столетия, Россия пережила три таких взрывных периода. Следом за XVIII веком пришел XIX, когда Россия дала своего Гомера и свою Илиаду («Войну и мир» Льва Толстого), а также писателя, масштабом и глубиной сравнимого с Библией (как писал Гадамер, есть два великих текста — Библия и Достоевский). В начале XX века страна («русская Америка», по словам Александра Блока) экономически догнала Европу, а в культуре стала, по сути дела, законодательницей: Чехов, Бунин, Мережковский, русская музыка, русская живопись, салоны Дягилева и т. д. Все это обрушила затеянная Западом Первая мировая война.

Итак, «Письма русского путешественника». Книга моментально стала бомбой. Что же Карамзин увидел и отметил в Европе? Вдруг русский из объекта наблюдения стал субъектом, наблюдающим и оценивающим вчерашних учителей. Он общался с Кантом, Виландом, Гердером и другими знаменитостями тех лет. Но в начало своих писем, писем *русского* путешественника, он вставляет эпизод, задающий определенный тон всей книге:

Между тем вышли на берег два Немца, которые в особой кибитке едут с нами до Кенигсберга; легли подле меня на траве, закурили трубки, и от скуки начали бранить Руской народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? Нет, отвечали они. А когда так, государи мои, сказал я, то вы не можете судить о Руских, побывав только в пограничном городе. Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня Руским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками. Разговор продолжался. Один из них сказал мне, что он имел щастие быть в Голландии,

и скопил там много полезных знаний. «Кто хочет узнать свет, говорил он, тому надобно ехать в Роттердам. Там-то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что там увидишь. Поверьте мне, государь мой, в Роттердаме я сделался человеком!» — Хорош гусь! думал я — и пожелал им доброго вечера.

[Карамзин, 1984, с. 12]

Вот эта интонация легкой иронии как бы задает тон всей книге. И ее читали легко, взхлеб, русский путешественник не преклонялся, не восхищался, не умилялся, он чувствовал себя на равных с Европой. Это же чувство посещало и читателя.

Согласимся с исследователем, замечательным отечественным историком:

В сознании Карамзина вопрос об отношении национального и общечеловеческого, конечно, существовал, но совсем не имел старой остроты и мучительности и обратился в простую теоретическую тему. В произведениях своих Карамзин вовсе упразднил вековое противоположение Руси и Европы как различных и непримиримых миров; он мыслил Россию как одну из европейских стран и русский народ как одну их равнокачественных с прочими наций. Он не клял Запада во имя любви к Родине, а поклонение западному Просвещению не вызывало в нем глумления над отечественным невежеством.

[Платонов, 2012, с. 377]

Приведу еще один отрывок — описание его визита к Канту. Молодой русский дворянин (23 года!) вежлив, любезен, но при этом сохраняет безусловное чувство собственного достоинства.

Вчера же после обеда был я у славного Канта, глубокомысленного, тонкого Метафизика, который опровергает и Малекбранша и Лейбница, и Юма и Боннета, — Канта, которого Иудейской Сократ, покойный Мендельзон, иначе не называл, как *der alles zermalmende Kant*, т. е. *все сокрушающий Кант*. Я не имел к нему писем; но смелость города берет — и мне отворились двери в кабинет его. Меня встретил маленькой, худенькой старичек, отменно белый и нежный. Первые слова мои были: «Я Руской Дворянин, люблю великих мужей, и желаю изъяснить мое почтение Канту»...

Он записал мне титулы двух своих сочинений, которых я не читал: *Kritik der praktischen Vernunft* и *Metaphysik der Sitten* — и сию записку буду хранить как священный памятник.



Дом Карамзина в Царском Селе

Вписав в свою карманную книжку мое имя, пожелал он, чтобы решились все мои сомнения; потом мы с ним расстались.

[Карамзин, 1984, с. 20–21]

Но вернемся к ответу Пушкина на «Бедную Лизу», пока читатель не забыл эту тему. Пушкин в «Повестях Белкина» публикует «Барышню-крестьянку». Когда 20 лет назад я попал в Университет Огайо (США) на конференцию, ко мне вдруг обратилась тамошняя дипломница-славистка: как понимать эту повесть? Я ей ответил, что это спор с Карамзиным, с которым Пушкин, по сути дела, беседовал всю жизнь. Кстати, не забудем, что они какое-то время были соседями в Царском Селе. Пушкин как лицеист, а Карамзин как придворный историограф. Знакомство Пушкина с Карамзиным произошло в Царскосельском лицее 25 марта 1816 года.

Пушкин не раз бывал у историка в гостях, совсем по-дружески. По версии Юрия Тынянова, даже влюбился в его жену, которая была вдвое старше юного поэта, и имел дерзость объясниться ей. Карамзин и Екатерина Андреевна пожурили его, но друзьями они остались. Известно, что умирающий поэт позвал ее, чтобы проститься. Если это была не любовь, то по крайней мере глубокая сердечная привязанность.

«Бедная Лиза» уже написана, Пушкин еще юный повеса, вроде героя его повести, хотя уже начинающий ценить великого историка. Он увидел то, что издали мог не разглядеть: внутреннюю силу этого человека, который в разгар потрясающего литературного успеха отказался от фимиама, решая свои про-



Лицей в Царском Селе

блемы. Позднее и Пушкин найдет в себе силы уйти от модного успеха, более того — погрузиться в неуспех, делая свое дело. Пример великого историка был перед глазами. Но он не боялся спорить с Карамзиным. Великий историк и писатель требовал соразмышления. Не только «Борис Годунов» написан после внимательного чтения и конспектирования «Истории...», но и проза Карамзина эхом отзывалась в текстах младшего друга.

Его мудрый ответ был написан в 1830 году, в эпоху Болдинской осени. Барышне Лизе, чтобы понравиться юному красавцу, соседу-помещику, пришлось нарядиться крестьянской девушкой Акулиной. Барин любил повозиться с молодыми крестьянками, как рассказывает Лизе ее служанка Настя:

...этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

— С вами в горелки бегать! Невозможно!

— Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!

— Воля твоя, Настя, ты врешь.

— Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.

— Да как же говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?

— Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел, да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!

[Пушкин, 1950, т. 6, с. 150–151]



Лизе он нравится, но как к нему подступиться? И она одевается крестьянкой.

...Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

— И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

— *А по-здешнему я говорить умею прекрасно* (курсив мой. — В. К.). Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка! — И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

[Там же, с. 151]

И язык у простого народа другой, но Лиза знает этот язык. Она приглянулась молодому соседу.

Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений... Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдерживать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Всё это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея.

[Там же, с. 154–157]

Мысли и чувства образованной, духовно живущей барышни не могли быть у крестьянки, и это несоответствие поразило героя. Крестьянки умеют любить, ответил Карамзину Пушкин, если они барышни. То есть натуры культивированные, ибо только барышня имеет развитые чувства для настоящей любви, а не просто деревенского траха. Кстати, американская славистка, все это записала и с успехом защитила диплом. О народе Пушкиным в «Медном всаднике» сказано:

Уже по улицам свободным
С своим бесчувствием холодным
Ходил народ.

[Пушкин, 1950, т. 4, с. 390]

Но до знакомства юного поэта с Карамзиным произошли важные геополитические события, в которых проявилось испытание на прочность русского европеизма, — европейское нашествие на Россию, нашествие армии Наполеона, армии, где солдаты были из разных стран, неслучайно современники называли эту войну «нашествием двенадцати языков». Среди войска Наполеона, кстати, было много поляков. «Великие наши усилия, — писал императору в 1811 году Карамзин, — имев следствием Аустерлиц и мир Тильзитский, утвердили господство Франции над Европою и сделали нас чрез Варшаву соседями Наполеона» [Карамзин, 1991, с. 54]. Любопытно, что Наполеон называл свое нападение на Россию «второй польской войной» и объявил решение напасть на Россию ровно 22 июня. Как писал Пушкин, бывают странные сближения.

Строго говоря, с Наполеоном против России шла не только Польша, но практически вся Европа. И Россия этот удар выдержала. Воспитанные на галльском наречии, русские образованные дворяне в свои очень юные года возглавили войну против Наполеона и подвластной ему Европы. Скажем, воспринимаемый всеми как западник и кабинетный мыслитель, Петр Чаадаев был одним из героев войны 1812 года. После Бородинского сражения его за мужество наградили званием прапорщика и орденом Святой Анны. Позже ему был вручен Кульмский крест за участие в знаменитой и жестокой штыковой атаке под Кульмом в 1813 году.



Карамзин был в 1812 году в Москве и писал, что он не выедет из города, пока все не решится, отправил жену и детей в Ярославль и хотел вступить в ополчение. Ему пришлось выехать из первопрестольной, в которую на следующий день вошли французы. Но уже в ноябре солдаты некогда великой армии отступали, почти бежали. Наполеон чудом уцелел при переправе через реку Березину.

Интересно, что от «Бедной Лизы», опосредованно, конечно, идет Лев Толстой и русское народничество с их патологической любовью к крестьянству, а от Пушкина — трезвость бунинского и чеховского текста, которые описывали (особенно Бунин) и высокую любовь, и секс с крестьянками.

Но руссоистская «Бедная Лиза» написана в 1792 году, а в 1802 году, уже посетив Европу и пережив Французскую революцию, он пишет очень резкую критику Руссо в обширной статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении». Напомню, что французское просвещенное меньшинство разбудило толпу и начало кровавую Французскую революцию. Якобинцы видели своего предшественника в великом Руссо, отвергшем науку и культуру, как позднее предшественником большевиков стал руссоист Лев Толстой с его великим отказом от всех завоеваний цивилизации, которая-де не нужна народу. Карамзин сумел разделить Руссо-художника и Руссо-мыслителя:

Добрый Руссо! Ты, который всегда хвалишь мудрость природы, называешь себя другом ее и сыном и хочешь обратить людей к ее простым, спасительным законам! Скажи, не сама ли природа вложила в нас сию живую склонность ко знаниям? Не она ли приводит ее в движение своими великолепными чудесами, столь изобильно вокруг нас рассеянными? Не она ли призывает нас к наукам?

[Карамзин, 1964, т. 2, с. 124]

Карамзин еще республиканец, создает повесть «Марфа-посадница» о защитнице новгородской вольности. Хотя он добавляет, что Марфа была благородна, но закономерность истории вела к монархии. Трагедия Франции убеждала его, что перевороты чаще всего оказываются катастрофой для страны.

С 1803 года Карамзин становится официальным историографом по решению императора и принимается за написание «Истории государства Российского». Это было очередное ВДРУГ, как и поездка в Европу, почти монашеский постриг, только работа в архивах. Он никогда не работал с рукописями, тем более древними. В 1803 году император Александр I, даровав Карамзину звание историографа, приказал открыть ему все библиотеки и архивы. В этой работе писателю очень помогала его вторая жена.



Вторая жена Карамзина. Екатерина Андреевна Кольванова (Карамзина) (1780–1851) славилась не только красотой, но и умом. Она помогала мужу работать над «Историей...». Художник Ж. А. Беннер. 1817

До последнего дня жизни Николай Михайлович работал над самым главным своим трудом. Трактат охватывает события от древнейших времен до Смутного времени, 12 томов. Первые восемь вышли в 1818 году, следующие три были опубликованы в 1821–1824 годах. Последняя часть «Истории...» увидела свет после смерти Карамзина. Этот труд стал национальным событием. Думаю, что задачей историка прежде всего было создать реальный образ России для Европы, и кроме того, чтобы соотечественники стали сознавать себя, стали лицами поименованными, принадлежащими великой стране.

Существенно указать на пафос, с которым он взялся за свою «Историю государства Российского». Он понимал, что дает своей Родине духовную опору. В 1802 году он так излагает свое кредо:

Самая лучшая философия есть та, которая основывает должности человека на его счастии. Она скажет нам, что мы должны любить пользу отечества, ибо с нею неразрывна наша собственная; что его просвещение окружает нас самих многими удовольствиями в жизни; что его тишина и добродетели служат щитом семейственных наслаждений; что слава его есть наша слава; и если оскорбительно человеку называться сыном презренного отца, то не менее оскорбительно и гражданину называться сыном презренного отечества. Таким образом, любовь к собственному благу производит в нас любовь к Отечеству, а личное самолюбие — гордость народную, которая служит опорой патриотизма. Так греки и римляне считали себя первыми народами, а всех других — варварами; так англичане, которые в новейшие времена более других славятся своим патриотизмом, более других о себе мечтают.

Я не смею думать, чтобы у нас в России было немного патриотов; но мне кажется, что мы излишне смиренны в мыслях о народном своем достоинстве, а смирение в политике вредно.

Кто самого себя не уважает, того, без сомнения, и другие уважать не будут.

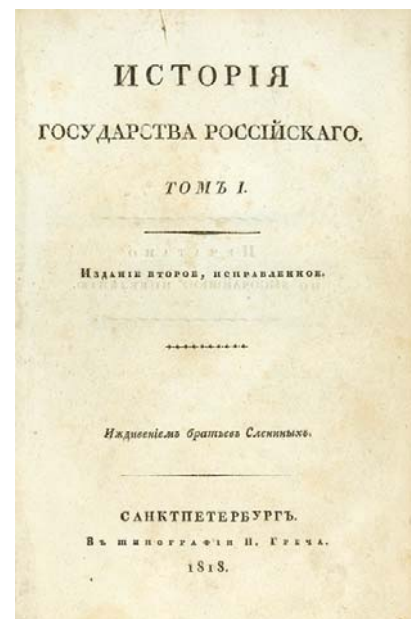
Не говорю, чтобы любовь к Отечеству должна была ослеплять нас и уверять, что мы всех и во всем лучше; но русский должен, по крайней мере, знать цену свою. Согласимся, что некоторые народы вообще нас просвещеннее: ибо обстоятельства были для них щастливее; но почувствуем же и все благодеяния судьбы в рассуждении народа российского; станем смело наряду с другими, скажем ясно имя свое и повторим его с благородною гордостью.

[Карамзин, 2013, с. 197]

Пушкин писал:

Это было в феврале 1818 года. Первые восемь томов *Русской истории* Карамзина вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (так и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) — пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка — Колумбом. Несколько времени ни о чем ином не говорили. Когда, по моему выздоровлению, я снова явился в свет, толки были во всей силе. Признаюсь, они были в состоянии отучить всякого от охоты к славе. Ничего не могу вообразить глупей светских суждений, которые удалось мне слышать насчет духа и слова *Истории* Карамзина...

У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина — зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. *Ноты Русской истории* свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех годах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно окончен и хлопоты по



службе заменяют усилия к просвещению. Молодые якобинцы негодовали; несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения. Они забывали, что Карамзин печатал *Историю* свою в России; что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностью историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что «История государства Российского» есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека.

[Пушкин, 1951, т. 8, с. 66–68]

Вообще, Карамзин своей «Историей...» дал Пушкину не только материал для размышления о России, он подарил ему великого мыслителя в друзья. Пушкин, как известно, легко сходился с людьми, но Чаадаев среди всех был неразменным золотым. У Карамзина в Царском Селе Пушкин познакомился с Чаадаевым. «Когда они впервые встретились у Карамзина в Царском Селе, Чаадаеву было года 22, Пушкину — 17: он еще учился в Лицее» [Гершензон, 2000, с. 131]. Поразительная встреча и дружба трех гениев. В 25 лет Пушкин создает великую трагедию «Борис Годунов» накануне дворянского бунта (декабристы), где Басманов говорит, что противники царя сильны «мнением народным». Этого мнения не было на стороне декабристов. Меж тем Чаадаев декабристов не одобрил. И Карамзин тоже. Более того, Карамзин простудился на Сенатской площади и вскоре умер. Декабристы обманули солдат, то есть народ, призвав выступить за царя Константина и его жену Конституцию, после чего сол-



Своего «Бориса Годунова» Пушкин начинает с посвящения Карамзину: «Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностию посвящает Александр Пушкин». К сожалению, эти слова приводятся не во всех изданиях

даты были расстреляны картечью, а декабрист Петр Каховский выстрелил в спину герою войны с Наполеоном, генерал-губернатору Петербурга графу Милорадовичу. Перед казнью остальные четверо не подали ему руки.

Поразительно, что П. Я. Чаадаев, которого ругают как ненавистника России, беспощадного западника, в Карамзине прежде всего оценил интеллектуального, духовного творца великой страны — России:

Что касается в особенности до Карамзина, то скажу тебе, что с каждым днем более и более научаюсь чтить его память. Какая была возвышенность в этой душе, какая теплота в этом сердце! Как здраво, как толково любил он свое отечество! Как простодушно любовался он его огромностию, и как хорошо разумел, что весь смысл России заключается в этой огромности! А между тем, как и всему чуждому знал цену и отдавал должную справедливость! Где это нынче найдешь? А как писатель, что за стройный, звучный период, какое верное эстетическое чувство! Живописность его пера необычайна: в истории же России это главное дело; мысль разрушила бы нашу историю, кистью одною можно ее создать.

[Чаадаев, 1991, т. 2, с. 133–134]

Впрочем, он и Пушкина очень ценил за его стих против Запада в защиту своей страны и государства «Клеветникам России» (1831), написав поэту, что отныне, можно сказать, у нас появился свой Данте. Пушкин выразил свою позицию очень жестко, с дантовской энергией, актуальность этого стихотворения и сегодня несомненна:

Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

[Пушкин, 1950, т. 3, с. 223]

Стихотворение обращено к депутатам парижского парламента, после поражения Наполеона все еще мечтавшим о реванше в борьбе с Россией. Поэтому они поддержали польское восстание, призывая восставших сражаться до последнего воина, способного держать в руках оружие, иными словами, до «последнего поляка». Впрочем, и в нынешнем конфликте России и Украины премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал поражение России «одновременно польским и европейским смыслом жизни».

При этом Карамзин вводит в русский язык новые понятия, взятые из Европы. Он создавал стихи, которым подражали его современники, он издавал журналы, в том числе (повторю это) переживший многие годы в разных обликах «Вестник Европы», который должен был дать русскому образованному обществу ориентир духовной жизни. Он модернизировал русскую лексику, дав ей слова от «промышленности» до «калош», хотя Шишков предлагал «мокроступы», а вместо «тротуара» — «топталище». Но язык русский в его почти нынешнем звучании создал Пушкин, который говорил о себе, что он ударил по наковальне русского языка и он зазвучал. Карамзин обогатил язык словами-кальками, такими как «впечатление», «влияние», «влюбленность», «трогательный» и «занимательный». Именно он ввел в обиход слова «сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», «сцена», «гармония», «катастрофа», «будущность». Не есть ли это выступление против национального пафоса языка? Разумеется, нет. Как писал великий Владимир Соловьев,

русский язык — слишком большой барин, чтобы кому-нибудь навязываться; кто не хочет его узнать, тот сам в убытке. Никто не отрицает необходимости русского языка как государственного для всей Империи; но навязывание его населению вне государственных функций и официальных отношений неизбежно приводит в двум результатам: к враждебному отчуждению от всего русского и к укреплению и оживлению местных языков и наречий, даже там, где они сами по себе жизненной силы не имели.

[Соловьев, 1914, с. 10]

Пушкин, великий русский поэт, которому Чаадаев советовал писать на родном языке («Пишите мне по-русски; вы должны говорить только на языке своего призвания» [Переписка А. С. Пушкина, 1982, с. 273]), был последователем Карамзина в охотном и смелом заимствовании иностранных слов, нужных русскому человеку. Он прекрасно понимал необходимость обогащения языка, ничего не опасаясь, зная, как Европа много брала из латыни. И не стеснялся брать из Европы те слова, которые ему подходили. Как всегда иронично поэт написал об этом в «Евгении Онегине»:

В последнем вкусе туалетом
Заняв ваш любопытный взгляд,
Я мог бы пред ученым светом
Здесь описать его наряд;
Конечно б, это было смело,

Описывать мое же дело:
 Но панталоны, фрак, жилет,
 Всех этих слов на русском нет;
 А вижу я, винюсь пред вами,
 Что уж и так мой бедный слог
 Пестреть гораздо б меньше мог
 Иноплеменными словами,
 Хоть и заглядывал я встарь
 В Академический Словарь.

[Пушкин, 1950, т. 5, с. 20–21]

Он был против пуризма и писал Вяземскому (1–8 декабря 1823 года из Одессы в Москву): «...я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем языке следы европейского жеманства и французской утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения...» [Пушкин, 1951, т. 10, с. 76]. Тем более что французская утонченность не помешала состояться зверствам Французской революции. Именно после нее Карамзин задумался о преимуществах самодержавия. Даже радикал Радищев в ужасе писал: «О Франция! ты еще хождаеш близ Бастильских пропастей» [Радищев, 1938, с. 347].

Чаадаев написал на французском инвективу о России — первое «Философическое письмо». Оно было переведено, напечатано в журнале «Телескоп». Пушкину Чаадаев послал текст из журнала. Поэт, читавший «Письмо» в оригинале, перевод похвалил («Я доволен переводом: в нем сохранена энергия и непринужденность подлинника» [Переписка А. С. Пушкина, 1982, с. 289]), но переписка их шла по-французски. Но весь гениальный ответ-возражение Пушкина, погружающий проблематику спора в русскую историю, в значительной степени основан на «Истории...» Карамзина. В сущности, это дайджест «Истории...» Карамзина. Неслучайно поэт не отрываясь прочитал в 1818 году все первые тома, да и потом, занимаясь «Борисом Годуновым», он исходил из рассказа великого историка. Да и позиция Карамзина, утверждавшего величие России, вполне совпадала с выработавшимся мироощущением великого поэта. Это был завет Карамзина, который вполне воспринял Пушкин. И Пушкин пишет Чаадаеву, в сущности, предсмертное письмо, почти интеллектуальное завещание:

Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавша-

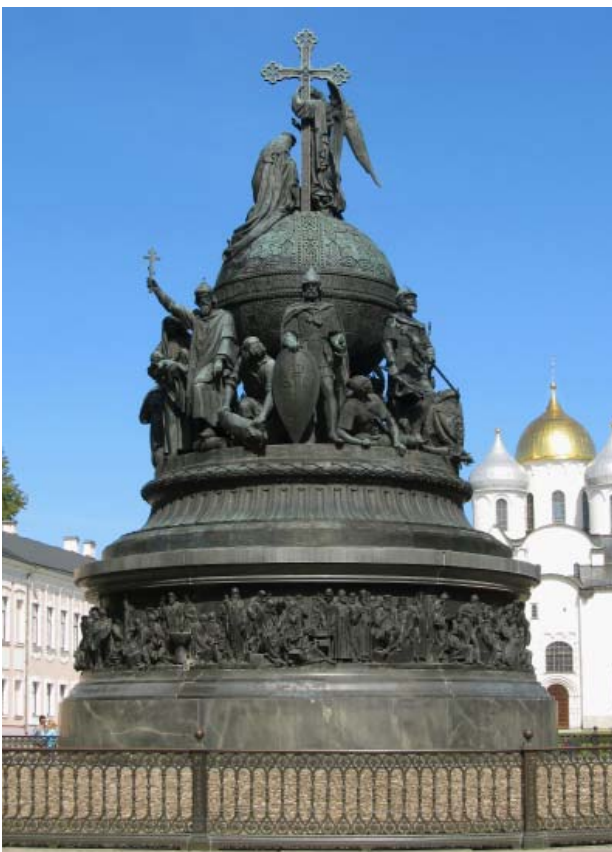
яся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон? А Петр Великий, который один есть целая всемирная история! А Екатерина II, которая поставила Россию на пороге Европы? А Александр, который привел вас в Париж?.. Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал.

[Там же]

Карамзин, можно сказать, закрепил русскую историю в слове, создав тем самым основу для размышлений русских людей. Великий русский государственный и консерватор Михаил Катков считал русского европейца Карамзина воплощением подлинной русскости:

Он был русский не только по рождению, но и по чувству; всю жизнь свою и деятельностью, столь плодотворною, принадлежит он России. Но в своем качестве русского он был человек, и ничто человеческое не считал себе чуждым, он был сын всемирной цивилизации. Качество русского и качество европейца не были в нем двумя чуждыми, друг друга не знавшими силами

или двумя противными тяготениями; они не только не ссорились в нем, не только не отнимали друг у друга места, но были, как и следует, одною и тою же силой, и он был весь русский в своем ев-



ропейском качестве, он был весь европеец в своем русском чувстве. Он сходил во глубины нашего прошедшего, из забытых архивов воскресил он для русского народа память его давнего, темного минувшего; но он остался сыном своей эпохи, и корни прошедшего любил он в цвете настоящего. Никто из его сверстников не сделал так много для русской народности, но он не был доктринером какой-либо народной школы. Кто более его любил Россию, кто был ревнивее к ее достоинству, величию и чести? В ком чаще и сильнее горело святое пламя патриотизма? И, однако, никто из современных ему деятелей не был более его предметом слепой вражды доктринеров народности, полагавших ее силу в скованных ими самими *шаропихах* и *мокроступах*? В нем жило на все отзывавшееся поэтическое чувство, и в то же время он был высоко одарен здравым смыслом действительности, и воображение мирилось в нем с ясностью трезвого разума. В век вольнодумства и отрицания он был христианин, искренно и глубоко убежденный, но религиозное чувство было свободно в нем от фанатизма и нетерпимости, и он умел отличать существенное от случайного, внутреннее от внешнего. Человек светского образования, он являет собою поучительный пример постоянного, упорного и усидчивого труда; не будучи ученым ни по приготовлению, ни по призванию, он в себе являет нам образец исследователя, который не останавливается пред трудностям, и это в то время, когда дело науки в России было еще так скудно и слабо. Он был писатель, доведивший свое выражение до классической оконченности. Он был политическим деятелем, хотя и не находился на официальных поприщах государственной службы. Несмотря на то, что его время представляло мало условий для политического образования, он обладал удивительно зрелым политическим умом, который он воспитал и укрепил своими историческими изучениями.

[Катков, 1866]

В заключение статьи хочу привести соображение Мераба Мамардашвили о роли слова в русской культуре:

Можно ли, например, спрашивать о Достоевском, вдохновлялся ли он любовью к Родине, любил ли ее, или о Толстом, заставляя их после смерти расписываться в верноподданности своих патриотических чувств. По-моему, это нелепые вопросы. Дело в том, что такие люди сами и были Россией, *возможной* Россией. Для меня это несомненно. Во-первых, мыслитель, художник, как и во времена Чаадаева, так и сейчас, обязан только правдой своему Отечеству. Но оставим это. Говоря о рождении из творчества писателей целой страны, Рос-

сии, я имел в виду русскую литературу XIX в. как словесный миф России, как социально-нравственную утопию. Это попытка родить целую страну «чрез звуки лиры и трубы», как говорил Державин, — из слова, из смыслов, правды.

[Мамардашвили, 1992, с. 187]

И русским мыслителям — Карамзину, Пушкину, Чаадаеву — удалось это сделать. Все, что последовало далее, было результатом их невероятной инициативы.

Список источников

Гершензон М. О. Избранное. М.: Университетская книга; Иерусалим: Gesharim, 2000. Т. 1: Мудрость Пушкина. 588 с.

Глинка Ф. Н. Мои воспоминания о незабвенном Н. Мих. Карамзине // *Глинка Ф. Н.* Письма к другу. М.: Современник, 1990. С. 443–449.

Императрица Екатерина II. О величии России. М.: ЭКСМО, 2003. 832 с.

Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении. М.: Наука, 1991. 125 с.

Карамзин Н. М. История государства Российского. Калуга: Золотая аллея, 1993. Т. I–IV. 560 с.

Карамзин Н. М. Нечто о науках, искусствах и просвещении // *Карамзин Н. М.* Избранные сочинения: в 2 т. М.-Л.: Худож. лит., 1964. Т. 2. С. 122–142.

Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости // *Карамзин Н. М.* О любви к Отечеству и народной гордости. М.: Институт русской цивилизации, 2013. С. 194–203.

Карамзин Н. М. Остров Борнгольм // *Карамзин Н. М.* Избранные сочинения: в 2 т. М.-Л.: Худож. лит., 1964. Т. 1. С. 661–673.

Карамзин Н. М. Письма русского путешественника. Л.: Наука, 1984. 717 с. (Лит. памятники).

Катков М. Н. Значение Карамзина для России (По поводу столетия со дня его рождения). Москва, 1 декабря 1866 // *Московские Ведомости.* 1866. 2 декабря. № 254.

Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987. 336 с.

Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию. 2-е изд. М.: Прогресс-Культура, 1992. 414 с.

Переписка А. С. Пушкина: в 2 т. / ред. К. И. Тюнькин и др. М.: Худож. лит., 1982. Т. 2. 575 с. (Переписка русских писателей).

Платонов С. Ф. Слово о Н. М. Карамзине (1911) // *Платонов С. Ф.* Собрание сочинений: в 6 т. М.: Наука, 2012. Т. 3: Статьи по русской истории 1883–1917 годов. С. 373–378.

Пушкин А. С. Барышня-крестьянка // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 6: Художественная проза. С. 145–170.

Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 5: Евгений Онегин. Драматические произведения. С. 5–213.

Пушкин А. С. Карамзин // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 8: Автобиографическая и историческая проза. С. 66–69.

Пушкин А. С. Клеветникам России // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 3: Стихотворения. 1827–1836. С. 222–223.

Пушкин А. С. Медный всадник // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 4: Поэмы. Сказки. С. 375–398.

Пушкин А. С. О ничтожестве литературы русской // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: в 10 т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951. Т. 7: Критика и публицистика. С. 306–314.

Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву // Радищев А. Н. Полное собрание сочинений: в 3 т. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1938. Т. 1. С. 225–392.

Соловьев В. С. Воскресные письма // Соловьев В. С. Собрание сочинений: в 10 т. 2-е изд. СПб.: Книгоиздательское т-во «Просвещение», 1914. Т. 10. С. 3–80.

Чаадаев П. Я. А. И. Тургеневу (1838) // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. М.: Наука, 1991. Т. 2. С. 131–134.

Чаадаев П. Я. Философические письма // Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: в 2 т. М.: Наука, 1991. Т. 1. С. 320–440.

Чернышевский Н. Г. Апология сумасшедшего // Чернышевский Н. Г. Полное собрание сочинений: в 15 т. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1950. Т. 7: Статьи 1860–1861 годов. С. 592–618.

References

Gershenson, M. O. (2000) *Izbrannoe. Tom 1: Mudrost' Pushkina [Selected. Vol. 1: Pushkin's Wisdom]*. Moscow: Universitetskaya kniga [University Book]; Ierusalim: Gesharim.

Glinka, F. N. (1990) “Moi vospominaniya o nezabvennom N. Mikh. Karamzine” [“My Memories of the Unforgettable N. Mih. Karamzin”], in Glinka, F. N. *Pis'ma k drugu [Letters to a Friend]*. Moscow: Sovremennik Publ., pp. 443–449.

Imperatrictsa Ekaterina II (2003) *O velichii Rossii [About the Greatness of Russia]*. Moscow: EKSMO.

Karamzin, N. M. (1991) *Zapiska o drevnei i novoi Rossii v ee politicheskom i grazhdanskom otnosheniyakh [A Note on Ancient and New Russia in its Political and Civil Relations]*. Moscow: Nauka Publ.

Karamzin, N. M. (1993) *Istoriya gosudarstva Rossiiskogo. Tom I–IV* [The History of the Russian State. Vol. I–IV]. Kaluga: Zolotaya alleya [Golden Alley].

Karamzin, N. M. (1964) “Nechto o naukakh, iskusstvakh i prosveshchenii” [“Something about Sciences, Arts and Enlightenment”], in Karamzin, N. M. *Izbrannye sochineniya: v 2 tomakh. Tom 2* [Selected Works: 2 vols. Vol. 2]. Moscow-Leningrad: Khudozhestvennaya literatura [Fiction], pp. 122–142.

Karamzin, N. M. (2013) “O lyubvi k Otechestvu i narodnoi gordosti” [“On Love for the Fatherland and National Pride”], in Karamzin, N. M. *O lyubvi k Otechestvu i narodnoi gordosti* [On Love for the Fatherland and National Pride]. Moscow: Institut russkoi tsivilizatsii [Institute of Russian Civilization], pp. 194–203.

Karamzin, N. M. (1964) “Ostrov Borngol’m” [“Bornholm Island”], in Karamzin, N. M. *Izbrannye sochineniya: v 2 tomakh. Tom 2* [Selected Works: 2 vols. Vol. 1]. Moscow-Leningrad: Khudozhestvennaya literatura [Fiction], pp. 661–673.

Karamzin, N. M. (1984) *Pis'ma russkogo puteshestvennika* [Letters of a Russian Traveler]. Leningrad: Nauka Publ.

Katkov, M. N. (1866) “Znachenie Karamzina dlya Rossii (Po povodu stoletiya so dnya ego rozhdeniya). Moskva, 1 dekabrya 1866” [“The Significance of Karamzin for Russia (On the occasion of the centenary of his birth). Moscow, December 1, 1866”], *Moskovskie Vedomosti*, 254, 2 December.

Lotman, Yu. M. (1987) *Sotvorenie Karamzina* [The Creation of Karamzin]. Moscow: Kniga Publ.

Mamardashvili, M. K. (1992) *Kak ya ponimayu filosofiyu* [How I Understand Philosophy]. 2nd edn. Moscow: Progress-Kul'tura Publ.

Tyun'kin, K. I. et al. (eds) (1982) *Perepiska A. S. Pushkina: v 2 tomakh. Tom 2* [Correspondence of A. S. Pushkin: 2 vols. Vol. 2]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura [Fiction].

Platonov, S. F. (2012) “Slovo o N. M. Karamzine (1911)” [“The Word about N. M. Karamzin (1911)”], in Platonov, S. F. *Sobranie sochinenii: v 6 tomakh. Tom 3: Stat'i po russkoi istorii 1883–1917 godov* [Collected Works: 6 vols. Vol. 3: Articles on Russian History 1883–1917]. Moscow: Nauka Publ., pp. 373–378.

Pushkin, A. S. (1950) “Baryshnya-krest'yanka” [“Young Lady-Peasant Woman”], in Pushkin, A. S. *Polnoe sobranie sochinenii: v 10 tomakh. Tom 6: Khudozhestvennaya proza* [Complete Works: 10 vols. Vol. 6: Fiction]. Moscow-Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR [Publishing House of the USSR Academy of Sciences], pp. 145–170.

Pushkin, A. S. (1950) “Evgenii Onegin” [“Eugene Onegin”], in Pushkin, A. S. *Polnoe sobranie sochinenii: v 10 tomakh. Tom 5: Evgenii Onegin. Dramaticheskie proizvedeniya* [Eugene Onegin. Dramatic Works]. Moscow-Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR [Publishing House of the USSR Academy of Sciences], pp. 5–213.

Pushkin, A. S. (1951) “Karamzin”, in Pushkin, A. S. *Polnoe sobranie sochinenii: v 10 tomakh. Tom 8: Avtobiograficheskaya i istoricheskaya proza* [Complete Works: 10 vols. Vol. 8: Autobiographical and Historical Prose]. Moscow-Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR [Publishing House of the USSR Academy of Sciences], pp. 66–69.

Pushkin, A. S. (1950) “Klevetnikam Rossii” [“Slanderers of Russia”], in Pushkin, A. S. *Polnoe sobranie sochinenii: v 10 tomakh. Tom 3: Stikhotvoreniya. 1827–1836* [Complete Works: 10 vols. Vol. 3: Poems. 1827–1836]. Moscow-Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR [Publishing House of the USSR Academy of Sciences], pp. 222–223.

Pushkin, A. S. (1950) “Mednyi Vsadnik” [“The Bronze Horseman”], in Pushkin, A. S. *Polnoe sobranie sochinenii: v 10 tomakh. Tom 4: Poemy. Skazki* [Complete Works: 10 vols. Vol. 4: Poems. Fairy Tales]. Moscow-Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR [Publishing House of the USSR Academy of Sciences], pp. 375–398.

Pushkin, A. S. (1951) “O nitchtozhestve literatury russkoi” [“About the Insignificance of Russian Literature”], in Pushkin, A. S. *Polnoe sobranie sochinenii: v 10 tomakh. Tom 7: Kritika i publitsistika* [Complete Works: 10 vols. Vol. 7: Criticism and Journalism]. Moscow-Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR [Publishing House of the USSR Academy of Sciences], pp. 306–314.

Radishchev, A. N. (1938) “Puteshestvie iz Peterburga v Moskvu” [“Journey from St. Petersburg to Moscow”], in Radishchev, A. N. *Polnoe sobranie sochinenii: v 3 tomakh. Tom 1* [Complete Works: 3 vols. Vol. 1]. Moscow-Leningrad: Izdatel'stvo AN SSSR [Publishing House of the USSR Academy of Sciences], pp. 225–392.

Solov'ev, V. S. (1914) “Voskresnye pis'ma” [“Sunday Letters”], in Solov'ev, V. S. *Sobranie sochinenii: v 10 tomakh. Tom 10* [Complete Works: 10 vols. Vol. 10]. 2nd edn. St. Petersburg: Knigoizdatel'skoe tovarishchestvo “Prosveshchenie” [Book Publishing Partnership “Education”], pp. 3–80.

Chaadaev, P. Ya. (1991) “A. I. Turgenevu (1838)” [“To A. I. Turgenev (1838)”], in Chaadaev, P. Ya. *Polnoe sobranie sochinenii i izbrannye pis'ma: v 2 tomakh. Tom 2* [Complete Works and Selected Letters: 2 vols. Vol. 2]. Moscow: Nauka Publ., pp. 131–134.

Chaadaev, P. Ya. (1991) “Filosoficheskie pis'ma” [“Philosophical Letters”], in Chaadaev, P. Ya. *Polnoe sobranie sochinenii i izbrannye pis'ma: v 2 tomakh. Tom 1* [Complete Works and Selected Letters: 2 vols. Vol. 1]. Moscow: Nauka Publ., pp. 320–440.

Chernyshevskii, N. G. (1950) “Apologiya sumasshedshego” [“The Apology of the Madman”], in Chernyshevskii, N. G. *Polnoe sobranie sochinenii: v 15 tomakh. Tom 7: Stat'i 1860–1861 godov* [Complete Works: 15 vols. Vol. 7: Articles of 1860–1861]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoi literatury [State Publishing House of Fiction], pp. 592–618.

Информация об авторе: В. К. Кантор — доктор философских наук, ординарный профессор, главный научный сотрудник, заведующий Международной лабораторией русско-европейского интеллектуального диалога, главный редактор журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог». Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Адрес: Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4, каб. 215.

Information about the author: V. K. Kantor — DSc in Philosophy, Full Professor, Chief Research Fellow, the Head of International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, Editor-in-Chief of the journal “Philosophical Letters. Russian and European Dialogue”. National Research University “Higher School of Economics” (HSE University). Address: 215, 21/4 Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 10.02.2023;
одобрена после рецензирования 01.03.2023;
принята к публикации 10.03.2023.

The article was submitted 10.02.2023;
approved after reviewing 01.03.2023;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 41–60.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 41–60.

Научная статья / Original article

УДК 94(430).041

doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-41-60

«СБОРИЩЕ ДИКИХ, УЖАСНЫХ, УГРЮМЫХ»: СТАНОВЛЕНИЕ НЕГАТИВНЫХ СТЕРЕОТИПОВ О РОССИИ В ГЕРМАНИИ В ЭПОХУ ТРИДЦАТИЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ (1618–1648)



Арина Владимировна Лазарева
Московский государственный
университет им. М. В. Ломоносова,
Москва, Россия, unimoskau@yandex.ru



Аннотация. В статье рассматривается проблема появления в немецкой художественной литературе эпохи барокко образа России. Литература барокко в силу своей специфики для изображения незнакомых народов, среди которых в XVII веке была и Россия, предлагала лишь два полюса — позитивный и негативный. Стереотипы о России в большей степени были связаны с представлением о ней как о дикой и варварской стране, образ которой был призван помочь лучше познать самих себя. Пользуясь в качестве источников в основном не собственными наблюдениями, а уже существующим нарративом, в первую очередь сочинениями С. Герберштейна и А. Олеария, немецкие литераторы изображали Россию и русских в образе «другого» или даже «врага».

© Лазарева А. В., 2023



Ключевые слова: барокко, образ России, Герберштейн, Германия, стереотипы



Ссылка для цитирования: Лазарева А. В. «Сборище диких, ужасных, угрюмых»: становление негативных стереотипов о России в Германии в эпоху Тридцатилетней войны (1618–1648) // *Философические письма. Русско-европейский диалог*. 2023. Т. 6, № 1. С. 41–60. doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-41-60.

Europe and Russia: Paradoxes of Kinship

“A BUNCH OF WILD, TERRIBLE, GLOOMY”:
THE FORMATION OF NEGATIVE STEREOTYPES OF RUSSIA IN GERMANY
IN THE ERA OF THE THIRTY YEARS’ WAR (1618–1648)

Arina V. Lazareva

Lomonosov Moscow State University,
Moscow, Russia,
unimoskau@yandex.ru



Abstract. The article deals with the problem of the appearance of the image of Russia in German baroque literature. Baroque literature, due to its specificity for depicting unfamiliar peoples, among which Russia was in the XVII century, offered only two poles — positive and negative. The stereotypes of Russia were largely associated with the idea of it as a wild and barbaric country, the image of which was intended to better know ourselves. Using as sources mainly not their own observations, but the already existing narrative, primarily the works of S. Herberstein and A. Olearius, German writers portrayed Russia and Russians in the image of the “Other” or even the “Enemy”.



Keywords: baroque, image of Russia, Herberstein, Germany, stereotypes



For citation: Lazareva, A. V. (2023) “A bunch of wild, terrible, gloomy’: The Formation of Negative Stereotypes of Russia in Germany in the Era of the Thirty Years’ War (1618–1648)”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 41–60. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-41-60.

Культура барокко в Германии по сравнению с ее западными соседями обрела специфические черты и создала уникальные образы во многом благодаря тому, что ее формирование шло на фоне Тридцатилетней войны (1618–1648) — катастрофы, которую немцы веками считали истоком и позднего государственного объединения, и появления радикальных форм немецкого национализма, и дальнейшего трудного пути немцев в XX веке. Многие специалисты не раз отмечали ее разрушительный характер, уничтоживший экономику, общество и культуру немецких земель Священной Римской империи. Не ставя под сомнение влияние Тридцатилетней войны на различные сферы жизни немцев в первой половине — середине XVII века, следует отметить, что тезис о культурном упадке в этот период имеет под собой достаточно шаткую почву, так как именно эпоха Тридцатилетней войны подарила немецкому барокко целую плеяду талантливых поэтов и писателей, ставших основоположниками немецкого литературного языка и немецкой поэзии, наследие которых в дальнейшем превратилось в фундамент для всей классической немецкой литературы XVIII–XIX веков. Мартин Опиц (1597–1639), Андреас Грифиус (1616–1664), Пауль Флеминг (1609–1640), Георг Филипп Гарсдерффер (1607–1658), Симон Дах (1605–1659), Иоганн Клай (1616–1656) были первопроходцами в стихосложении на немецком языке. Ганс Якоб Кристоффель Гриммельстаузен (ок. 1622–1676) и Иоганн Мошерош (1601–1669) создали немецкий барочный роман.

Литература барокко соединяла в себе, по мнению самих поэтов той эпохи, «все искусства и науки», как заметил один из самых известных немецких поэтов XVII века Иоганн Клай. «Поэт, — продолжал он, — должен быть сведущ в разнообразных сферах: он воспаряет над землей, он путешествует по разным странам в своих мыслях, наблюдает планеты и звезды в своих мечтах. Он раскрывает крылья своего сознания, он перелетает туда, где идет дождь или снег, где висит туман или идет град, бушует буря или [воет ветер]. Он проникает в чрево земли, он изучает глубины, он остро мыслит, создавая изящные слова для живых описаний, и заставляет задуматься» [Klaj, 1645, Lobrede ... , S. 12]. Благодаря так называемой «первой читательской революции» в Европе, литература барокко открыла для своих читателей целый мир литературы светского характера с присущей ей тематикой повседневного быта. Литераторы эпохи барокко ставили две главные цели. Во-первых, они стремились научить изящному слогу, присущему образованным слоям общества, а во-вторых, литература этой эпохи была проникнута стремлением сообщить новые сведения, научить. Благодаря второй составляющей в произведениях этого времени нашла свое отражение информация из разнообразных отраслей науки, однако осо-

бым спросом устойчиво пользовались этнографические сведения. Интерес к жанру путешествий в литературе стал важным импульсом для появления в сочинениях немецких авторов захватывающих рассказов о дальних краях с подробным описанием непривычных нравов и быта.

Внимание литераторов барокко было сосредоточено не только на географических соседях. Большой популярностью пользовались те страны, которые авторы причисляли к «дальним», то есть малоизвестным, о которых в Европе практически ничего не знали. Это было связано с расширением повседневных горизонтов после эпохи Великих географических открытий, с одной стороны, а с другой — с активизацией внешней политики тех государств, которые в Средневековье не играли роли в Европе. Начиная с XVI века в европейскую литературу проникают сведения о Московском государстве. Со знаменитого труда Сигизмунда фон Герберштейна (1486–1566) «Путешествие в Московию» (1549) Русское государство начинает занимать все больше места в умах и фантазиях немецких литераторов.

Сочинение Герберштейна переиздавалось за XVI–XVII века 32 раза и было переведено на семь языков, благодаря чему превратилось в ключевой текст, из которого черпали знания о России во всех европейских государствах. Основными негативными характеристиками, которыми автор наделил русских и Россию, были «русская лживость», «чванство», «рабский характер», жестокость, испорченность нравов, деспотизм правителей, что обобщенно превратилось в «русскую дикость и варварство». Как показали исследования американского историка Маршалла По, косвенные цитаты из «Записок о Московии», создающие негативный образ России, есть в работах таких известных авторов раннего Нового времени, как англичане Дж. Горсей (ок. 1550–1626), Дж. Флетчер (1558–1611), С. Коллинз (1619–1670), итальянцы Р. Барберини (ок. 1532–1582)



Портрет С. Герберштейна в шубе, подаренной ему Василием III. Рисунок первой половины XVI века (из издания: *Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московитских делах.* СПб., 1908)



Карта России, составленная картографом Г. Меркатором, 1595 (Mercator G. Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura. Duisburg, 1595)

и А. Поссевино (1534–1611), французский наемник Ж. Маржерет (ок. 1565–1619) и французский врач Ф. де ла Нёвилль (вторая половина XVII века), шведский дипломат П. Петрей (1570–1622), а немецкие дипломаты, купцы и наемники иногда дословно переписывали из Герберштейна целые куски для достоверного подтверждения своих слов о далекой Московии (см. [По, 2010]).

В XVII столетии, с укреплением единого коммуникативного пространства и более или менее бесперебойного проникновения информации, благодаря первым газетам и подобным сводкам новостей, а также в связи с новой ролью, которую Московское государство начало играть в европейской борьбе за гегемонию, упоминания о России периодически попадали на страницы печатной продукции. Ближе к концу XVII века количество упоминаний увеличивается. Это объясняется прежде всего более широким вовлечением России в орбиту европейской международной политики и началом ее активной борьбы в XVII веке и за территории, утраченные в годы Смуты, и за выход к Балтийскому морю. К этому времени даже существовали карты с российской территорией.

Публицистика и новостные сводки были лишь первым шагом в создании «образа» Русского государства. Важнейший вектор в данном направлении

задала немецкая художественная литература эпохи барокко. Этот образ был противоречивым. Практически неизвестная страна скорее вызывала ужас и отвращение, как и все чужое и непонятное в целом. Важнейшим нюансом, на который необходимо обратить особое внимание, было то, что в основном ни один из литераторов, в произведениях которых в той или иной степени отразился негативный образ Московского государства, не был лично ни в России, ни даже на ее рубежах. Кроме сочинения Герберштейна на представления немцев о России в эпоху Тридцатилетней войны повлияло сочинение немецкого интеллектуала и советника шлезвиг-голландского герцога Фридриха III Адама Олеария (1599–1671), который дважды побывал в России в 1635–1636 и 1639 годах. По итогам путешествия Олеарий оставил обширные записки, которые скорее стоят особняком среди сочинений о России эпохи Тридцатилетней войны. Описание Олеария содержит разнообразные этнографические сведения о географии, быте и нравах русских, придворном церемониале и политике. В отличие от поэтов и писателей эпохи барокко Олеарий представил достаточно нейтральный образ, подчеркивая даже возможность свободы вероисповедания для немцев в России, которую последующие авторы будут игнорировать. Рассказывая о пребывании в Нижнем Новгороде, он писал: «Здесь мы нашли самых крайних на востоке лютеран, которые могли служить по своей вере в открытой церкви; в то время их община доходила до 100 человек» [Олеарий, 1906, с. 358]. В его сочинении Московия представлена не в образе врага, а в образе «другого», знакомство с которым помогает познать себя.

Однако в литературе немецкого барокко преобладали негативные утверждения, создававшие образ варварской страны. Так, широкое распространение в сочинениях эпохи получило представление о России как о стране с суровым климатом, практически непригодной для жизни. Например, немецкий поэт Мартин Опиц утверждал: «Там безжизненный воздух, суровый и грубый. Там скачут неистовые дикие звери. Сколько еще ужасов можно сказать об этой мрачной стране» [Opitz, 1624, S. 145]. Одним из ключевых топосов здесь стал мотив холода, о котором писали многие, начиная с Герберштейна: «...там [от страшного мороза] земля расседается; в такое время даже вода, пролитая на воздухе, [или выплюнутая изо рта слюна] замерзают прежде, чем достигают земли. Мы лично, приехав туда в 1526 году видели, как от зимней стужи прошлого года совершенно погибли ветки плодовых деревьев. В тот год стужа была так велика, что очень многих ездовых, которые у них называются *gonecz*, находили замерзшими в их возках. Случалось, что иные, которые вели в Москву из ближайших деревень скот, привязав его за веревку, от сильного мороза погибли вместе со скотом» [Герберштейн, 2008, с. 289]. Олеарий утверждал: «Семя

не могло бы приняться [в России. — А. Л.] вследствие скрытого в земле мороза и холодных ветров» [Олеарий, 1906, с. 160]. Русские же, по его мнению, даже не замечают нестерпимый холод, что усиливало непривычный облик: «В Нарве я с удивлением видел, как русские мальчишки лет 8-ми, 9-ти или 10-ти, в тонких простых холщовых кафтанах, босоногие, точно гуси, с полчаса ходили и стояли на снегу, как будто не замечая нестерпимого мороза» [Там же, с. 346]. В поэзии барокко русские превратились в «холодный народ», а Россия порой называлась «страной кристального льда» [Dach, 1936–1937, Bd. 1, S. 58].

Рядом с темой беспримерного холода соседствовали и животные образы, которые по устоявшейся традиции считались выносливыми и свирепыми. Одной из главных животных аллегорий для России становятся медведи. Этот мотив отразился и на европейских картах раннего Нового времени — иногда на них в непосредственной близости от известных иностранцам мест были изображены медведи. Они отвечали в иконографии за жестокость, ярость и лень [Медяков, 2021, с. 381]. О медведях в России первым написал Герберштейн, связав их с темой холода: «Кроме того, тогда находили мертвыми на дорогах многих [бродяг], которые в тех краях водят обычно медведей, обученных плясать. [Мало того] и [сами] медведи, [гонимые голодом, покидали леса, бегали повсюду по соседним деревням и] врывались в дома; при виде их крестьяне толпой бежали от их нападения и погибали вне дома от холода самую жалкою смертью» [Герберштейн, 2008, с. 289]. Практически перефразируя Герберштейна, поэт Симон Дах, никогда не бывавший в Московии, утверждал: «Там дикие медведи, мороз и лед кругом» [Dach, 1936–1937, Bd. 1, S. 58]. Образ медведя не был случаен. В Ветхом и Новом заветах медведь традиционно изображался в виде ужасного апокалиптического зверя, порождения Сатаны, даже став одним из его зооморфных воплощений. Кроме того, в Библии медведь превратился в персонификацию Персидского царства с характерными для его изображения воинственными чертами, ассоциировавшимися с восточным деспотизмом. Таким образом, медведь подчеркивал дикость и варварство, а отсылки к Персии превращали Московское государство в восточную деспотию [Медяков, 2021, с. 381].

Образ русского деспотизма и тиранической царской власти укрепился в литературе барокко во многом благодаря роману немецкого писателя Г. Я. К. Гриммельсгаузена «Симплициссимус» (1669). Этот роман стал вообще знаковым произведением для европейского взгляда на Россию. Он переиздавался не только в XVIII–XIX веках. Свою новую жизнь он обрел в Германии в начале XX века, а затем неоднократно научно комментировался. Самыми известными изданиями стали публикации 1913 и 1938 годов. Это роман не о

России. Повествование ведется от первого лица человека, который оказался вовлечен в круговорот Тридцатилетней войны. Однажды герой попадает и в Московское государство. Его описание дано в 20–22 главах пятой книги. Известно, что Гриммельсгаузен лично никогда не был в Москве. Тем не менее широкий успех его романа превратил созданный в нем образ России в стереотип. Этот образ представлен в романе достаточно сжато (из 500 страниц всего 10), однако благодаря своему умелому художественному воплощению он казался достоверным и правдивым [Гриммельсгаузен, 1967, с. 341–351]. Исследователи творчества Гриммельсгаузена установили, что главным источником для описания Московского государства стали записки Адама Олеария [Keller, 1988, S. 373]. Гриммельсгаузен по-своему интерпретировал его сочинение, выбирая самые забавные и необычные истории, описанные голштинским дипломатом, как того требовали законы жанра плутовского романа. Цель «рассказать правдиво» перед ним не стояла. Его герой Симплициссимус, побывавший в разных жизненных ситуациях, ведет повествование так, чтобы заинтересовать читателя, то есть используя приемы, которые в литературе барокко всегда подразумевали нарочитое искажение фактов [Sienger, 1963, S. 39]. Гриммельсгаузен, таким образом, намеренно искажал описанные Олеарием реалии. Литературные приемы эпохи барокко остались за скобками для читателей, которые познакомились с нарочито дикой и непривычной картиной жизни в Московской Руси. Негативная оценка русских реалий Гриммельсгаузенем стала хрестоматийной. Так, на несколько десятилетий стало расхожим утверждение, что карьерный рост иноземцев на царской службе возможен только после перехода их в православие [Гриммельсгаузен, 1967, с. 343].

Возмущение европейцев вызывали свидетельства о заключении приезжающих из Западной Европы в Москву под стражу, о запрете на свободные поездки [Там же, с. 345]. Однако глубже всего в европейские представления о России запали два важнейших тезиса, которые Гриммельсгаузен проводил в романе. Во-первых, немецкий писатель планомерно приводил на страницах своего сочинения доказательства, иллюстрирующие русскую отсталость. Одним из весомых аргументов в данном ряду были рассуждения об отсутствии в России в середине XVII века пороха [Там же, с. 346]. Во-вторых, Гриммельсгаузен намеренно подчеркивал идею всеохватности царской власти: царю принадлежит не только земля, но и «каждый человек от боярина, до холопа» [Там же]. Описывая наказания, которыми казнили непокорных воле царя, Гриммельсгаузен обратил внимание читателей на ссылку в Сибирь: «...за такое учиненное нами превеликое бесчинство сослать всех нас в Сибирь» [Там же,

с. 345]. Ужас перед Сибирью в дальнейшем станет одним из главных страхов Запада перед Российским государством.

Все перечисленные Гриммельсгаузенем векторы описания Московского государства нашли свое отображение и в последующих столетиях: даже те, кто бывал в России лично, всегда подмечали именно негативные черты. Так, знаменитый дипломат Иоганн Корб, побывавший в России в конце XVII века, с воодушевлением описывал кровожадность русских, рассказывая о стрелецкой казни 1698 года. Корб подчеркивал, что в казни участвовал лично Петр I, который «собственноручно отсек головы пятерым преступникам» [Корб, 1997, с. 96], причем кровавая потеха чередовалась с пирами и застольями. Еще один немец — прусский дипломат Иоганн Готхильд Фоккеродт — назвал Россию «царством слепых», имея в виду, что русские от природы не способны на самостоятельность, нуждаются в руководстве извне [Фоккеродт, 2000, с. 19].

С XVIII века добавилась тенденция, которая станет одной из решающих в XIX веке, — идеологизация. Один из ведущих современных исследователей образа России в европейском дискурсе Нового времени, доктор исторических наук А. С. Медяков справедливо заметил, что «Россия начинает представлять как идеологический противник, как антипод “свободы”. Россия выступала в качестве своеобразного контрастного вещества для тех ценностей, которые культивировало в себе развивавшееся европейское общество: русских представляли как движимую инстинктами массу, что сильнее оттеняло новые западные ценности индивидуализма» [Медяков, 2021, с. 380].

Противостояние русских ценностей западноевропейским подчеркивалось немецкими поэтами эпохи барокко путем уравнивания понятий «Московия» и «Скифия». Знак равенства между Московским государством и Скифией оставался в немецкой художественной литературе барокко вплоть до конца XVII века. Первым в немецкой поэзии эпохи барокко Московию со Скифией сравнил Мартин Опиц. Он считался современниками «отцом немецкой поэзии», который, по их выражению, «вывел немецкий язык из тьмы как Орфей свою Эвридику» [цит. по: Лазарева, 2008, с. 15]. Опиц одним из первых начал писать стихи на немецком (а не на французском или латыни) и провел настоящую реформу стихосложения. Благодаря своей службе в польском Торне Опиц черпал знания о России у одного из главных соперников Московского государства в раннее Новое время — Речи Посполитой. Образ России, созданный немецким поэтом, был продолжением устойчивых негативных стереотипов. Делая один перевод с нидерландского, Опиц следующим образом описал москвитов: «И там в невежестве в полях на повозках живет холодный народ, который ни с кем не связан» [Opitz, 1624, S. 145]. Образ кочующего народа, живущего на

повозках, появился в переводе Опица не случайно. С его сочинения берет начало литературная традиция, которая отождествляла Русь со Скифией, подражая при этом античным авторам. К своему переводу Опиц сделал комментарий, в котором указал: «Автор называет скифов невежественными, потому что они были названы греками “неприветливыми, негостеприимными, врагами всего чужого”» [Ibidem]. Согласно греческим описаниям, скифы жили на повозках и могли перевозить за собой свои дома, если снимались с места.

Схожий с Опицем образ «кочующих» народов, под которыми подразумевались русские, есть в широко известной во второй половине XVII века драме Иоганна Клая «Ирод, детоубийца»: «Скиф, живущий ордами в своих повозках среди камышей» [Klaj, 1645, Herodes ... , S. 12]. Еще один известный немецкий поэт, писатель и ученый XVII века Юстус Георг Шоттель в 1640 году даже сравнил «разрозненную, страдающую Германию» со «Скифией / где живут татары / где царит жестокость и злоба, подобная аду / там варварство / там дикие драконы / которые дышат огнем так / что сами превратят себя в золу» [Schottelius, 1640, S. 24]. За достаточно абстрактным названием «Скифия» скрывалось специфическое содержательное наполнение. Скифия была тождественна дикости и варварству. Эти качества стали доминирующими при создании негативного образа русских. Для обоснования этого тождества авторы активно цитировали Овидия, Горация, Вергилия, таким образом окончательно смешивая античную традицию изображения скифов как варваров с представлениями, укоренявшимися в раннее Новое время. Если для античных авторов существовал топос о скифской жестокости, то некоторые авторы старались приписать аналогичное поведение московитам, вплетая свое повествование в картины окружавших их исторических реалий. Все чаще в литературе звучала тема русской воинственности. В 1660 году еще один корифей немецкой литературы Андреас Грифиус изобразил реалии Первой Северной войны: «Дикие враги стоят / и грозят стрелами и мечом / шумный Истр рычит / Там Волга и Ра наполнены трупами / а пожарища топят в крови / [К счастью] нас здесь не беспокоит ни фракийский меч, ни скифская труба / неужели вы, достойные сожаления, не чувствуете / как от чужеродных войн страдает / постоянно опустошаемая страна» [Gryphius, 1884, S. 525]. Характерной особенностью немецкой литературы имперских окраин стали стихи, которые заказывали польские и прусские аристократы, содержащие их жизнеописания, данные в героическом ключе. Многие из адресатов стихов побывали в России во время Смуты или участвовали в Смоленской войне. В этих стихах, в соответствии с их жанровой спецификой, заказчики представляли как герои, неоднократно побеждавшие «диких московитов с тяжелыми дланями», «московитские дикие орды» [Opitz, 1636, S. 3–4].



Вооружение русского всадника. Немецкая гравюра XVII века (из издания: Герберштейн Сигизмунд. Записки о Московитских делах. СПб., 1908. С. 76)

Стихи о Смоленской войне в первую очередь подчеркивали поражение Московского государства. Опиц писал, что «русские бросили к ногам победителей собственное чванство, их научили подчиняться» [Ibid., S. 5]. Во время первого успешного для России года Русско-польской войны, начавшейся в 1654 году, Симон Дах с ужасом писал о том, что русские несут смерть, «ворвавшись в Польшу, изгоняют бедный люд огнем и мечом». Дах таким образом стремился донести до бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма (стихотворение адресовано именно ему) необходимость остановить московское продвижение, так как «такая же участь (как поляков) постигнет и нас», — утверждал поэт [Dach, 1936–1937, Bd. 1, S. 240]. Таким образом становившаяся уже стереотипной картина «диких московитов» получила историческую актуальность и была подкреплена конкретными историческими примерами. Идея о существовании «русской угрозы», «опасности с Востока» в дальнейшем будет одним из самых популярных тезисов, который очень ярко отразится в предвоенной немецкой пропаганде и эпохи Первой мировой войны, и накануне Второй мировой войны. При этом опасность со стороны Франции или Англии никогда не обладала «столь мощным интегрирующим эффектом для немецкого общества», а стереотип русской угрозы в буквальном смысле складывался веками [Медяков, 2021, с. 382].

В XVII веке в связи с попытками России активнее участвовать в международной политике образ русских претерпел заметные метаморфозы по сравнению с XVI веком. Даже русское посольство царя Ивана Грозного, которое однажды оказало помощь императору Максимилиану II в 1576 году, получило негативную оценку. Это посольство в конце XVI века было запечатлено на



Посольство великого князя Московского к императору Священной Римской империи Максимилиану II в Регенсбурге. 1576 (из издания: Ровинский Д. А. Достоверные портреты московских государей Ивана III, Василия Ивановича и Ивана IV Грозного и посольства их времени. СПб., 1882. С. 14)

цветной гравюре «Истинное изображение легации или посольства Великого Князя Московского к Его Императорскому Римскому Величеству... в Регенсбурге», известной среди представителей интеллектуальных кругов германских княжеств [Warhafftige Contrafactur ... , 1576].

Если в оригинале подписи к гравюре просто перечисляются участники русского посольства с указанием точных имен, должностей, перечнем привезенных императору подарков, то во второй половине XVII века М. Вайнрих заменил подпись следующим образом: «И пришли московиты из скифской страны: Сборище диких / ужасных, как сами турки, / мрачных братьев с угрюмым взглядом. Они свирепствуют, как Циклопы в горах Этны, и идут вперед в ужасающем количестве. Кожа потрескалась от злых морозов, и вся в морщинах, / грубые дурные телодвижения. Образ жизни как у крестьян / нравы как у зверей, / душа, которой чуждо простое человеческое поведение. Дикаие / ужасные лица мужей... они практически серые из-за отсутствия ухода, с обвисшими скифскими бородами» [Weinrich, 1659, S. 281]. Тема грязи превратилась в дальнейшем в типичную черту России и некоего обобщенного варварского Востока. В XIX веке к нему добавились и ее атрибуты, в первую очередь вши.

Иногда, изображая Россию в раннее Новое время и даже говоря о чем-то, что казалось им безобидным, а порой и привлекательным, авторы тем не менее противопоставляли ее Западу. Так, немецкий поэт эпохи барокко Пауль Флеминг (1609–1640) изобразил Россию в своем литературном наследии как страну «простых невинных дикарей» [Fleming, 1865, S. 74]. Его имя стоит отдельно в ряду немецких литераторов, писавших в XVII веке о России. Он был другом знаменитого Адама Олеария, с которым вместе и предпринял путешествие. При этом Флеминг был в Московском государстве в 1633 и 1639 годах и пробыл там даже дольше знаменитого путешественника.

Восприятие России Флемингом для создания ее немецкого образа сыграло незначительную роль по сравнению с записками Олеария. Благодаря стараниям последнего Флеминг получил место в посольстве голштинского герцога, которое должно было проехать через Европу в Россию, а оттуда в Персию, чтобы постараться наладить шелковую торговлю. Голштинский герцог обрадовался участию «магистра» Флеминга, так как считал, что это придаст посольству больший вес, и произвел его в гофюнкеры — должность, которая считалась крайне почетной. Посольство начинало свой путь из Гамбурга, где Флеминг впервые упомянул в стихах русских, «радостно и с нетерпением» ждущих немецкое посольство [Ibid., S. 82]. Далее посольство морским путем отправилось в Ригу, а оттуда в Нарву. Из Нарвы Флеминга отправили вперед посольства в Новгород, где он должен был заручиться русской поддержкой против шведов,



Рисунок Московского Кремля из книги А. Олеария (из издания: *Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Введение, перевод, примечания и указатель* А. М. Ловягина. СПб.: Издание А. С. Суворина, 1906. С. 109)

которые не были заинтересованы в продвижении посольства и старались чинить ему всякие препятствия.

В первых стихах, написанных в Новгороде, Флеминг, судя по всему, опирался на сочинения Овидия, которые он писал в конце своей жизни в местечке Томис на Черном море и где есть перечисление так называемых «скифских» рек. Флеминг заимствовал названия этих рек у своего великого предшественника и поместил их перечень в свою поэзию, смешивая в духе барочной традиции Скифию с Московией. Он упоминает Обь, Днепр, называя их «украшением страны» [Ibid., S. 84], однако к Волхову он подбирает прилагательное «варварский» [Ibid., S. 71]. У поэта был личный опыт, дающий ему право на такое суждение, поскольку в Новгороде он столкнулся с тем, что послы иностранных держав находились под стражей и не могли свободно передвигаться. Об этом он пожаловался Олеарию в одном из стихотворений. Однако уезжая из Новгорода, Флеминг практически полностью поменял свое мнение. В стихотворении на прощание с Новгородом Флеминг впервые назвал Московскую Русь «не варварской страной»: «Ступай в полуночные страны, в ту землю, которая

открывается перед тобой. Ту, которую некоторые бранят, хотя они о ней ничего не знают. Говори, что хочешь! Ты узнаешь истину! Потому что доверяешь тому, что ты видишь сам. И надейся, что варварство ты сможешь увидеть не варварским!» [Ibid., S. 128].

В последнем стихотворении из Новгорода Флеминг красочно представляет русский быт. По его наблюдениям, в России популярны охота и рыболовство. В своих стихах поэт создавал идиллию, рассказывая о пристрастии русского человека к простой одежде из «природных материалов»: «Овца дает ему свою шерсть» [Ibidem]. Большое впечатление на Флеминга произвели православные церковные обряды, которые он охарактеризовал как «искусство благочестия» [Ibidem]. Однако он подмечает и бедность, и низкий культурный уровень русского народа: «И если они понимают соседа, то большего им и не требуется» [Ibidem].

Несмотря на подробные описания повседневности русских, которую Флеминг наблюдал во время поездок, его стихи о России тем не менее не слишком близки к достоверному рассказу. В соответствии с эстетикой литературы барокко Флеминг стремился скорее красиво и витиевато облечь слова в форму, чем передать реальную картину. В таком ключе поэты барокко искали образцы в высокой поэзии Античности [Garber, 2008, S. 711]. Флеминг столкнулся со сложной проблемой для своего стихосложения. Древние авторы, повествуя о «примитивных» народах, к которым поэт относил русских, знали только две крайности. На одном полюсе стояло «дикое варварство», а на другом — «идиллия» [Ibidem]. Флеминг, отказавшись от привычного для литературы барокко тезиса о «русском варварстве», в большей степени стремился не к созданию реалистичной картины, а к диалогу с читателем — приему, характерному для художественных сочинений барокко. Подобные диалоги, согласно представлениям литераторов того периода об обязательной поучительной функции прочитанного, помогали читателям, по мнению их авторов, повышать свой образовательный уровень. Культура спора, в который погружали поэты своего читателя, была одной из норм галантного поведения [Kühlmann, 2000, S. 224]. Флеминг полностью в духе традиции барокко поучал своих соотечественников: он представлял им простой, в некотором смысле «невинный» мир «золотого века», в котором нет войн, злодейств, где живут добродушные дикари. Он противопоставлял русскую действительность тому, что происходило в то время в германских государствах, разрушаемых Тридцатилетней войной, тема которой так или иначе звучит практически в каждом стихотворении поэта.

Образ России в немецкой литературе барокко из-за специфики жанра художественных сочинений того периода не был основан на достоверных

исторических реалиях, которые уже были известны Европе к XVII столетию. Он стал продолжением традиции создания негативного стереотипа, которая была магистральной для того времени при конструировании образа «другого», непривычного и малоизвестного. Преследуя дидактические цели, литература барокко стремилась показывать курьезы, необычные происшествия, вокруг которых можно было развивать морально-нравственные концепции. Это укрепляло образ «русских варваров», которым увлекались немецкие поэты XVII века. Литературное воображение гиперболизировало предлагаемые сведения, часто создавая из них образы, далекие от реалий. Однако именно эти образы превращались в стереотипы. Чрезвычайно важно подчеркнуть в заключение то обстоятельство, что образ России, сформировавшийся в раннее Новое время преимущественно в художественной литературе, не только так или иначе отражал восприятие чужой земли и культуры, но и нормировал его, указывал способ видения, трактовал и объяснял.

Список источников

Герберштейн С. Записки о Московии: в 2 т. / под ред. А. Л. Хорошкевич. М.: Памятники исторической мысли, 2008. Т. 1: Латинский и немецкий тексты, русские переводы с латинского А. И. Малеина и А. В. Назаренко, с ранненововерхненемецкого А. В. Назаренко. 776 с.

Гриммельсгаузен Г. Я. К. Симплициссимус / пер. А. А. Морозова, Э. Г. Морозовой. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1967. 672 с.

Корб И. Г. Дневник путешествия в Московское государство Игнатия Христофора Гварнента, посла императора Леопольда I к царю и великому князю Петру Алексеевичу в 1698 г., веденный секретарем посольства Иоганном Георгом Корбом // Рождение империи / сост.: А. Либерман, С. Ю. Шокарев. М.: Фонд Сергея Дубова, 1997. С. 21–258. (История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII–XX).

Лазарева А. В. Национальная мысль в Германии в эпоху Тридцатилетней войны: Автореферат дис. ... канд. ист. наук / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. Ист. фак. М.: Исторический факультет, 2008. 24 с.

Медяков А. С. Война формата 9×14. Открытки в немецкой «культуре войны» 1914–1918 гг. М.: Русский фонд содействия образованию и науке. Университет Дмитрия Пожарского, 2021. 464 с.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно. Введение, перевод, примечания и указатель А. М. Ловягина. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1906. XXVIII, 582 с.

По М. Сочинения иностранцев о Московии // Номо viator. Путешествие как историко-культурный феномен / под ред. А. В. Толстикова, И. Г. Галкова. М.: ИВИ РАН, 2010. С. 208–238.

Фоккеродт И. Г. Россия при Петре Великом // Неистовый реформатор. М.: Фонд Сергея Дубова, 2000. С. 12–263. (История России и Дома Романовых в мемуарах современников. XVII–XX).

Dach S. Gedichte. Halle a.d.S.: Niemeyer, 1936–1937. 2 Bd.

Fleming P. Deutsche Gedichte / Hrsg. von J. M. Lappenberg. Stuttgart: Litterarischer Verein, 1865. 541 S.

Garber K. Literatur und Kultur im Europa der Frühen Neuzeit. München: Fink (Wilhelm), 2008. 791 S.

Gryphius A. Lyrische Gedichte / Hg. von Hermann Palm. Stuttgart: Laupp [u.a.], 1884. 610 S.

Keller M. Simplitanische Moskowienfahrt: Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen // Russen und Rußland aus deutscher Sicht 9. — 17. Jahrhundert / Hg. von M. Keller. München: Fink (Wilhelm), 1988. S. 371–385.

Klaj Jh. Herodes Der Kindermörder: Nach Art Eines Trauerspiels. Nürnberg: In Verlegung Wolffgang Endters, 1645. 62 S.

Klaj Jh. Lobrede der teutschen Poeterey. Nürnberg: In Verlegung Wolffgang Endters, 1645. 27 S.

Kühlmann W. Sprachgesellschaften und nationale Utopien // Föderative Nation. Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum 1. Weltkrieg / Hg. von D. Lange-wiesche und G. Schmidt. München: Oldenbourg, 2000. S. 217–245.

Leitsch W. Das erste Rußlandbuch im Westen — Sigismund Freiherr von Herberstein // Russen und Rußland aus deutscher Sicht 9. — 17. Jahrhundert. Hg. von M. Keller. München: Fink (Wilhelm), 1988. S. 118–149.

Opitz M. Danielis Heinsij Hymnus Oder Lobgesang Bacchi / darinnen der gebrauch vnd missbrauch des Weins beschrieben wird // *Opitz M.* Teutsche Pöemata und: Aristarchvs Wieder die verachtung Teutscher Sprach. Straßburg: Zetzner, 1624. S. 139–156.

Opitz M. Lobgedicht an die koenigliche Majestät zu Polen und Schweden. Thorn: Schnellboltz, 1636. 10 S.

Schottelius J. G. Lamentatio Germaniae exspirantis. Der numehr hinsterbenden Nymphen Germaniae elendeste Todesklage. Braunschweig: Gruber, 1640. 44 S.

Sienger H. Der deutsche Roman zwischen Barock und Rokoko. Köln: Böhlau, 1963. 210 S.

Die Gesandten des Großfürsten von Moskau auf dem Reichstag zu Regensburg. Prag, 1576.

Weinrich M. Melchioris Weinrichi aerarium poeticum hoc est phrases et nomina poetica. Francofurti: Schürer, 1659. 1363 S.

References

Herbershtein, S. (2008) *Zapiski o Moskovii: v 2 tomakh. Tom 1: Latinskii i nemetskii teksty, russkie perevody s latinskogo A. I. Maleina i A. V. Nazarenko, s rannenovoverkhenemetskogo A. V. Nazarenko* [Notes on Muscovy: 2 vols. Vol. 1: Latin and German texts, Russian translations from Latin by A. I. Malein and A. V. Nazarenko, from Early Upper German by A. V. Nazarenko]. Ed. by A. L. Khoroshkevich. Moscow: Pamyatniki istoricheskoi mysli [Monuments of Historical Thought].

Grimmel'sgauzen, G. Ya. K. (1967) *Simplitsissimus*. Transl. by A. A. Morozov and E. G. Morozova. Leningrad: Nauka Publ.

Korb, I. G. (1997) “Dnevnik puteshestviya v Moskovskoe gosudarstvo Ignatiya Khristofora Gvarnenta, posla imperatora Leopold'a I k tsaryu i velikomu knyazyu Petru Alekseevichu v 1698 g., vedennyi sekretarem posol'stva Iogannom Georgom Korbom” [“Diary of a Trip to the Moscow State of Ignatius Christopher Gwarient, Ambassador of Emperor Leopold I to the Tsar and Grand Duke Peter Alekseevich in 1698, Conducted by the Secretary of the Embassy Johann Georg Korb”], in *Rozhdenie imperii* [The Birth of the Empire]. Comp. by A. Liberman and S. Yu. Shokarev. Moscow: Sergey Dubov Fond, pp. 21–258. (Istoriya Rossii i Doma Romanovykh v memuarakh sovremennikov. XVII–XX [The History of Russia and the House of Romanov in the Memoirs of Contemporaries. 17–20th Centuries]).

Lazareva, A. V. (2008) *Natsional'naya mysl' v Germanii v epokhu Tridtsatiletnei voiny. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepeni kandidata istoricheskikh nauk* [National Thought in Germany in the Era of the Thirty Years' War. Abstract of the Dissertation for the Degree of Candidate of Historical Sciences]. Moscow: The Historical Department of the Lomonosov Moscow State University.

Medyakov, A. S. (2021) *Voina formata 9×14. Otkrytki v nemetskoj “kul'ture voiny” 1914–1918 gg.* [The War of the 9×14 Format. Postcards in the German “Culture of War” 1914–1918]. Moscow: Russian Foundation for the Promotion of Education and Science. Dmitry Pozharsky University.

Olearii, A. (1906) *Opisanie puteshestviya v Moskoviyu i cherez Moskoviyu v Per-siyu i obratno. Vvedenie, perevod, primechaniya i ukazatel' A. M. Lovyagina* [The Description of a Trip to Muscovy and through Muscovy to Persia and back. Introduction, translation, notes and index by A. M. Lovyagin]. St. Petersburg: A. S. Suvorin Publ.

Po, M. (2010) “Sochineniya inostrantsev o Moskovii” [“Essays by Foreigners about Muscovy”], in *Homo viator. Puteshestvie kak istoriko-kul'turnyi fenomen* [Homo viator.

Travel as a Historical and Cultural Phenomenon]. Ed. by A. V. Tolstikov and I. G. Galkov. Moscow: IVI RAN, pp. 208–238.

Fokkerodt, I. G. (2000) “Rossiya pri Petre Velikom” [“Russia under Peter the Great”], in *Neistovyi reformator [The Furious Reformer]*. Moscow: Sergey Dubov Fond, pp. 12–263. (Istoriya Rossii i Doma Romanovykh v memuarakh sovremennikov. XVII–XX [The History of Russia and the House of Romanov in the Memoirs of Contemporaries. 17–20th Centuries]).

Dach, S. (1936–1937) *Gedichte* (2 Bd). Halle a.d.S.: Niemeyer.

Fleming, P. (1865) *Deutsche Gedichte*. Hrsg. von J. M. Lappenberg. Stuttgart: Litterarischer Verein.

Garber, K. (2008) *Literatur und Kultur im Europa der Frühen Neuzeit*. München: Fink (Wilhelm).

Gryphius, A. (1884) *Lyrische Gedichte*. Hg. von Hermann Palm. Stuttgart: Laupp [u.a.].

Keller, M. (1988) “Simplitianische Moskowienfahrt: Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen”, in *Russen und Rußland aus deutscher Sicht 9. — 17. Jahrhundert*. Hg. von M. Keller. München: Fink (Wilhelm), S. 371–385.

Klaj, Jh. (1645) *Herodes Der Kindermörder: Nach Art Eines Trauerspiels*. Nürnberg: In Verlegung Wolfgang Endters.

Klaj Jh. (1645) *Lobrede der teutschen Poeterey*. Nürnberg: In Verlegung Wolfgang Endters.

Kühlmann, W. (2000) “Sprachgesellschaften und nationale Utopien”, in *Föderative Nation. Deutschlandkonzepte von der Reformation bis zum 1. Weltkrieg*. Hg. von D. Langewiesche und G. Schmidt. München: Oldenbourg, S. 217–245.

Leitsch, W. (1988) “Das erste Rußlandbuch im Westen — Sigismund Freiherr von Herberstein”, in *Russen und Rußland aus deutscher Sicht 9. — 17. Jahrhundert*. Hg. von M. Keller. München: Fink (Wilhelm), S. 118–149.

Opitz, M. (1624) “Danielis Heinsij Hymnus Oder Lobgesang Bacchi. Darinnen der gebrauch vnd missbrauch des Weins beschrieben wird”, in Opitz, M. *Teutsche Pöemata und: Aristarchvs Wieder die verachtung Teutscher Sprach*. Straßburg: Zetzner, S. 139–156.

Opitz, M. (1636) *Lobgedicht an die koenigliche Majestät zu Polen und Schweden*. Thorn: Schnellboltz.

Schottelius, J. G. (1640) *Lamentatio Germaniae expirantis. Der numehr hinsterbenden Nymphen Germaniae elendeste Todesklage*. Braunschweig: Gruber.

Sienger, H. (1963) *Der deutsche Roman zwischen Barock und Rokoko*. Köln: Böhlau.

Die Gesandten des Großfürsten von Moskau auf dem Reichstag zu Regensburg (1576). Prag.

Weinrich, M. (1659) *Melchioris Weinrichi aerarium poeticum hoc est phrases et nomina poetica*. Francofurti: Schürer.

Информация об авторе: Арина Владимировна Лазарева — кандидат исторических наук, доцент кафедры Новой и Новейшей истории исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Адрес: Российская Федерация, 119192, Москва, Ломоносовский просп., д. 27, корп. 4.

Information about the author: Arina V. Lazareva — PhD in History, Associate professor at the Department of Modern and Contemporary History of the Faculty of History, Lomonosov Moscow State University. Address: 4 27 Lomonosovsky Avenue, Moscow, 119192, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.11.2022;
одобрена после рецензирования 01.03.2023;
принята к публикации 10.03.2023.

The article was submitted 28.11.2022;
approved after reviewing 01.03.2023;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 61–69.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 61–69.

Научная статья / Original article

УДК 94(47).084.8

doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-61-69

ВСТРЕЧА «ДВУХ РОССИЙ»: ПИСЬМА РУССКИХ ЭМИГРАНТОВ В ЧЕХОСЛОВАКИИ С ОККУПИРОВАННЫХ СОВЕТСКИХ ТЕРРИТОРИЙ (1942–1943)



Нина Борисовна Хайлова

Институт российской истории РАН,
Москва, Россия, nkhalova@yandex.ru



Аннотация. На основе архивных данных анализируется восприятие советской действительности русскими эмигрантами, оказавшимися в 1942–1943 годах в составе гитлеровской армии на оккупированной территории Украины и Белоруссии. Прослеживается динамика их взглядов и настроений, что приводило к новому пониманию задач эмиграции.



Ключевые слова: русская эмиграция, немецко-фашистская оккупация территории СССР, эмигранты и советское население, переоценка роли эмиграции

© Хайлова Н. Б., 2023



Ссылка для цитирования: Хайлова Н. Б. Встреча «двух Россией»: письма русских эмигрантов в Чехословакии с оккупированных советских территорий (1942–1943) // *Философические письма. Русско-европейский диалог*. 2023. Т. 6, № 1. С. 61–69. doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-61-69.

Europe and Russia: Paradoxes of Kinship

MEETING OF THE “TWO RUSSIANS”:
LETTERS OF RUSSIAN EMIGRANTS IN CZECHOSLOVAKIA
FROM THE OCCUPIED SOVIET TERRITORIES (1942–1943)

Nina B. Khailova

Institute of Russian History
of the Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia,
nkhailova@yandex.ru



Abstract. On the basis of archival data, the perception of Soviet reality by Russian emigrants who found themselves in the Nazi army in the occupied territory of Ukraine and Belarus in 1942–1943 is analyzed. The dynamics of their views and moods is traced, which led to a new understanding of the tasks of emigration.



Keywords: Russian emigration, Nazi occupation of the territory of the USSR, emigrants and the Soviet population, reassessment of the role of emigration



For citation: Khailova, N. B. (2023) “Meeting of the ‘Two Russians’: Letters of Russian Emigrants in Czechoslovakia from the Occupied Soviet Territories (1942–1943)”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 61–69. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-61-69.

В Государственном архиве Российской Федерации (ГА РФ) хранится подшивка пражского издания русских эмигрантов «Циркулярные сообщения профессионального Союза русских инженеров и техников в Протекторате Чехия и Моравия». Исследователям доступны номера журнала за 1942–1944 годы (ГА РФ. Ф. 5759. Оп. 1. Д. 112). Упомянутый Союз русских инженеров и техников был образован в мае 1940 года на автономной нацистской тер-

ритории, которую немецкое правительство считало частью Великого Германского Рейха. В кардинально изменившихся условиях, связанных с германской оккупацией Чехословакии, новая организация русских инженеров-эмигрантов сохраняла преемственность в целях с предшествующим объединением — Союзом русских инженеров и техников в Чехословакии (с 1921 года). Общие задачи сводились к тому, чтобы способствовать объединению русской технической интеллигенции для взаимной помощи и поддержки, обеспечивать защиту правовых, трудовых и культурных интересов членов Союза, помогать русской молодежи в получении образования. Работа неизменно велась под знаком «подготовки к широкой, национально-творческой деятельности в государственном масштабе у себя на Родине» (Там же. Л. 111). К маю 1943 года Союз насчитывал 630 членов и стал самым крупным эмигрантским профессиональным объединением не только в Протекторате, но и за его пределами (Там же)¹.

Население Протектората с самого начала было мобилизовано в качестве рабочей силы, которая должна была работать на победу Германии. Что касается русских эмигрантов, не принявших протекторатное подданство, то, согласно правительственному распоряжению, они не могли быть привлечены к работе на военные нужды, в том числе на оборонных предприятиях. На «бесподданных» рабочая повинность распространилась только осенью 1944 года в связи с Законом о всеобщей рабочей мобилизации.

Однако вскоре после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз русских эмигрантов — инженеров и техников — стали отправлять на оккупированные территории Украины и Белоруссии. Выдержки из их писем время от времени печатались в «Циркулярных сообщениях...» в рубрике «Письма оттуда». Востребованными оказались, в частности, специалисты по дорожному строительству. В одном из посланий сообщалось о том, что эмигранту было не так-то просто оказаться на Родине, чтобы принять участие в работе там. «Нужно бороться за право работать здесь, и это довольно трудно, а работники нужны», — писал в январе 1943 года «служащий на шоссе». Оказавшись в сельской глубинке, он извещал коллег по Союзу, что его деятельность не ограничивается узкопрофессиональными обязанностями: «Приходится быть в одном лице и доктором, и советником, и ветеринаром и т. д., и т. д.» (Там же. Л. 91 об.). Ему вторил коллега, приславший осенью 1942 года подробное письмо с Украины:

¹ У Союза были тесные контакты с эмигрантскими объединениями инженеров и техников в Германии, Франции, Словакии, Сербии, Хорватии, Венгрии.

Работы на 64-километровой² участке много, готовимся к зиме. Строим снеговые защиты, силос [погреба-хранилища] для картофеля (2 × 3000 т), дома для украинцев (с Волги или из Новосибирска) для 5000 человек, склады муки, зерна, сена и т. д. Дороги приводим в порядок от мин, колдобин, ям от взрывов и т. д. Это днем, а вечером прием и обход больных, так как в наших глухих деревнях нет врачей. Да, наверное, и не будет, так что мы, дорожные мастера лечим домашними средствами, собственными аспиринами и компрессами и наугад, без термометров, от всякого, начиная от зубной боли, ранений до воспаления легких. Пишем письма и т. д. Говорю во множественном числе. На деле это — я и коллега М. Мои сослуживцы, очень симпатичные и сострадательные баварцы, тоже хорошо относятся к населению, а оно к ним. Подробности здешней жизни описывать трудно: нужно пережить, — говорят, что уже седею. Сердце нужно здесь иметь крепкое, широкое и ласковое, а руку тяжелую, и голову в порядке, чтобы Вас бы не объехали на сострадании. Работа есть и будет много. Восстановление фактически не начато и будет требовать колоссальных усилий, а главное — перевоспитания людей. Самое трудное — это пробудить интерес к завтрашнему дню. Ибо все привыкли жить лишь сегодняшним днем. Инженеру всех специальностей нужно и терпение, и всесторонние знания, ибо на все — сам. Я вот уже и сельскохозяйственные постройки крестьянам проектировал, а теперь собираю лесопильную машину и строю лесопильный завод: все с двумя кузнецами, да с крестьянами с топорами.

(Там же. Л. 42 об.)

В некоторых письмах впечатления от первой встречи с Родиной спустя 20 лет после вынужденной эмиграции — на грани шока. «Год назад я, конечно, выражаясь образно, ходил, разинув рот, настолько все было новым и интересным», — замечает автор одного из посланий, отправленного из России в октябре 1942 года. К этому времени он уже «психологически оторвался от прежней [эмигрантской] жизни». Примечательно еще одно его признание: «Думаю, что если бы силой вещей я был бы вышвырнут за пределы родной земли, то пошел бы абсолютно на все, чтобы пробиться обратно. Вряд ли я выдержал там жить больше месяца. Не скрою, иногда хочется заскочить на недельку-другую к Вам, но это только из-за людей, из-за родных, но не из-за жизни, как таковой» (Там же).

Какой предстала перед эмигрантами Родина? Можно выделить наиболее повторяющиеся «картины» и размышления. Так, например, в ряде писем — тя-

² Здесь и далее во всех цитатах пояснения слов, упомянутых в оригинале, принадлежат автору настоящей статьи и приводятся в квадратных скобках, расшифровка недописанных частей слов приводится в угловых скобках. — *Примеч. ред.*

желые впечатления от внешнего вида городов и деревень. И речь в них идет не только о военных разрушениях. Зачастую неприятно поражали особенности застройки, характерные бытовые приметы: «Дома очень старые, только масса новых казарм, сильно от войны, а также от самодеятельности, как здесь говорят, населения пострадавших. Во время боев население грабило все, что попало»; «Высоких каменных домов страшно мало, почти сплошь одноэтажные и двухэтажные домишки. Внутреннее их устройство отличается большими неудобствами и, с точки зрения строителя, просто глупостью. Бесконечные коридоры, общая кухня, общая уборная, отличительной чертой которой является то, что в раковину нельзя бросать бумагу, обязательно засорится. Везде грязно. Не только в квартирах, где жили рабочие и вообще люди малообразованные, но и там, где жила интеллигенция. Улицы в подавляющем большинстве немощеные. Пара улиц сохранила остаток асфальта»; «Деревня с виду превратилась в грязно-вшивое море. Солома на хатах погнила. Торчат балки. На улице грязь и мусор. Кажется все так неприглядно и гадко. Редко, редко встречаются чистенькие, опрятные деревушки» (Там же. Л. 15, 16 об., 17 об.).

Наблюдая за разными советскими типами людей, эмигранты отмечали стирание различий между социальными слоями. Характерны, например, такие признания: «Интеллигенции в нашем понимании нет»; «Вид советской интеллигенции ничем не отличается от вида рабочих. Разговор такой же, такие же выражения. Очень редко можно встретить человека, выделяющегося из массы. Это люди, главным образом, пожилые и молодежь, получившая хорошее домашнее воспитание» (Там же. Л. 15). «Чувствуется пролетаризация деревни», — замечал еще один корреспондент. «Стиль — гармошка, частушки, песни из фильмов, — описывал он крестьянские вечеринки. — Танцуют всякие польки и советизированные русские пляски с чечеткой и всякими коленами, раньше русской пляске неприсущими» (Там же. Л. 17).

Во многих письмах рассказывается об особенностях поведения советских людей, их отношении друг к другу и к самим эмигрантам. Читаем об этом у разных авторов: «Все подсоветские очень пронырливы и жизненны. Религиозные вопросы их интересуют весьма мало»; «Помогает мне здесь устраивать дела один москвич-шофер. Такого пройдоху я еще не встречал. Он достанет и принесет дословно все»; «Часто заходя в избу крестьянина, видишь хорошую картину или пальму, на вопрос — откуда? — запинаются и говорят, что, мол, подарок» (Там же. Л. 15, 17 об.). Вот еще — из опыта общения: «Народ хитер и скрытен, жаден на землю, что говорится, до чертиков и страшно эгоистичен»; «Исключительно сильно развито понятие собственности — только себе, за любую цену, даже за счет другого» (Там же. Л. 17, 31). «Эгоизм, вообще, повсемест-

ное явление, — отмечал другой эмигрант, — но, как ни странно, очень все гостеприимные и радушные». Он объяснял это противоречие так: «По-видимому, в людях сейчас борются две стихии: привитая советским режимом, вследствие перманентного обдирания населения, жадность и чисто русская черта — солидаризм и радушие. Безусловно, что, как только люди получают обеспеченное благосостояние, жадность и эгоизм начнут исчезать. Не быть же жадным, когда всего не хватает, очень трудно» (Там же. Л. 17), — простодушно рассуждал автор. С ним соглашался коллега, отмечавший, что «к эмиграции относятся добродушно, уважают ее, известная отчужденность все же есть. Все или почти все очень радушны, угощают, приглашают и т. д. Здесь очень принято ходить друг к другу в гости» (Там же. Л. 15).

Со временем некоторые эмигранты избавлялись от прежних стереотипов в восприятии соотечественников. Они с радостью отмечали перемену в своем настроении: изначальная отстраненность исчезала, заменяясь симпатией и сочувствием, ощущением глубинного «родства» с советским людьми. «Понемногу теперь у меня уже начинает создаваться определенное представление и не совсем совпадающее с прежним, — читаем в одном из писем 1942 года. — ...У меня, например, совершенно нет чувства, что мы друг друга не понимаем и что надо говорить на каком-то хамском языке. ...Там люди, по-моему, гораздо меньше говорили жаргоном, чем мы. Встречаются всякие: симпатичные и не-симпатичные, но это просто как человеческие типы. Меня всегда очень смешат некоторые письма, авторы которых сетуют на безграмотность подсоветского обывателя, а сами делают в слове из трех букв по четыре ошибки» (Там же).

К схожим выводам приходил и другой корреспондент, утверждавший, что грубость населения зачастую «только внешняя, напускная»: «Нет, далеко не умер русский народ. Он живет в глубине своей души. Нужно только поработать, и он стряхнет с себя этот ужасный моральный гнет. С первого взгляда кажется, что исковеркано все, и душа, и тело. И только когда внимательно присмотришься, узнаешь всю сущность» (Там же. Л. 17 об.). С ним соглашался автор, который особо подчеркивал, что, «живя в эмиграции, конечно, трудно понять здешнюю психологию»: «Чем дольше я здесь живу, тем больше становится она ясней» (Там же).

Эмигранты нередко пытались раскрыть глаза «подсоветским» соотечественникам на политику большевиков, при этом сталкиваясь с серьезным препятствием: «Патриотизм развит очень сильно, особенно в городе. К сожалению, проявляется это не так, как нужно»; «Советский дух исключительно сильно въелся в здешних людей» (Там же. Л. 17, 30 об.). В одном из писем приводится характерная иллюстрация: «Говорят, что частная инициатива нужна, но, напри-

мер, — говорила одна барышня, — представить себе магазины, отели с хозяевами она не может и даже в этом для нее есть что-то неприятное» (Там же. Л. 15).

Что обнадеживало эмигрантов, пытавшихся выступить в роли контрпропагандистов, так это «довольно сильно» развитое у советских людей «стремление к правде, справедливости» (причем что «дурман, в котором воспитывалась молодежь, засел в их сознании довольно крепко») (Там же. Л. 17). Вот как описана в одном из писем попытка «обратить в свою веру» одну из представительниц молодого поколения советской страны:

Пришлось мне наблюдать один переворот в душе. Девушка, лет около 20-ти, получившая чисто советское воспитание, никогда ни о чем не задумывавшаяся, принимающая советский шаблон за истину. Внешность и манеры мальчишеские. Когда я в первый раз покрыл «отца народов» и обозвал его дураком, это ее не только оскорбило, но она даже обиделась. Потом она часто бывала в нашей среде. Думаю, что больше всего на нее подействовала среда. Непривычная, чуждая ей, но вместе с тем обладающая чем-то совсем отличным от советской среды. Оказалось, что мы «хорошие ребята». Это ее искренне удивило, она очевидно все думала и приходила в тупик. Не такими она представляла себе эмигрантов. Потом пошло постепенное разоблачение советской власти, не сразу, исподволь. Не так говорили с ней, как она слушала разговоры между нами. «Россия в концлагере» [книга И. Л. Солоневича] ее захватила целиком и произвела большое впечатление. Ну, а когда стала открываться перспектива будущего, у нее началась в душе революция. Она продолжается еще и сейчас, так как от 20-летней привычки так сразу не оторвешься, но результат внутренней борьбы ясен. Совсем не то с людьми, которые и сидели, и были репрессированы властью, и ненавидят эту власть всей душой. У них гораздо меньше стремления вперед, меньше стремления к правде, а больше ненависти. Первое, что нужно — чтобы молодежь оторвалась от старого и привыкла хоть немного к новому. К новому порядку, системе, стилю, печати и т. д. Ведь очень горько и больно признать собственную глупость и недалекость.

(Там же. Л. 17 об.)

Живая жизнь, конкретные ситуации сами подсказывали эмигрантам-инженерам, как надо выстраивать общение с советскими обывателями. Однако, чтобы помочь в этом деле коллегам, попавшим на «восток», для них была подготовлена специальная инструкция о том, как вести пропаганду в России (Там же. Л. 56–57 об.). Сложно судить об эффективности этой деятельности, однако что касается перемен в сознании самих эмигрантов, оказавшихся в силу

драматичных обстоятельств на исторической Родине, то они были весьма значительны. Письма этих людей свидетельствуют о серьезной переоценке роли эмиграции, переосмыслении содержания своей «реальной работы» для России.

Прежде всего в письмах тех, кто побывал на «востоке», присутствует мысль, а иногда прямой призыв к коллегам из числа «трудовой и честной» эмиграции «отдать себя почти монашески чистому служению Родине», то есть как можно быстрее оказаться там и начать действовать. «Ваше место давно здесь, в истерзанной и измученной земле, где все нужно сызнова начинать, где грех и святость, где хамство и идеал, где добро и зло, где знание и безграмотность действуют одновременно в одном и том же лице человека, — убежденно заявлял один из корреспондентов в январе 1943 года. — Розовых надежд строить нельзя: здесь все почернело от крови, чада коммунизма и обмана, и работы, честной, полон рот, — каждое слово, дело и помышление эмигранта взвешивается, перевешивается и, в зависимости от самого эмигранта, вся его работа или падет в грязь, или возбудит силы к жизни и борьбе за русское национальное дело» (Там же. Л. 91 об. — 92).

Что же касается политических деятелей эмиграции, то автор одного из писем фактически ставил на них крест, поскольку не верил в то, что эти люди способны изменить свое мировоззрение:

Положение эмиграции, собственно говоря, прямо трагическое. Ведь 20 лет эмигранты всех партий и оттенков считали, что Россия их ждет и что им будет принадлежать ведущая роль после падения большевиков или же в период новой борьбы с ними. Бесчисленное множество разных группировок — от самых реакционных до самых прогрессивных — были убеждены, каждая в отдельности, что именно она правильно постигла психологию подсоветского человека, выработала наиболее правильную идеологию и тактику и поэтому должна встретить в России полное сочувствие и успех, захватить власть и строить новую жизнь. 20 лет прошло в созидании программ, идеологий, тактик, мирозерцаний. Но все создавалось людьми, оторванными от России, не знающими психологии ее и жизни, да, кроме того, в рядах эмиграции не оказалось ни русского Муссолини, ни русского Гитлера... Для большинства наших «вождей» — политика была вопросом кормежки и поэтому они ориентировались не столько на Россию, сколько на власть имущие круги стран своего пребывания, усиленно черпая субсидии, собирая даяния: в одной стране — для работы демократической партии, долженствовавшей превратить будущую Россию в демократическую республику, в другой — на монархическую работу для создания Императорской России. Поэтому эмигрантские партии и не могли распро-

страниться на всю эмиграцию, — если партия поддерживалась в тоталитарном государстве, то ее запрещали в демократическом, и наоборот. Младороссы пытались сидеть на двух стульях — поддерживать славянские идеалы в бывшей Чехословакии в расчете на куш от Крамаржа и германофильские идеалы в Германии, тоже из соответствующих расчетов, приветствовали одновременно — в бывшей ЧСР признание СССР, а в бывшей Югославии непризнание СССР. Доморощенные политики из недоучившихся гимназистов добились лишь того, что им перестали верить и тут и там, и они постыдно провалились, несмотря на много благоприятных данных, но все-таки известное количество вождей сумело благодаря политике в течение ряда лет обеспечить свое существование.

Но вот начались события 1941 г. И все эмигрантские надежды рухнули как карточные домики. События начались и продолжаются без участия эмиграции...

Задачей эмиграции может быть только подготовка, объединение и сохранение технических и культурных сил для восстановления России, создание профессиональных союзов — беспартийных и аполитичных, конечно, с национально антимарксистским оттенком. Это и будет «реальной работой»...

(Там же. Л. 18–18 об.)

Очевидно, что в письмах русских эмигрантов с оккупированных советских территорий отразился главный результат «встречи двух Россией» — их взаимное узнавание и шаги навстречу. Кроме того, проявилось осознание тупиковости предшествующей политической деятельности русского зарубежья. Рождалось новое понимание задач эмиграции.

Информация об авторе: Нина Борисовна Хайлова — доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН. Адрес: Российская Федерация, 117036, Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 19.

Information about the author: Nina B. Khailova — DSc in History, Associate Professor, Leading Researcher at the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences. Address: 9 Dmitry Ulyanov Str., Moscow, 117036, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 26.12.2022;
одобрена после рецензирования 01.03.2023;
принята к публикации 10.03.2023.

The article was submitted 26.12.2022;
approved after reviewing 01.03.2023;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 70–81.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 70–81.

Научная статья / Original article

УДК 101.2

doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-70-81

ПРОБЛЕМА НЕВЫРАЗИМОСТИ «ЭТИЧЕСКОГО» В ФИЛОСОФИИ Л. ВИТГЕНШТЕЙНА И М. К. МАМАРДАШВИЛИ




Александр Андреевич Гиринский

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»,

Москва, Россия, agirinskiy@gmail.com,

<https://orcid.org/0000-0001-9334-431X>

 **Аннотация.** В статье предлагается реконструкция «заочного» диалога между двумя оригинальными мыслителями — Л. Витгенштейном (1889–1951) и М. К. Мамардашвили (1930–1990). Диалог этот посвящен проблеме возможности «этического» высказывания. Диалог об этике в творчестве обоих мыслителей в конечном счете становится дискуссией о возможности философии как таковой, точности философского языка, трансцендентализме и условиях нашего знания и наших действий. В связи с этим в данном тексте анализируются идеи авторов, касающиеся этой проблематики. Поднимаются темы, связанные с оценкой творчества Витгенштейна, диалектикой «Логико-философского трактата» (противоречиями между логической и «мистической» частями),

© Гиринский А. А., 2023

дискуссией о том, что сам Витгенштейн считал в своем произведении более значимым. В случае с Мамардашвили привлекаются работы, посвященные Декарту и Канту, а также социальной философии («Опыт физической метафизики», так называемые «Вильнюсские лекции»). Делается вывод, что авторам близок «трансцендентальный» язык философствования, их объединяет симпатия к философии, где акцент делается не на содержании нашего мышления, а на условиях его реализации. Это сказывается и на их отношении к возможности философии и, соответственно, этики. В творчестве Витгенштейна подчеркивание этого аспекта носит «мистический» характер, у Мамардашвили имеет ярко выраженную «экзистенциальную» окраску.



Ключевые слова: философия, мистика, этика, трансцендентализм, свобода, логика, язык



Благодарности: Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).



Ссылка для цитирования: Гиринский А. А. Проблема невыразимости «этического» в философии Л. Витгенштейна и М. К. Мамардашвили // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 70–81.
doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-70-81.

Europe and Russia: Paradoxes of Kinship

THE PROBLEM OF THE INEXPRESSIBILITY OF THE “ETHICAL”
IN THE PHILOSOPHY OF L. WITTGENSTEIN AND M. K. MAMARDASHVILI

Aleksandr A. Girinskiy

National Research University “Higher School of Economics” (HSE University), Moscow, Russia, agirinskiy@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-9334-431X>



Abstract. This article proposes a reconstruction of the “correspondence” dialogue between two original thinkers — L. Wittgenstein (1889–1951) and M. K. Mamedashvili (1930–1990). This dialogue is devoted to the problem of the possibility of an “ethical” statement. However, it can be seen that the dialogue about ethics ultimately in the work of both thinkers becomes a discussion about the possibility of philosophy

as such, about the accuracy of philosophical language, about transcendentalism and the conditions of our knowledge and our actions. In this regard, this text analyzes the ideas of the authors regarding this issue. Topics are raised related to the assessment of Wittgenstein's work, the dialectic of the “Tractatus Logico-Philosophicus” (contradictions between the logical and “mystical” parts), a discussion about what Wittgenstein himself considered more significant in his work. In the case of Mamardashvili, the emphasis is on works devoted to Descartes and Kant, as well as social philosophy (“Experience in Physical Metaphysics”, the so-called “Vilnius Lectures”). It is concluded that the authors are close to the “transcendental” language of philosophizing, they are united by sympathy for philosophy, where the emphasis is not on the content of our thinking, but on the conditions for its implementation. This affects their attitude to the possibility of philosophy and, accordingly, ethics. In Wittgenstein’s work, the emphasis on this aspect is of a “mystical” nature, while in Mamardashvili it has a pronounced “existential” coloring.



Keywords: philosophy, mysticism, ethics, transcendentalism, freedom, logic, language



Acknowledgments: The article was prepared within the framework of the Basic Research Program at the National Research University “Higher School of Economics” (HSE University).



For citation: Girinskiy, A. A. (2023) “The Problem of the Inexpressibility of the ‘Ethical’ in the Philosophy of L. Wittgenstein and M. K. Mamardashvili”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 70–81. (In Russ.).
doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-70-81.

Философия Людвиг Витгенштейна — одно из самых загадочных явлений западной культуры XX века. Популярность его обусловлена многими причинами. Эксцентричный характер самого философа, фрагментарный характер его философских построений, амбициозные попытки «отменить» философию и показать всей предшествующей интеллектуальной традиции все ее ошибки и промахи, религиозные и мистические искания за пределами логики и вообще какой-либо дискурсивности — вот неполный список того, чем нам запомнился Витгенштейн, и всё это до сих пор будоражит внимание исследователей. Для одних он основатель «лингвистического поворота», который произошел в XX веке в философии, а затем и в гуманитарном

знании вообще, предшественник идей Венского кружка, логический позитивист, сурово презирающий метафизику. Для других — человек, показавший несостоятельность теоретической философии как таковой, философ, отменивший философию ради того, «о чем следует молчать».

Ответ на вопрос, чем же является философия Витгенштейна, составляет большую исследовательскую проблему [Сокулер, 1994]. Вряд ли расхожее убеждение, что вся сущность философии для Витгенштейна сводится к «распутыванию» логико-лингвистических проблем, стоит принимать как единственно возможное. О том, что почти вся рецепция идей «Трактата» на Западе проходила через призму лишь «проявленной», логической части трактата, упоминать тоже излишне. Этот факт достаточно известен. Многие историки философии до сих пор продолжают считать, что «Трактат» Витгенштейна — произведение неоригинальное, вторичное, в схематичном и упрощенном виде повторяющее кантовские интуиции, только если у Канта за пределами теоретического разума и предложений науки есть еще две «Критики», то у Витгенштейна там зияющая пустота.

Современная исследовательница философии Витгенштейна Софья Владимировна Данько, напротив, полагает:

Прежде всего, он показывает, каковы пределы возможностей языка, каково устройство языка. Затем он показывает, что лежит в основе философии, что побуждает людей философствовать. Затем он показывает, что вокруг смыслового ядра философии наворачиваются многочисленные слои рассуждений, которые бессмысленны по одной простой причине: то, что составляет ядро философии и представляет главный интерес для философствующего человека, не может, и, более того, не должно быть выражено, высказано в языке.

[Данько, 2013, с. 6]

Язык, таким образом, может описывать нейтральные состояния мира, но не может описать, если угодно, сущность мира, так как она «мистична», что выражено в афоризме: «Не как мир существует, является мистичным, но скорее, что он вообще существует» [Витгенштейн, 2005, с. 216]. Этическое сводимо к мистическому, так как оно не обладает фактуальностью. В поздний период Витгенштейн частично пересматривает свое отношение к проблеме языка, но основное ограничение тем не менее остается прежним: можно описать «формы жизни», но нельзя описать основания жизни, так как они не подлежат дескрипции как факты. Знание о том, что не наличествует в форме фактов, есть знание о Высшем, мистическом, религиозном, «о чем следует молчать»

[Там же, с. 218], поэтому «если бы человек был способен написать настоящую книгу по этике, то эта книга, подобно взрыву, уничтожила бы все другие книги в мире» [Витгенштейн, 1989, с. 241]. Теоретическая философия не в состоянии говорить о жизни, потому что у нее нет для этого инструментов, но у человека есть способность «указывать», «чувствовать», «достигать» ясности вне философии, науки и других способов рационального теоретизирования, сводимого, по Витгенштейну, к логическим и лингвистическим операциям. Данько отмечает:

И вот здесь-то, в этом пункте я и вижу наиболее важное достижение Витгенштейна, которое в пору назвать новым «коперниканским переворотом»: вся его филигранная логика и воспаряющая над ней голографическая «метаэтика» целиком направлены на то, чтобы показать, или, скорее, напомнить, что дело обстоит как раз наоборот!

[Данько, 2013, с. 8–9]

Таким образом, оправдать «этику» Витгенштейна — значит, по большому счету, оправдать саму философию Витгенштейна как таковую, по крайней мере в объеме «Логико-философского трактата». В противном случае Витгенштейн останется лишь предтечей Венского кружка, логического позитивизма и прочих малоприятных, хотя и продуктивных в свое время явлений западной философской культуры.

Известно, что Витгенштейн в письмах к друзьям и знакомым не раз подчеркивал, что в его «Трактате» «ненаписанное важнее того, что там написано». Это позволяет, например, В. Рудневу говорить, что «Трактат» Витгенштейна является одним из самых сложных произведений мировой философии и культуры: «Не менее сложных, чем Библия, “Бхагавад-Гита”, “Даодедзин” или “Алмазная сутра”» [Руднев, 2005, с. 11]. Далее он отмечает: «По своей структуре “Трактат” тяготеет, как это ни покажется парадоксальным, к утонченному креативному мифологическому мышлению» [Там же].

«Трактат» начинается с утверждения, что понять книгу сможет только тот, «кому однажды уже приходили мысли, выраженные в ней» [Витгенштейн, 2005, с. 14]. Подобное определение условий понимания напоминает мысль М. К. Мамардашвили о том, что понимание (как и всякое человеческое явление, или в терминах Мамардашвили — «усилие») необходимо рождается только в силу условий понимания, не сводимых к какой-либо предметной фактичности. Мамардашвили любил повторять, что любое понимание возможно только тогда, когда уже есть условия для понимания. В этом случае понимание не может не произойти, не сбыться. Случается оно лишь как эм-

пирическое явление, но «происходит» в силу условий, являющихся трансцендентальными. Подробно обращает внимание на это обстоятельство Д. Э. Гаспарян: «Мамардашвили фактически дает формулу трансцендентальной аргументации: от вещей к условиям вещей...» [Гаспарян, 2022, с. 139]. В своей статье она выявляет схожесть философской методологии Витгенштейна и Мамардашвили, делая особый акцент на трансцендентальной «философии сознания» этих мыслителей.

Мамардашвили принадлежат замечательные слова, сказанные им о «Трактате»:

Скажем, какой холодной и отвлеченной красотой пронизан один из лучших философских текстов — «Логико-философский трактат» Витгенштейна. Он является одновременно и знаком человеческого достоинства, и знаком человеческой хрупкости. Одним из выражений этих застывших образов высокого, то есть истиной красоты, добра, достоинства — или того, о чем трудно говорить, и поэтому лучше молчать. Это то, что Витгенштейн называл мистическим. Кажется, будто ему приснился мир (трактат был написан большей частью в окопах первой мировой войны) и всю последующую жизнь он безуспешно пытался помыслить то, что ему пригрезилось и что не могло, как он считал, быть предметом анализа.

[Мамардашвили, 1992, с. 398]

Или другие слова:

Признание того, что в действительном смысле реальны и необходимы только истины факта, Витгенштейн закрепил в своей знаменитой проблеме молчания. Скажем, есть трансцендентальная этика, и ее нельзя выразить. То, что мы выражаем, уже не этика. Но дело в том, что то, о чем молчишь, существует более необходимо и достоверно, нежели то, о чем говоришь, — иначе для Витгенштейна не существовало бы проблемы молчания.

[Мамардашвили, 1993, с. 246–247]

Проблема молчания как главная проблема философии, проблема мышления о том, о чем мыслить нельзя, — такая постановка вопроса сближает Витгенштейна с Мамардашвили самым естественным образом. Еще одна цитата из «Трактата»: «Чтобы провести границу мышлению, мы должны были бы быть в состоянии мыслить по обе стороны этой границы (мы должны были бы, тем самым, быть в состоянии мыслить о том, о чем мыслить нельзя)» [Вит-

генштейн, 2005, с. 14]. Или, на мой взгляд, еще более важная цитата: «Я держусь того мнения, что проблемы в основном окончательно решены. И если я в этом не ошибаюсь, *то ценность этой работы теперь заключается, во-вторых, в том, что она обнаруживает, как мало дает то, что эти проблемы решены*» [Там же].

Решение проблем «дает очень мало». Одна эта формулировка неоспоримо доказывает, что решение логико-языковых затруднений нисколько не играет роли для Витгенштейна, что главная часть «Трактата» та, которая проблемы не решает, а в каком-то смысле их заново ставит. Здесь уместно вспомнить размышление Мамардашвили: «То, о чем молчишь, существует более достоверно». Что бы это могло значить? Первый афоризм «Трактата» звучит так: «Мир — это всё, чему случается быть» (“Die Welt ist alles, was der Fall ist”) [Там же, с. 18]. Понятие «случая» как «случаяния», вообще сама онтология «случайности» имеет также смысл и для Мамардашвили. «Случается» только то, что не является достоверным. Случиться может только то, что обладает фактичностью, но не обладает «трансцендентальной приставкой», структурой извлечения опыта, не сводимого к эмпирии. Всё «человеческое», по Мамардашвили, выходит за рамки предметной фактичности, а потому не может быть выражено через субъект-предикатные отношения и не может быть оформлено и связано каузальным образом. Гаспарян отмечает:

...Можно говорить о двух режимах эпистемической доступности. Первый режим предполагает стандартную субъект-объектную модель и верификацию посредством актуализации значения, иначе говоря, это взор, направленный на предметное сущее. В терминах Витгенштейна это можно обозначить как уровень «фактов» и их описаний — предложений, а в терминах Мамардашвили мы можем назвать его измерением «эмпирий». Второй режим не предполагает стандартной субъект-объектной модели и исходит из другого типа знания. Выражаясь понятиями Витгенштейна, можно назвать его невыразимым посредством предложений, но показывающим себя очерчиванием логического и мистического.

[Гаспарян, 2022, с. 139–140]

Нельзя не обратить внимания, что Мамардашвили уравнивает линию Витгенштейна и Канта: «Правы Кант и Витгенштейн, когда говорят: этика не факт мира, она трансцендентальна, то есть она граница мира или какой-то особый взгляд на мир» [Мамардашвили, 2009, с. 28]. По всей видимости, это и есть витгенштейновское «невозможно мыслить по обе стороны границы»

[Витгенштейн, 2005, с. 14]. Об этом, как кажется, и высказывания Витгенштейна, что скептицизм «хочет сомневаться там, где не должно спрашивать», что «мистическое обнаруживает себя», что «мистическое» — это скорее не то, как мир существует, а то, чем он является в своей сущности [Там же, с. 216–217]. Кантианские интонации Витгенштейна также близки Мамардашвили. Известен его пассаж в «Кантианских вариациях» — глубоко витгенштейновской по духу книге:

Философия Канта как раз и состояла в думании о таких условиях содержания, которые не совпадают с самим содержанием и которые незаметны, уходят на задний план, когда содержание случилось. Обычно мы воспринимаем случившееся содержание как само собой разумеющееся и выражаем его в предметных терминах, то есть мыслим о нем в терминах самого содержания, — а философы понимают, что есть еще что-то другое.

[Мамардашвили, 2002, с. 10]

В. Ю. Файбышенко отмечает «трансцендентальный» характер такого философствования:

Трансценденталии, или идеи, работают как особый оптический фокус, делающий «то, чего нет» видимым. Трансценденталии входят в жизнь как эффекты, как бы производимые искусственными структурами, но само создание этих структур и способность их распознавать уже предполагают трансцендентальный фокус. Мамардашвили иногда называет имена таких структур — например, право, наука, этика, но их не надо путать с «социальными институтами» права или науки, как мы их знаем. Мамардашвили, говоря об искусственных органах-интенсификаторах, имеет в виду не исторически данные структуры, но то, что в принципе позволяет отличить науку от ненауки, а право от бесправия, отличить в собственной жизни и собственным действием.

[Файбышенко, 2018, с. 20]

«Другое», о котором говорит Мамардашвили, — это то, «о чем следует молчать», или то, что «скрывается» от нас через свое содержание. Феномен, в кантианской терминологии, скрывает от нас «мир сам по себе», потому что предстает перед нами только через априорные формы чувственности и рассудка. Прорваться к «миру» можно только через этику. В эту же линию рассуждения укладывается и следующий афоризм Витгенштейна: «Смысл мира должен лежать за его пределами. В мире всё есть, как есть, и всё происходит так, как

происходит. Внутри него никакой ценности — а если бы она там имелась, то не имела бы никакой ценности» [Витгенштейн, 2005, с. 213].

Мамардашвили, как видно, выражает ту же самую мысль, но более понятным образом: «Всегда возможно что-то другое и в каком-то смысле любой мир есть случайный мир, то есть состав мира внутри границ мира случайный... Факты мира все одинаково случайны или, как говорил Декарт, одинаково безразличны» [Мамардашвили, 2009, с. 54]. Факты мира случайны, потому что принцип их упорядочивания необходимо не может существовать «фактическим», предметным, логическим образом. Смысл мира всегда находится вне мира, этика всегда трансцендентальна, так как не может являться содержанием мира, но всегда является его условием, в той мере, в какой этот мир «мой», или шире — человеческий. Говорить об этике на языке *Naturwissenschaft* — значит делать главную философскую ошибку, чреватую в том числе и тяжелыми практическими, социально-политическими последствиями, в конечном счете тоталитаризмом («социальной алхимией»). Определять моральное действие через причинность, логическую необходимость невозможно, так как этика не задается фактуальностью мира, так как все «человеческие» явления, будь то «свобода», «совесть», «долг», «любовь» и прочие, являются явлениями «по ту сторону причинности».

Рассуждение Мамардашвили на эту тему сводится к тому, что, если бы не существовало этики, в мире невозможны были бы никакие постоянные, длящиеся события. То, что заставляет мир удерживаться в состоянии «человеческого усилия», есть человеческая интенсивность, продукт сознания, имеющего трансцендентальную, а значит, этическую природу. Знаменитый его пример говорит о том, что любовь отличается от полового желания, так как имеет трансцендентальную, внепричинную природу, длится только за счет тавтологии и самоопределения самой себя, а не в силу необходимости какого-то причинного ряда, который всегда в силу условий фактуально-каузальной природы мира имеет преходящее, изменчивое состояние. Если возможна, по Мамардашвили, вечная, непреходящая любовь, то только как явление высшего, «трансцендентального» порядка.

Вывод Витгенштейна, как кажется, достаточно прост (однако простота вывода не означает простоты решения поставленного вопроса): любая этическая теория, претендующая на «проговаривание» и аргументацию своих положений, превращается в «квазинаучную» догматику, так как неизбежно вырождается в причинно-фактическую предметную детерминацию. Этические предположения, если бы они и могли состояться на каком-то непредметном языке, могли бы лишь указывать, «проявлять» этическое как таковое, но никогда не

получать его путем некой дедукции понятий. В этом, несомненно, и пафос Мамардашвили, для которого, в общем, вся философия сводится к этой проблеме: «Мы не можем выскочить из мира, то есть мы можем ухватывать трансценденцию только на проявлении ее действия через нас. Это неуловимый акт, который ухвачен описанием чего-то, что мы можем примерно знать, но не можем выразить» [Мамардашвили, 2009, с. 57].

Список источников

Витгенштейн Л. Лекция об этике (1929 или 1930 г.) / пер. А. Ф. Грязнова // Историко-философский ежегодник. М.: Наука, 1989. С. 238–245.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // *Витгенштейн Л.* Избранные работы / пер. с нем. и англ. В. Руднева. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 14–222.

Гаспарян Д. Э. Невыразимость как условие: трансцендентальное в философии М. Мамардашвили и Л. Витгенштейна // *Вопр. философии.* 2022. № 8. С. 136–147.

Данько С. В. Отменил ли Витгенштейн философию? // *Вох. Философский журнал.* 2013. № 15. С. 1–37.

Мамардашвили М. К. Вена на заре XX века // *Мамардашвили М. К.* Как я понимаю философию. М.: Прогресс: Культура, 1992. С. 388–403.

Мамардашвили М. К. Кантианские вариации. М.: Аграф, 2002. 320 с.

Мамардашвили М. К. Картезианские размышления. М.: Прогресс, 1993. 352 с.

Мамардашвили М. К. Вильнюсские лекции по социальной философии. Опыт физической метафизики. М.: Прогресс–Традиция, 2009. 304 с.

Руднев В. От комментатора // *Витгенштейн Л.* Избранные работы / пер. с нем. и англ. В. Руднева. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2005. С. 11–14.

Сокулер З. Людвиг Витгенштейн и его место в философии XX века. Долгопрудный: Аллегро-Пресс, 1994. 173 с.

Файбышенко В. Ю. Пустая форма и начало истории: трансцендентальная философия рождения у Мераба Мамардашвили // *Философия. Журнал Высшей школы экономики.* 2018. Т. 2, № 4. С. 13–31.

References

Wittgenstein, L. (1989) “Lektsiya ob etike (1929 ili 1930 g.)” [“Lecture on Ethics (1929 or 1930)”], transl. from the English by A. F. Gryaznov, in *Istoriko-filosofskii ezhegodnik* [Historical and Philosophical Yearbook]. Moscow: Nauka, pp. 238–245.

Wittgenstein, L. (2005) “Logiko-filosofskii traktat” [“Tractatus Logico-Philosophicus”], in Wittgenstein, L. *Izbrannye raboty* [Selected Works]. Transl. from the English and German by V. Rudnev. Moscow: Izdatel'skii dom «Territoriya budushchego», pp. 14–222.

Gasparyan, D. E. (2022) “Nevyrazimost' kak uslovie: transtsendental'noe v filosofii M. Mamardashvili i L. Vitgenshteina” [“Inexpressibility as a Condition: Transcendental in the Philosophy of M. Mamardashvili and L. Wittgenstein”], *Voprosy filosofii*, 8, pp. 136–147.

Dan'ko, S. V. (2013) “Otmenil li Vitgenshtein filosofiyu?” [“Did Wittgenstein Abolish Philosophy?”], *Vox. Filosofskii zhurnal* [Vox. Philosophy Journal], 15, pp. 1–37.

Mamardashvili, M. K. (1992) “Vena na zare XX veka” [“Vienna at the Dawn of the 20th Century”], in Mamardashvili, M. K. *Kak ya ponimayu filosofiyu* [How do I Understand Philosophy]. Moscow: Progress: Kul'tura, pp. 388–403.

Mamardashvili, M. K. (2002) *Kantianskie variatsii* [Kantian Variations]. Moscow: Agraf.

Mamardashvili, M. K. (1993) *Kartezianskie razmyshleniya* [Cartesian Reflections]. Moscow: Progress.

Mamardashvili, M. K. (2009) *Vil'nyusskie leksii po sotsial'noi filosofii. Opyt fizicheskoi metafiziki* [Vilnius Lectures on Social Philosophy. Experience of Physical Metaphysics]. Moscow: Progress-tradiciya.

Rudnev, V. (2005) “Ot komentatora” [“From the Commentator”], in Wittgenstein, L. *Izbrannye raboty* [Selected Works]. Transl. from the English and German by V. Rudnev. Moscow: Izdatel'skii dom «Territoriya budushchego», pp. 11–14.

Sokuler, Z. (1994) *Lyudvig Vitgenshtejn i ego mesto v filosofii XX veka* [Ludwig Wittgenstein and his Place in the Philosophy of the 20th Century]. Dolgoprudny`j: Allegro-Press.

Faibyshenko, V. Yu. (2018) “Pustaya forma i nachalo istorii: transtsendental'naya filosofiya rozhdeniya u Meraba Mamardashvili” [“Empty Form and Beginning of History: Transcendental Philosophy of Nascence in Mamardashvili's Works”], *Filosofiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki* [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics], 2(4), pp. 13–31.

Информация об авторе: Александр Андреевич Гирицкий — кандидат философских наук, младший научный сотрудник Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Адрес: Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4.

Information about the author: Aleksandr A. Girinskiy — PhD in Philosophy, Junior Research Fellow at the International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, National Research University “Higher School of Economics” (HSE University). Address: 21/4 Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 14.10.2022;
одобрена после рецензирования 30.11.2022;
принята к публикации 10.03.2023.

The article was submitted 14.10.2022;
approved after reviewing 30.11.2022;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 82–117.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 82–117.

Научная статья / Original article

УДК 1(091)


doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-82-117

ДВЕ ЛИНИИ ОТНОШЕНИЯ К ВЛАСТИ В РОССИИ: АНАЛИЗИРУЯ ПОЛЕМИКУ МЕЖДУ А. И. ГЕРЦЕНОМ И Б. Н. ЧИЧЕРИНЫМ



Сергей Львович Чижков

Институт философии Российской академии наук,
Москва, Россия, chizhkov@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0002-7819-5579>

 **Аннотация.** В статье рассматривается процесс расхождения двух основных идейных течений в русской мысли середины XIX века. Старт этому процессу на переломном этапе российской истории, этапе подготовки и начала реформ, дала полемика Б. Н. Чичерина и А. И. Герцена и последовавшие за ней общественные идейные баталии. Автор анализирует ее ход, включение в полемику новых участников, их общие мировоззренческие позиции, их аргументы. Два разных направления в общественной мысли имели разные взгляды буквально на все стороны российской жизни. Сформировались две «программы» поведения в отношении власти: радикальная и либеральная. Если либеральная строилась на необходимости сотрудничества с властью, проводящей реформы, то радикальная полагала, что все остается по-прежнему, природа са-

мой власти не меняется, поэтому давление на власть — единственный способ содействовать реформам. Анализируется логика и аргументация этих направлений, так же как и отношения участников, поскольку в этой истории много «личного» и это «личное» во многом определяло ход дискуссий. Основным материалом для анализа выступают письма, мемуары и публикации ключевых участников тех событий.



Ключевые слова: А. И. Герцен, Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, В. А. Панаев, радикализм, либерализм, реформы, право



Ссылка для цитирования: Чижков С. Л. Две линии отношения к власти в России: анализируя полемику между А. И. Герценом и Б. Н. Чичериным // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 82–117. doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-82-117.

Literature. Philosophy. Religion

THE TWO LINES OF ATTITUDE TO THE POWER IN RUSSIA:
ANALYZING THE CONTROVERSY BETWEEN A. I. HERZEN AND B. N. CHICHERIN

Sergei L. Chizhkov

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences,
Moscow, Russia, chizhkov@gmail.com,
<https://orcid.org/0000-0002-7819-5579>



Abstract. The article deals with the process of divergence of two main ideological currents in Russian thought in the middle of the 19th century. The start of this process at a turning point in Russian history, at the stage of preparation and beginning of reforms, was given by the controversy of B. N. Chicherin and A. I. Herzen and the public ideological battles that followed. The article analyzes its course, the inclusion of new participants in the controversy, their common worldview positions and their arguments. Two different trends in social thought had two different views on literally all aspects of Russian life. Two “programs” of behavior in relation to the authorities were formed: radical and liberal. If the liberal one was based on the need for cooperation with the authorities conducting reforms, then the radical one believed that everything remains the same, the nature of the government itself does not change, so pressure on the authorities is the only way to promote reforms. The logic and

argumentation of these directions are analyzed in the article, as well as the relations of the participants, since there is a lot of “personal” in this story and this “personal” largely determined the course of discussions. The main materials for analysis are letters, memoirs and publications of the main participants of those events.



Keywords: A. I. Herzen, B. N. Chicherin, K. D. Kavelin, V. A. Panaev, radicalism, liberalism, reforms, law



For citation: Chizhkov, S. L. (2023) “The two Lines of attitude to the Power in Russia: Analyzing the Controversy between A. I. Herzen and B. N. Chicherin”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 82–117. (In Russ.).
doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-82-117.

Внутренняя политика Николая I с ее военно-бюрократической системой управления, жесткой цензурой не только слова, но и мысли, с тотальным контролем всех сторон общественной и частной жизни сформировала в российском обществе довольно широкую и крайне неоднородную оппозицию. Эта оппозиция была, по сути, даже не реальной политической оппозицией, а скорее нравственной — глубоким внутренним несогласием с теми порядками, которые установились в стране. Подавление всегда вызывает ответную реакцию, а подавление личности ведет к обостренному чувству собственного достоинства. С николаевских времен проблема личности и ее достоинства становится ключевой темой русской литературы, да и всей русской культуры, — это с одной стороны. С другой — это несогласие должно было искать поддержку у других таких же личностей. Стали активно создаваться различные кружки, в которых формировалось то самое взаимное признание и взаимопонимание между людьми, которые были совершенно невозможны в публичной сфере внутри страны.

Создать такое публичное пространство для обмена мнениями и должна была, по мысли Герцена, «Вольная русская типография». Независимые издания Герцена и Огарева стали если и не единственным, то во всяком случае главным местом, где граждане России могли хотя и анонимно, но все же свободно высказываться. Трудно переоценить значение этих изданий для России, как и ту роль, которую сыграл Герцен в интеллектуальной жизни нашей страны.

После смерти Николая I и восшествия на престол Александра II ситуация стала меняться. Первые высказывания нового монарха о необходимости глубоких реформ обнадеживали, в то время как конкретные действия, а особенно

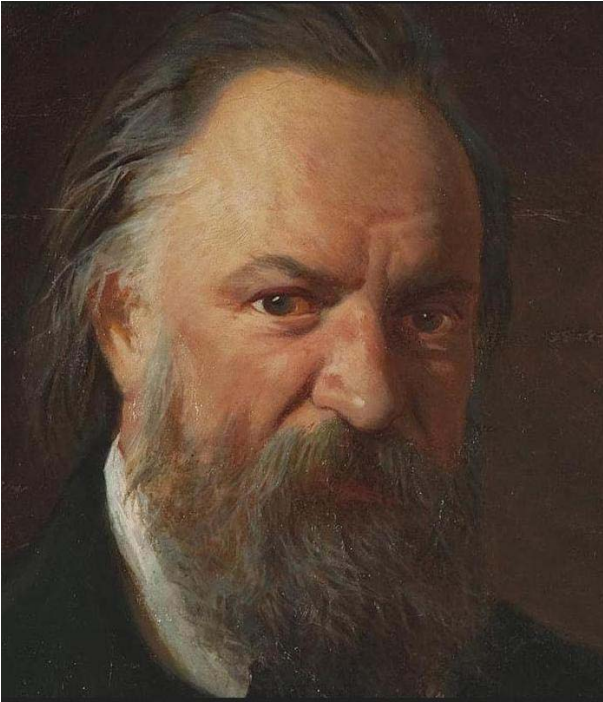
назначения, скорее обескураживали. Наметились первые признаки становления политической жизни в России, соответственно и все латентные различия в политических убеждениях, которым ранее не придавали особого значения, стали предметом политического размежевания и конфронтации, доходящей подчас до разрыва личных отношений и многолетней дружбы. Затронул этот процесс, как мы знаем, самого Герцена и его издания.

Должно ли свободное русское слово и дальше идти тем же курсом давления на власть, обличения злоупотреблений и коррупции чиновничества, интриг в высших сферах, произвола помещиков или оно может обрести новое звучание, более позитивную направленность, оказывать возможную поддержку власти, проводящей реформы, сохраняя, естественно, при этом свою независимость?

Если Александр Герцен не видел каких-то обнадеживающих изменений во власти или не хотел их видеть, то Борис Чичерин видел те, которых, возможно, и не было. Полемика точек зрения двух выдающихся русских мыслителей развернулась на страницах «Колокола» и вызвала настоящую бурю в русской интеллектуальной жизни того времени. Но одновременно это была драма двух людей с их характерами, убеждениями, которыми никто не мог поступиться, ценностями, да и просто чувством собственного достоинства. В этом споре не было победителей, и две линии отношения к власти в России сохранялись следующие полвека, а возможно, вообще стали постоянным элементом нашей культуры.

Первые встречи

В 1844 году Борис Чичерин и его младший брат Василий приезжают в Москву для подготовки к поступлению в университет. Все это время вплоть до самого зачисления братья Чичерины жили в доме старого друга их отца Николая Филипповича Павлова на Сретенке. При выборе педагога, который должен был готовить братьев к экзаменам, Павлов настоятельно рекомендовал Грановского как лучшего профессора в университете и взялся переговорить с ним. Грановский отказал, поскольку этим не занимался, никогда и никого не готовил, но в свою очередь порекомендовал кого-то из своих коллег. Тогда Николай Васильевич Чичерин приехал из своего имения и решил сам поговорить с Грановским. Состоялся содержательный и дружелюбный разговор, и Борис с братом стали единственными студентами, которых к поступлению в университет готовил Грановский. Борис стал лучшим и при поступлении, и на выпуске в 1848 году. Одно интересное обстоятельство, пожалуй, стоит отметить. Отец хотел, зная склонность братьев к изучению языков, чтобы они



Н. Н. Ге. Портрет Александра Ивановича Герцена (фрагмент). 1867. ГТГ

учились на филологическом факультете, но Грановский рекомендовал именно юридический не только потому, что там были более сильные преподаватели, но также понимая способности и склонности самого Бориса. Эта рекомендация предопределила всю дальнейшую судьбу Чичерина.

Впервые Чичерин увидел Герцена в доме у Павловых в середине 1840-х годов, когда был уже студентом Московского университета. Братья стремились освоиться в московской жизни и старались не пропускать знаменитые «павловские четверги». Именно по четвергам в доме Павловых собиралось московское литературное общество и

велись беседы по самому широкому кругу вопросов, в том числе обсуждались и философские темы. Поскольку Павлов был в приятельских отношениях как с западниками, так и со славянофилами, в его доме собирался весь литературный мир Москвы¹.

Герцен произвел тогда на молодого Бориса Чичерина сильное впечатление своей эрудицией, живостью ума, смелостью суждений. Еще до поступления в университет отец давал ему читать статьи Герцена и они их вместе разбирали. Понятно, что сам Чичерин на этих «четвергах» был только внимательным наблюдателем и в дискуссиях участия не принимал; соответственно, ни о каком содержательном общении у него с Герценом речи быть не могло. В 1847 году Герцен покинул Россию, а их личная встреча состоялась только в 1858 году.

В середине 1850-х годов Герцен публикует в «Голосах из России» три статьи Чичерина «О крепостном состоянии», «Об аристократии, в особенности русской» и «Современные задачи русской жизни». О последней статье надо сказать отдельно. Она была подготовлена в 1855 году сразу после кончины Николая I, но еще при жизни Грановского. В ней содержалась не только кри-

¹ «По четвергам у них собиралось все многочисленное литературное общество столицы. Здесь до глубокой ночи происходили оживленные споры: Редкин с Шевыревым, Кавелин с Аксаковым, Герцен и Крюков с Хомяковым. Здесь появлялись Киреевские и молодой еще тогда Юрий Самарин. Постоянным гостем был Чаадаев, с его голою, как рука, головою, с его неукоризненно светскими манерами, с его образованным и оригинальным умом и вечною позою. Это было самое блестящее литературное время Москвы» [Чичерин, 2010, с. 134].

тическая оценка николаевской эпохи, но также был предъявлен целый список того, что новая власть и новый монарх должны осуществить. Это был список либеральный и достаточно радикальный по содержанию. По существу это были требования, предъявляемые к власти: отмена крепостного права, свобода совести и равные права для всех религий, свобода общественного мнения, свобода печати и издательского дела, свобода преподавания, независимое от мнения правительства развитие науки, публичность и гласность правительственных действий, их открытость для народа, судебная реформа на основе публичности, гласности и состязательности судопроизводства. Но было еще одно требование, которое по просьбе Кавелина пришлось изъять из статьи, — требование конституции и представительного правления. Грановский тоже был против упоминания конституции.

Эти радикальные по тем временам требования отнюдь не предполагали радикальных методов их осуществления. Чичерин всегда считал, что власть, понимая масштабность задач, просто не может обойтись без серьезной опоры на общество, на его нравственную и интеллектуальную мощь. Он считал, что такой дилеммы и такого выбора, как «реформы сверху или реформы снизу», для России не существует. Реформы могут быть в России только сверху и только при самом активном участии общества. В идее «реформ снизу» Чичерин всегда видел потенциал для национальной катастрофы. В этом во многом заключается политический и нравственный урок, который он усвоил за десять лет дружбы с Грановским.

Чичерин справедливо полагал, что чем величественнее и сложнее задачи, тем более разумными и взвешенными должны быть средства. Только спокойная и хорошо продуманная позиция образованных слоев русского общества при максимально возможном сотрудничестве с реальной властью могут привести к реализации данных целей.

Радикализм Герцена, и особенно его риторика о социалистическом будущем России, о желательности революционных преобразований, вызывал негодование в либеральных кругах русского общества. Если бы не преждевременная смерть Грановского, то, вероятнее всего, размежевание двух лагерей — лагеря либералов и революционно-демократического лагеря — было бы представлено Грановским и Герценом. Грановский очень хотел начать полемику с Герценом в его же собственном издании². Он не только был противни-

² «Грановский не последовал за радикальными увлечениями Герцена, а, напротив, приходил в негодование от взглядов, выраженных в “Письмах с того берега” или в “Полярной звезде”. “У меня чешутся руки, чтобы отвечать ему в его собственном издании”, — писал он» [Чичерин, 2010, с. 164].

ком различных форм радикализма, но также считал, что социалистические планы переустройства человечества, предлагаемые Герценом, совершенно несостоятельны, что социальные болезни, о которых говорили социалисты, могут быть вылечены только по мере реализации либеральных целей и ценностей. Грановский и Герцен представляли собой не только два разных политических лагеря, но и два разных видения исторического процесса, наконец, два противоположных типа темперамента. У Чичерина есть интересное сравнение их реакции на июньские события 1848 года во Франции и последующее установление Второй республики:

Герцен, разочарованный во всех своих ожиданиях, увидев несостоятельность той демократии, которой он отдал всю свою душу, кидался в еще большую крайность, громил умеренно республиканское правление, водворившееся после июньских дней, и проповедовал самые анархические начала, Грановский, как истинный историк, воспользовался развертывающейся перед его глазами картиною, чтобы окончательно выработать в себе трезвый и правильный взгляд на политическое развитие народов, взгляд равно далекий и от радикальной нетерпимости и от реакционных стремлений, проникнутый глубоким сочувствием к свободе, но понимающий необходимые условия для осуществления ее в человеческих обществах.

[Чичерин, 2010, с. 189]

Уже после кончины Грановского этот взгляд на исторические и политические процессы продолжили отстаивать Чичерин и Кавелин. В своем совместном «Письме к издателю»³ [Кавелин, Чичерин, 1856] они критикуют социалистическую утопию Герцена, его надежды на революционный порыв и на исключительную роль сельской общины в грядущем мироустройстве. Однако, как считает Чичерин, в сельскую общину Герцен по-настоящему никогда не верил, а только пускал пыль в глаза своим европейским друзьям⁴.

Было еще одно обстоятельство, которое следует принять во внимание, анализируя лондонскую встречу Чичерина и Герцена. Герцен еще до своего отъезда из России прилюдно оскорбил его учителя и старшего друга Грановского, высказавшись в том смысле, что только отсталый человек может верить в Бога. Более того, Герцен вместо извинений только усугубил ситуацию, утверждая, что якобы это студенты Грановского попросили Герцена поговорить

³ Это так называемое «первое» «Письмо к издателю».

⁴ «Но сам он ей не верил и в откровенные минуты признавался, что кидает пыль в глаза своим европейским друзьям» [Чичерин, 2010, с. 391].

на эту тему со своим любимым учителем. Все это сильно задело Грановского, человека глубоко и искренне верующего, и он полностью разорвал отношения с Герценом. Чичерин, безусловно, об этих обстоятельствах разрыва знал, и это тоже выступило определенным фоном его встречи с Герценом.

Лондонская встреча и размежевание

Личная встреча Чичерина и Герцена состоялась в середине сентября 1858 года в Лондоне, в доме у Герцена. Герцен как раз перед рождением дочери



В. О. Шервуд. Портрет Бориса Николаевича Чичерина (фрагмент). 1869.
Дом-музей Г. В. Чичерина. Тамбов

нанял более просторный дом. Об этом счастливая мать новорожденной, Наталья Алексеевна Огарева-Тучкова, пишет в своих мемуарах. Она также излагает свою версию встречи, хотя личного участия в ней не принимала, находясь под присмотром лечащего врача после сложных родов. Она хорошо запомнила оценку этих дискуссий и личности Чичерина, которую давали Герцен и Огарев по ходу этой встречи, и ее воспоминания заметно расходятся с теми, что оставил Герцен в «Былом и думах». Но главное, только из ее мемуаров мы узнаём, что это была не какая-то разовая встреча — дискуссии продолжались более недели.

Какую цель преследовал Чичерин, отправляясь на встречу с Герценом? Сам он через двадцать лет в «Воспоминаниях» так ее определяет:

Мне хотелось основательно с ним переговорить о современном положении и посмотреть, нельзя ли направить его в смысле полезном для России. Его «Колокол» имел тогда громадное значение. Это была первая свободная русская газета, не стесненная никакою цензурою... С подобным орудием в руках можно было достигнуть того, что было совершенно недоступно подцензурной русской печати. Можно было действовать на недоумевающее правительство, сдерживать его и направлять на правильную стезю. Но именно в этом отношении

«Колокол» был более чем слаб. Он скорее мог сбить с толку и правительство и общество, нежели указать какой-либо определенный путь. В нем выражался весь Герцен, огненный, порывистый, нетерпеливый, раздражительный, полный блеска и ума, но кидающийся в крайность и не умеющий оценить существующие условия жизни.

[Чичерин, 2010, с. 389–390]

Чичерин в своих «Воспоминаниях» об их многодневных беседах с Герценом пишет хотя и критически, но вполне доброжелательно:

Часто и всегда с большим удовольствием ездил я в Putney, где он тогда жил; но поболтавши с ним полдня, наслушавшись остроумных и занимательных речей, я возвращался опечаленный, ибо не видел в этом никакого добра для России. Весь этот крупный талант погибал в бесплодном бесновании... Никакая проповедь умеренности не могла на него подействовать: это было слишком противно его природе. Мы расстались, однако, друзьями. При прощании он пошел проводить меня на железную дорогу, которая была недалеко от его дома, и уговаривал меня писать в «Колоколе», а он будет отвечать.

[Там же, с. 391–392]

Ничто не предвещало бури. Чичерин выполнил какое-то поручение Герцена во Франции и послал ему довольно дружелюбное письмо. Герцен его поблагодарил и на этом все завершилось. Если и были какие-то трудности в их лондонском общении, то все они остались позади. Сам для себя Чичерин решил, что Герцена не переубедить и не переделать, не навредив ему, что это черта его натуры, его темперамента, и на этом успокоился. Но в последовавшей переписке Герцен сообщает Чичерину, что получает критические замечания по поводу политики «Колокола» и что он готовит ответ.

Действительно, письма такие были, и два из них Герцен помещает в листах 23–24 в сентябре 1858 года. В них его упрекают в том, что он «примирился» с властью, что «меч вложил в ножны», что взял на себя функции цензора и не все точки зрения и не все материалы публикует, тогда как они не его собственность, а являются достоянием России. Как мы видим, критика Герцена велась и с более радикальных позиций. Вот характерное высказывание в одном из писем, фраза о высшем чиновничестве и задачах «Колокола»: «Продолжайте доброе и благородное для блага России дело. Бейте нещадно всех этих государственных фигляров, злодеев, вампиров, сосущих кровь и поедающих плоть народа русского. На казнь их, на лобное место, всех, одного за другим, наружу все

их злодейства и подлости. Долой с них маску! Покажите эти пугала на посмешище и омерзение народу» [Опоздавшие письма ... , 1858, с. 190].

Свой ответ на критику Герцен публикует в статье «Нас упрекают» в листе 27 от 1 ноября 1858 года. Но это не ответ радикалам и не ответ славянофилам или западникам. Это ответ неким прямолинейным доктринерам, которые обвиняют «Колокол» в легкомыслии и шаткости. Этим доктринерам, говорит Герцен, и адресована статья. Но где эти доктринеры, обвиняющие Герцена? Их писем нет ни в одном выпуске «Колокола». Совершенно очевидно, что статья «Нас упрекают» явилась ответом только на критику «доктринера» Чичерина, которую тот себе позволил в адрес Герцена во время их встреч и в довольно дружественной переписке. Именно его критику и его позицию, не называя при этом Чичерина, он отказывается признавать и обрушивается с ответной критикой:

Доктринеры на французский манер и гелертеры на немецкий (...) доживают до старости лет не сбиваясь с дороги и не сделав ни орфографических, ни иных ошибок; а люди, брошенные в борьбу, исходят страстной верой и страстным сомнением, истощаются гневом и негодованием, перегорают быстро, падают в крайность, увлекаются и мрут на полдороге—много раз споткнувшись.

Не имея ни исключительной системы, ни духа партии — всё отталкивающего, — мы имеем незыблемые основы, страстные сочувствия, проводившие нас — от ребячества до седых волос, в них у нас нет *легкомыслия*, нет *колебания*, нет *уступок*! Остальное нам кажется второстепенным; средства осуществления бесконечно различны, которое изберется... в этом поэтический каприз истории, — мешать ему неучтиво.

[И-р, 1858, л. 27, с. 220]

А завершает Герцен статью словами: «Доктринеры счастливы, они не увлекаются и... *не увлекают других*» [Там же].

Упрек Чичерину в доктринерстве будет часто повторяться и самим Герценом, и его сторонниками. Ниже мы увидим, что под доктриной Герцен понимал вообще любую политическую или правовую теорию. Доктринер, следовательно, это тот, кто признает необходимость политической или правовой теории для политического действия. Герцен искренне верил, что у истории нет ни маршрута, ни даже направленности, что она стучится сразу в тысячи ворот, поэтому опираться в своих поступках на идею о смысле исторического процесса, то есть на какую-то доктрину, и глупо, и вредно. Сама свобода возможна, только если история непредсказуема.

Понятно, что Герцена что-то сильно задело во время их встречи с Чичериным и в дальнейшей переписке и долго не отпускало. Свою версию этой встречи с наслоившимися с годами новыми обидами Герцен опишет в «Былом и думах».

Осенью 1857⁵ года приехал в Лондон Чичерин. Мы его ждали с нетерпением: некогда один из любимых учеников Грановского, друг Корша и Кетчера, он для нас представлял близкого человека. Слышали мы о его жесткости, о консерваторских веллеитетах, о безмерном самолюбии и доктринаризме, но он еще был молод... Много угловатого обтачивается течением времени.

— Я долго думал, ехать мне к вам или нет. К вам теперь так много ездит русских, что, право, надобно иметь больше храбрости не быть у вас, чем быть... Я же, как вы знаете, вполне уважая вас, далеко не во всем согласен с вами.

Вот с чего начал Чичерин.

[Он] подходил не просто, не юно, у него были камни за пазухой... Свет его глаз был холоден, в тембре голоса был вызов и страшная, отталкивающая самоуверенность. С первых слов я почувствовал, что это не противник, а враг, но подавил физиологический сторожевой окрик — и мы разговорились.

[Герцен, 1956, с. 248]

Далее в своих воспоминаниях Герцен пишет, что Чичерин принял статью «Нас упрекают» на свой счет и прислал письмо, наделавшее много шума, что «Чичерин кампанию потерял — в этом для меня нет сомнения. Взрыв негодования, вызванный его письмом, напечатанным в “Колоколе”, был общим в молодом обществе, в литературных кругах. Я получил десятки статей и писем; одно было напечатано... Сухо-оскорбительный, дерзко-гладкий тон возмутил, может, больше содержания и меня и публику одинаким образом» [Там же, с. 249].

Книга «Былое и думы» впервые вышла в 1868 году. Очень вероятно, что этот фрагмент воспоминаний написан Герценом много позже, а не сразу под впечатлением развернувшейся полемики после письма Чичерина в «Колокол». Многие поддержали Герцена, но многие поддержали и Чичерина. Утверждение Герцена, что его поддержали все, и особенно молодежь, а Чичерина только Елена Павловна, III отделение и пара министров, совершенно не соответствует действительности. Поддержка Чичерина была значительной, и она нарастала, хотя, конечно, в начале письмо вызвало шок. Утверждение, что Чичерин «кам-

⁵ Герцен ошибается, встреча состоялась в сентябре 1858 года.

панию потерял», тоже довольно спорное. Письмо Кавелина, осуждающее Чичерина, И. К. Бабст поддержал первым в самом начале 1859 года, но уже в августе он сообщает Герцену, что все поголовно ругают «Колокол» и в целом соглашались с Чичериным. Позднее Бабст и вовсе отозвал свою подпись. А в 1862 году уже сам Герцен сокрушался, что повторную публикацию «Письма к издателю “Колокола”» приветствовали бывшие сторонники «Колокола», более того, надавили для этого на издателя Солдатенкова, чтобы тот разрешил печать материала, ранее уже опубликованного в другом издании.

Мы выше писали, что в мемуарах Н. А. Огаревой-Тучковой картина встречи Чичерина и Герцена представлена не в таких мрачных тонах. Вот что она пишет:

Осенью 1857⁶ года старший сын Чичерина⁷— юноша, на которого многие возлагали такие горячие надежды, окончив курс в Московском университете блестящим образом, вздумал навестить в Лондоне приятеля своего отца. Я была не здорова, не выходила из комнаты и потому ни разу не видала его, но слышала о нем отзывы Герцена и Огарева. Сначала Чичерин им очень понравился большим развитием, познаниями, блестящим умом, но вскоре они разочаровались в нем и поняли, что очень расходятся с ним во всех серьезных вопросах: он был бюрократ и доктринер. Чичерин провел более недели в постоянных спорах с Огаревым и Герценом. Герцен и Огарев, хотя очень далекие от славянофильства, находили, что Россия должна идти новыми, своими путями; они смотрели на свое отечество с любовью и упованием, а он не хотел или не мог понять их взглядов. Отношения их обострились в последние дни.

[Огарева-Тучкова, 1903, с. 143]

Но расстались они «беззлобно».

Можно не сомневаться, что Огарева-Тучкова действительно Чичерина не видала, поскольку пишет о нем как о «юноше», который только окончил курс в университете. Но этому «юноше» было уже тридцать лет, и он десять лет как окончил университет, более того, уже успел создать себе имя в науке и новое направление в русской историографии⁸. Свое мнение она составила на основе того, что ей говорили о дискуссиях Герцен и Огарев непосредственно

⁶ Отметим, что Огарева-Тучкова делает ту же ошибку с датой приезда Чичерина, что и Герцен, указывая на 1857 год. Понятно, что она брала какую-то информацию из «Былого и дум».

⁷ Имеется в виду Николай Васильевич Чичерин.

⁸ По мнению П. Н. Милюкова, именно работы Чичерина внесли основной вклад в формирование юридической школы русской историографии, опрометчиво переименованной в советской науке в «государственную школу» [Милюков, 1886, с. 80–92].

по ходу этих встреч. По-видимому, общение в действительности проходило в более дружественной обстановке, чем описал Герцен. Важно также и то, что Огарева-Тучкова, похоже, раскрыла в мемуарах ключевую тему споров — это проблема особого пути России.

Что бы ни утверждал Герцен, будто в статье «Нас упрекают» он не имел в виду Чичерина, а отвечал на разные упреки в адрес «Колокола», и что Чичерин по ошибке счел ее направленной против себя, поверить этому трудно. Обстоятельства ее написания и вся последующая полемика доказывают, что адресатом этой статьи был именно Чичерин. Практически все, что было сказано в статье «Нас упрекают», будет в развернутом и более жестком виде присутствовать в дальнейших обвинениях, предъявленных Герценом Чичерину.

Еще одним доказательством того, что статья Герцена была началом публичной полемики с Чичериным, является содержание неотправленного им Чичерину письма, которое начинается с обращения “My learned friend!”⁹ [Герцен, 1956, с. 250–253]. У письма нет даты, точно сказать, когда оно написано, мы не можем. Но Герцен пишет, что оно не было отправлено Чичерину, потому что последний прислал свой «прокурорский обвинительный акт». Мы можем заключить, что оно было написано примерно в то же время, что и статья «Нас обвиняют», поскольку 15 ноября Герцен пишет Чичерину: «Статейка ваша будет опубликована 1 декабря» [Герцен, 1962, с. 222]. Но еще более вероятно, что письмо было написано до статьи «Нас обвиняют» и не отправлено.

Это неотправленное письмо на самом деле неплохое: оно довольно содержательное и в целом корректное, в отличие от «Нас упрекают». В нем Герцен обосновывает, почему он не приемлет доктрин и вообще общих теорий. Приведем некоторые фрагменты из этого интересного письма.

Спорить с вами мне невозможно. Вы знаете много, знаете хорошо, все в вашей голове свежо и ново, а главное, вы уверены *в том, что* знаете, и потому покойны; вы с твердостью ждете рационального развития событий в подтверждение программы, раскрытой наукой. С настоящим вы не можете быть в разладе... вы примиряетесь с ним вашим пониманием, вашим объяснением. Вам досталась завидная доля священников — утешение скорбящих вечными истинами вашей науки и верой в них. Все эти выгоды вам дает доктрина, потому что доктрина исключает сомнение. Сомнение — открытый вопрос, доктрина — вопрос закрытый, решенный. Оттого всякая доктрина исключительна и неуступчива, а сомнение никогда не достигает такой резкой законченности...

⁹ Мой ученый друг! (англ.)

Доктрина видит истину под определенным углом и принимает его за единоспасающий угол...

Отношение доктрины к предмету есть религиозное отношение, т. е. отношение с точки зрения вечности...

[Герцен, 1956, с. 250–251]

Вообще-то Герцен либо не понял точку зрения Чичерина на природу и роль теоретического знания, либо намеренно лукавит. Чичерин был далек от таких упрощенных взглядов. Учения о государстве и праве и дискуссии вокруг этой проблематики в Европе в 1850-е годы, в которых Чичерин активно участвовал, дают совершенно другую картину соотношения правовой доктрины, политических институтов и социальных процессов.

Есть в письме Герцена и довольно точные замечания. Так, Герцен отметил противоречивость и сервильность гражданской религии, идеи которой Чичерин в это время разделял и от которых отказался после духовного кризиса 1865 года.

По каким-то соображениям Герцен решил объяснить с Чичериным не в частном порядке, а публично. Письмо не отправил, а опубликовал статью «Нас упрекают». Возможно, он хотел бросить перчатку вообще всему направлению, представленному Чичериным. В пользу такой трактовки говорит тот факт, что в неотправленном письме были интересные критические соображения, которые касаются только Чичерина, но которых нет в статье.

Как бы то ни было, но первый выстрел в интеллектуальной дуэли, которая превратилась в общероссийскую баталию, прозвучал именно со стороны Герцена.

Чичерин пишет, что его эта статья «взорвала». Вопрос был даже не в каких-то упреках в его адрес, а в самом иронично-надменном отношении к будущему России, мол, что будет с Россией, то и будет, к тому же, утверждал Герцен, поэтическому капризу истории мешать неучтиво.

Под впечатлением от этой статьи Герцена Чичерин подготовил свою и «высказал тут Герцену все, что давно накопело на душе» [Чичерин, 2010, с. 392].

Письмо Чичерина и его варианты

Существуют два варианта или две версии «Письма к издателю “Колокола”» Чичерина. Первая — собственно исходная версия, опубликованная в «Колоколе», лист 29, 1 декабря 1858 года. Это письмо никак не озаглавлено, а фамилия автора скрыта за буквой «Ч». Вторая версия — публикация в кни-

ге Чичерина «Несколько современных вопросов», она уже имеет заголовок «Письмо к издателю “Колокола”»¹⁰.

В Предисловии к этой книге Чичерин пишет, что публикация в «Колоколе» была первым протестом русского человека против направления, которое приобрело это издание. Чичерин объясняет, почему он в 1862 году вновь печатает это письмо: он пользуется «предоставленною литературе свободою не для того, чтобы со своей стороны поднять голос против г-на Герцена, а для того, чтобы познакомить русскую публику с тем, что было заявлено давным-давно в самом журнале господина Герцена. Свободномыслящие люди никогда не могли сочувствовать направлению, которое компрометирует самое имя свободы. В настоящее время это стало яснее, нежели прежде. За мною остается только честь начинания» [Чичерин, 1862, с. 5–6].

Сравним две версии этого письма. Книжная версия — сокращенная. В некоторых случаях Чичерин ставил многоточие в месте сокращения, в некоторых — нет. Есть сокращения вполне понятные, связанные с тем, что время сделало свое дело и какие-то суждения Чичерина уже не актуальны. Чичерин убрал также все упоминания монарха и конкретных чиновников. Убрал он и обильную критику недостатков власти и ее непоследовательности, ведь за прошедшие четыре года многое стабилизировалось. Но Чичерин сделал и более существенные сокращения. Он убрал не только все словесные «реверансы» Герцену, но также все места, где он говорил о заслугах Герцена в деле развития свободы в России. Он не только эти фрагменты убирает, но и утверждает в Предисловии, что Герцен только компрометировал имя свободы. Наконец, Чичерин убрал свои знаменитые слова, обращенные к Герцену: «Вы сила, вы власть в русском государстве», которые так любил потом произносить Катков, примеряя их на себя.

После таких сокращений письмо стало очень жестким и в чем-то даже несправедливым по отношению к Герцену, однако все идейное содержание осталось нетронутым, а с точки зрения логики изложения более сжатый текст только выиграл.

Прежде чем перейти к анализу статьи Чичерина в «Колоколе», обратимся сначала к тексту собственной статьи Герцена «Обвинительный акт», которой он предваряет публикацию письма Чичерина. Герцен перечисляет заслуги «Колокола» и «Полярной звезды» в деле развития свободного русского слова и свободной русской печати, пусть пока только за ее рубежами. Заметим попутно, что Чичерин этого в публикуемом письме не отрицает, а несколько раз

¹⁰ Далее будем цитировать письмо в основном по книжному варианту. Если слова, которые мы хотим процитировать, отсутствуют в книжном варианте, то будем цитировать письмо по варианту, опубликованному в «Колоколе».

специально подчеркивает. Герцен также пишет, что критику в адрес «Колокола» всегда печатали, но то была критика «с нашей стороны, оттого в самых несогласиях и упреках было сочувствие. Это письмо писано с совершенно противной точки зрения» [И-р, 1858, л. 29, с. 236]. Но тем самым он, во-первых, косвенно признает, что статья «Нас упрекают» была ответом именно Чичерину, раз не было критики с противной стороны. Во-вторых, что прискорбно и что лишь подтверждает упреки Чичерина, получается, что те два крайне радикальных и кровожадных «Опоздавших писем из Петербурга», опубликованных в листах 23–24, представляют все-таки именно его сторону.

Если первая статья называлась «Нас упрекают», то вторая — «Обвинительный акт», то есть «нас обвиняют», и Герцен «протестует всеми силами» против обвинений и призывает читателей в судьи. При этом он просит говорить только о деле, а не о личностях, и готов «печатать все, что качественно и количественно возможно» [Там же]. Но изобразив из себя жертву несправедливых обвинений со стороны некоего прокурора, он тем самым predetermined и характер писем в его поддержку. Естественно, люди писали о его личности, его жертвенности, его гражданском мужестве. О деле, то есть о предмете спора и о предложениях Чичерина, никто не писал. Несколько иначе обстояло дело с письмом в поддержку Чичерина, но об этом ниже.

Что же утверждает в своем письме Чичерин, в чем упрекает Герцена и каким видится ему вопрос о влиянии общества на власть и проблема сотрудничества с властью?

Чичерин начинает содержательную часть письма с констатации места и роли Герцена и завершает упреком. Чичерин подчеркивает, что положение Герцена исключительное, к его мнению прислушиваются и общество, и власть, в то время как он свободен от всех сплетен и дрызг, окружающих повседневную жизнь в России.

Вы можете взвесить каждое свое слово, спокойно и беспристрастно высказать правду всем и каждому, обличать злоупотребления, действовать на правительство, давать направление обществу, развивать зреющую политическую мысль, наконец, вы можете показать, что такое свободное русское слово. В вашем положении все, что вы говорите, имеет значение; вы сила, вы власть в русском государстве.

Как же исполняете Вы свою задачу? Какую пищу Вы нам даете? Что мы от Вас слышим?

Мы слышим от Вас не слово разума, а слово страсти.

[Ч., 1858, с. 237]

Однако для реальных дел «требуется политический смысл, политический такт, который знает меру и угадывает пору; здесь нужна не страсть, влекущая в разные стороны, а разум, познающий и созидающий» [Чичерин, 1862, с. 12].

Второй серьезный упрек Герцену можно считать все-таки довольно спорным. Чичерин пишет:

Вы к гражданским преобразованиям довольно равнодушны. Гражданственность, просвещение не представляются Вам драгоценным растением, которое надобно заботливо насаждать и терпеливо лелеять как лучший дар общественной жизни. Пусть все это унесется в роковой борьбе, пусть вместо уважения к праву и к закону водворится привычка хвататься за топор — Вы об этом мало тревожитесь. Вам во что бы ни стало нужна цель, а каким путем она достигается — безумным и кровавым или мирным и гражданским, это для Вас вопрос второстепенный.

[Там же, с. 13]

Действительно, Герцен не раз высказывался о том, что не важно, каким способом произойдет освобождение крестьян, с помощью ли реформ или с помощью «топора», главное — чтобы это освобождение произошло с землей. Подобной риторики у Герцена достаточно, но все же надо думать, что это только риторика и поза. Именно так понимал подобные высказывания Герцена Кавелин.

Крестьянский вопрос, безусловно, основной. Но он связан необходимым образом с реформой всей общественной жизни, считает Чичерин. Власть не знает, с какой стороны ко всему этому подступиться, и радикальные призывы, а уж тем более призывы к топору, действительно опасны, даже если это всего лишь попытка надавить на власть, подтолкнуть ее к более решительным действиям в нужном направлении.

Общество российское еще юно и не успело выработать «мужественных добродетелей гражданской жизни», поэтому страстная пропаганда, неуступчивость в требованиях, неразборчивость в средствах — все это может привести только к катастрофе. «У нас общество должно купить себе право на свободу разумным самообладанием» [Там же, с. 17], — пишет Чичерин. Чичерин за «реформы сверху» при самом активном участии общества. Он считает, что необходимо сотрудничество с властью, стремящейся к преобразованиям. И такое сотрудничество власти и общества, подчеркивает автор, постепенно налаживается в России: созданы губернские комитеты, которые разрабатывают свои предложения и отсылают их в Редакционные комиссии. Это взаимодействие

проходит не без конфликтов и разного рода эксцессов, но Чичерин убежден, что это не является проблемой. Проблема в отношениях общества и власти заключается в том, что нет независимого общественного мнения, способного продуктивно влиять на власть. Чичерин пишет: «Нам нужно независимое общественное мнение — это едва ли не первая наша потребность; но общественное мнение умеренное, стойкое, с серьезным взглядом на вещи, с крепким закалом политической мысли; общественное мнение, которое могло бы служить правительству и опорой в благих начинаниях, и благоразумною поддержкой при ложном направлении. Вот чего у нас недостает, вот к чему мы должны стремиться» [Там же, с. 18].

Что же делает Герцен? Прямо противоположное! «Все, что есть в России невежественного, отсталого, закоснелого в предрассудках, погрязшего в мелких интересах, — пишет Чичерин, — все это с торжеством указывает на Вас и говорит: вот последствия либерального направления, вот что производит слово, освобожденное от оков! Грустно сказать, что первый свободный русский журнал служит самым сильным доказательством в пользу цензуры, если только в пользу цензуры могут быть сильные доказательства» [Там же, с. 17].

Наконец, Чичерин довольно нелестно отзывается о том, что мы бы теперь назвали «редакционной политикой» «Колокола».

Во-первых, Герцен публикует всякие непроверенные или скандальные сведения, которые носят сиюминутный характер. Это только кажется, что от публикации скандальных новостей популярность журнала вырастет. Дело в том, что пока «Колокол» дойдет через несколько месяцев до России, то либо конфликт будет к этому времени уже улажен, либо сведения опровергнуты. Такие публикации, безусловно, не служат ни журналу, ни обществу. Куда важнее было бы систематическое, из номера в номер обсуждение действительно серьезных проблем России. «Колокол» как независимое и неподцензурное издание мог бы стать этим органом, но не стал.

Во-вторых, «литературные наклонности» Герцена слишком влияют на политику журнала: шутки, насмешки, остроумные выходки заменяют ответственное мышление, образование, с трудом добытые знания. Чичерин пишет:

У нас нет более верного средства приобрести себе всеобщую дань благодарности и удивления, как решать все государственные и философские вопросы остроумными выходками. Это избавляет читателя от работы, от умственного напряжения... Неистоцимый запас остроумия — вот самое надежное ручательство за успех журнала. Только вряд ли подобное направление встретит сочувствие просвещенных людей в России. Они смотрят на дело несколько серьезнее. Им

кажется, что привычка заменять дело эффективным бездельем опасна для политического образования народа, что общество, воспитанное на остроумных выходках, становится неспособным к разумному решению тяготеющих над ним вопросов; наконец, им хотелось бы, чтобы свободное русское слово отвечало на благородную потребность политической мысли, а не на бесплодную потребность брани и остроты.

[Там же, с. 19]

Чичерин завершает свое письмо еще одним упреком: в политическом журнале должна преобладать зрелая мысль и разумное самообладание, но никак не страсти. Герцен же с его темпераментом предпочитает гнев, негодование и возмущение. «Но позвольте думать, — заключает Чичерин, — что это не служит ни к пользе России, ни к достоинству журнала и что, во всяком случае, нечего этим величаться» [Там же].

Письмо получилось жесткое. У Герцена, конечно, был выбор: опубликовать его или нет. Во втором случае письмо будет распространяться в списках и нанесет больше вреда. Но опубликовав его с предисловием, в котором он доказывает, что является невинной жертвой вздорных обвинений, он, естественно, мобилизует своих сторонников. В самом начале так и получилось, но к лету 1859 года люди наконец стали говорить о деле, оставив вопрос о личностях в прошлом, и картина резко поменялась.

Реакция на письмо Б. Н. Чичерина

Письмо Чичерина спровоцировало настоящую бурю, но не совсем ту, на которую рассчитывал Герцен. Герцена действительно поддерживали многие, но скорее по-человечески, нежели по существу. Основной лейтмотив поддержки — Герцен много сделал для России, и он не та фигура в русской истории, чтобы так о нем писать. Но что примечательно, каждый обязательно в чем-то соглашался с Чичериным.

Как и обещал, Герцен публикует в «Колоколе» в листе 32–33 две статьи. Одна — против Чичерина, причем статья сколь резкая, столь и странная; автор скрыл свою фамилию за псевдонимом Русской. Во второй статье автор выражает свою поддержку как содержанию письма Чичерина, так и самому поступку Чичерина, осмелившегося впервые публично сказать то, что люди обсуждали в частном порядке. Автор выступил под псевдонимом А. Спартанской.

По поводу автора первой крайне критической статьи все еще существует мнение, что ее написал Чернышевский. Чичерин тоже так считал [Чичерин,

2010, с. 394]. Гульбинский в своем библиографическом очерке о Чичерине тоже указывает на Чернышевского, но при этом, правда, ставит знак вопроса [Гульбинский, 1914, с. 20].

Но прежде, чем перейти к анализу содержания двух писем, опубликованных в 32–33 листах «Колокола», нам придется погрузиться в некоторые технические вопросы.

Сколько времени шла корреспонденция из Лондона до Санкт-Петербурга? Обычные неподцензурные газеты доставлялись в это время в среднем около месяца. Из Парижа в Санкт-Петербург в среднем почта шла три недели или чуть меньше. Почтовая связь между Парижем и Лондоном была хорошо налажена, и отправление доходило за 3–5 дней. Скорость доставки корреспонденции из Лондона в Германию тоже была не быстрой, а в некоторые земли она шла через Париж. Однако «с оказией» корреспонденцию можно было доставить чуть быстрее. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что Чернышевский никак не мог быть автором письма против Чичерина. 29-й лист «Колокола» выходит 1 декабря 1858 года. Если учесть сроки доставки в Россию (пусть и с оказией), написания текста, отсылки письма в Лондон, а потом еще набора и печати тиража, то становится понятно, что физически невозможно напечатать это письмо в листах 32–33 к 1 января 1859 года. Получается, что автор письма в принципе не мог находиться в России.

Может быть, автор находился где-то в континентальной Европе? В этом случае, чтобы реализовать всю эту цепочку, месяца бы хватило. Однако Герцен поторопился с публикацией еще одного материала, поэтому возникли законные сомнения. Давайте посмотрим, в чем проблема.

Итак, 15 декабря 1858 года в листах 30–31, то есть через две недели после публикации письма Чичерина, Герцен публикует короткое письмо некоего лица из Германии, адресованное Герцену, и свое к нему предисловие¹¹. Все это помещается в разделе «Смесь». В предисловии к письму Герцен пишет, что публиковать статьи с критикой, направленной против себя, этично, а вот публиковать статьи в свою поддержку неэтично. Он бы никогда этого не сделал, но приходится, поскольку анонимный автор из Германии требует от него ее опубликовать и обосновывает это тем, что должна быть дискуссия, что другие точки зрения имеют право быть услышанными. В этом коротком письме сам автор возмущен поступком г. Ч. и от лица целой группы мыслящих людей про-

¹¹ См. [Герцен, 1858, л. 30–31]. В Собрании сочинений в тридцати томах А. И. Герцена и предисловие, и само письмо из Германии атрибутированы как принадлежащие перу Герцена на основе анализа лексики, что, скорее всего, является ошибкой и Герцену принадлежит только предисловие к письму.

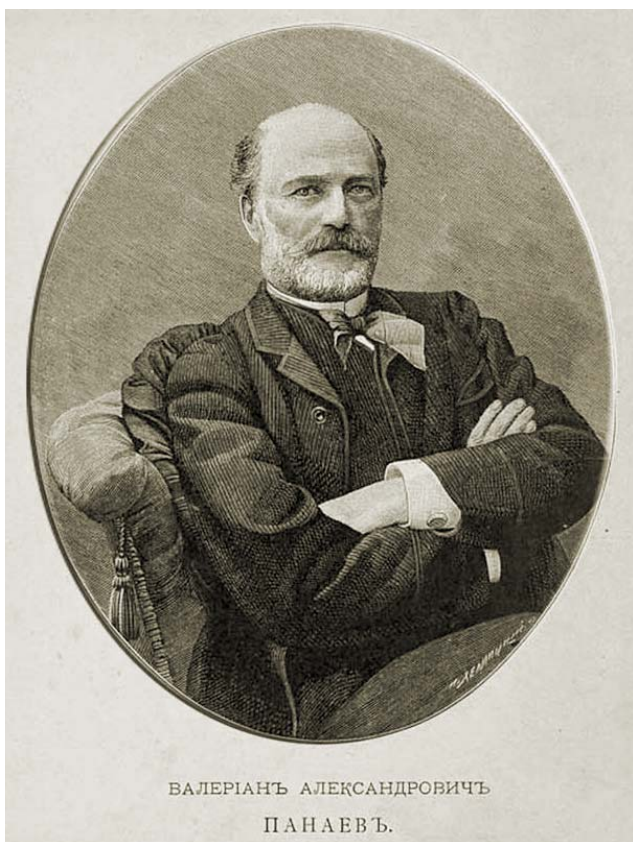
сит опубликовать большое письмо-протест, которое прилагается, что Герцен и делает, но уже в следующем листе «Колокола».

Опять возникают сомнения по поводу сроков. В две недели должна уложиться та же длинная цепочка событий плюс еще и обсуждение с группой «мыслящих людей». Двух недель явно мало. Вероятно, есть еще какое-то лицо поблизости от Герцена.

Действительно, в это время в Англии находился командированный Министерством путей сообщения инженер-путеец, тогда еще мало кому известный Валериан Александрович Панаев¹². Он был послан для изучения не только технических вопросов производства, но и вопросов администрирования железных дорог в Европе. Практически все время он проводил либо в Бельгии, либо в Англии. Осенью 1858 года он часто бывал в Лондоне и вел переговоры с Герценом об издании своего проекта освобождения крестьян. В «Голосах из России», в книжке V, Герцен опубликовал полный текст этого проекта под названием «Об освобождении крестьян». Он занял всю книжку.

В листах 32–33 за 1859 год Герцен помещает письмо-протест «Автору “Обвинительного акта” г. Ч.» [Русской, 1859]. За псевдонимом Русской стоял Панаев,

и он это позднее подтвердил в своих мемуарах. Свое письмо он начинает со следующих слов: «Я не буду входить в разбирательство справедливости или несправедливости ваших обвинительных пунктов. Допустим, что я согласен с ними. Я хочу обсудить ваш поступок; из обсуждения его, само собою, выкажется, кто прав, и кто виноват» [Там же, с. 260–261]. Панаев пишет о том, что самолюбие г. Ч. было задето словами Герцена о доктринах. «Вы написали увлеченные обидчивым самолюбием. Из вашего письма, разве только один слепой не увидит, что вас задел за живое отзыв “Колокола” о доктринах. Почему же вы прежде не вступили в подроб-



¹² Валериан Александрович Панаев (1824–1899) — инженер путеец, известный публицист и мемуарист, оставил пространные воспоминания об общественной жизни тех лет. Мемуары эти в течение нескольких лет по частям публиковались в журнале «Русская старина».

ные объяснения?.. видно камушек попал в огород» [Там же, с. 261]. Прозвучали знакомые слова про сердце, про страсть, про то, что «мысль без сердца — гроб». Оказывается, что люди сердца до поры до времени сдерживают его порывы, чтобы вооружиться, «чтобы наверное разить вас, вас холодных доктринеров, вас воспитанников фальшивой науки, вас, которые царствуют и мертвят все, вас, которых надо спихнуть» [Там же]. По тексту письма видно, что Герцен намекнул Панаеву, что г. Ч. положительно оценивает деятельность Франсуа Гизо, поэтому в тексте письма мы встречаем странное обвинение, что якобы г. Ч. сидит на одной скамье с «родными братьями, благородными представителями Франции 1848 года, которые вызвали сами резню, а потом нещадно казнили безвинных. Будьте покойны, “Колокол” не будет причиной пролития хотя единой капли крови. Это вы! вы! единственно вы можете быть причиной» [Там же].

В конце очень длинного письма Панаев вновь заводит разговор о необходимости «вооружаться»: «А мы, мы будем по прежнему сосредоточиваться, чтоб вооружать новые начала оружием, подобным вашему оружию, за тем, чтобы явиться и победить ваше царство, и победить не в одной России, но и там, где оно берет свое начало» [Там же, с. 264]. Нам остается только гадать, что Панаев имеет в виду, говоря о некоем «начале». Науку? Европу? Или сам Разум? Похоже, что все сразу.

Заканчивает письмо Панаев и вовсе странно. Не могу не привести это место целиком:

К вам молодые люди, к вам сидящим еще на скамейках и в аудиториях обращаюсь я теперь. Вам выпадает на долю великое, не бывалое дело. Вы будете призваны спасти Мир и осуществить истинное царство христово. Начните с того, что, изучая науки общественного устройства, по преимуществу касающиеся экономических отношений и естественных прав человека — не верьте им, как бы они, по-видимому, ни удовлетворяли; изучайте их глубоко, для того, чтоб убедиться, что в них забыто сердце; изучайте для того, чтоб предать их проклятию; изучайте для того, чтоб разрушить их и создать новое здание.

[Там же]

Во всем письме присутствует какая-то истеричность. Похоже, однако, что Герцен действительно нашел единомышленника по вопросу о назначении научного знания.

Вообще В. А. Панаев был человеком разносторонним, немного экстравагантным и при этом очень заикленным на русском вопросе и на особом



В центре фотографии — Дом Панаева (Панаевский театр и доходный дом) в неорусском стиле, слева — здание Адмиралтейства, в левом нижнем углу — невзрачное здание Зимнего дворца с башенкой оптического телеграфа на крыше

русском пути, по которому позднее пойдет весь мир. Он подписывал свои материалы псевдонимом Русской, считал, что только русская община спасет человечество. Он даже призывает молодежь умереть за общину, за равное владение крестьян землей¹³.

Пожалуй, стоит о Панаеве сказать еще несколько слов. Все свои произведения этого периода он отправлял лично Александру II. Главный свой труд, «Об освобождении крестьян», Панаев снабдил сопровождающим письмом якобы от человека, которому на глаза попалась эта замечательная работа, и этот человек хочет обратить на нее внимание царя. Письмо удивительно высокопарное и весьма фамильярное: его автор обращается к царю исключительно на «ты» и делает это с высоты некоего морального авторитета.

По возвращении в Россию Панаев строил железные дороги. Судя по всему, он был хорошим инженером, но в 1866 году его назначают на весьма специфическую должность, на которой он отвечал как инженер и подрядчик за взаи-

¹³ «Умрите, если будет нужно, — умрите как мученики, — умрите за сущность, как умирали первые христиане за форму, — умрите за сохранение равного права каждого крестьянина на землю — умрите за общинное начало!» [Русской, 1859, с. 264].

модействие подрядчиков и правительства при строительстве железных дорог. В 1868 году он выходит в отставку и через некоторое время покупает себе невероятно дорогой участок земли в самом престижном месте Санкт-Петербурга — на Адмиралтейской набережной. Панаев построил доходный дом с театром в неорусском стиле, который очень странно смотрелся в Санкт-Петербурге на главной набережной города. Однако при завершении строительства Панаев разорился, что естественно. Ведь у него не было постоянного дохода от какого-то дела, а однажды удачно «заработанные» на посредничестве крупные чиновничьи деньги — это не постоянный доход.

После разорения он начал писать мемуары, и из них стало понятно, кто же написал письмо против Чичерина: «В то же время, в № 29 “Колокола”, — пишет Панаев о своем пребывании в Лондоне, — появился “Обвинительный акт”¹⁴ на Герцена, подписанный буквою Ч, вызванный отзывом Герцена о доктринерах, напечатанным в одном из предшествующих номеров “Колокола”, а именно в № 27» [Панаев, 1902, с. 322]. От кого он мог об этом знать, как не от самого Герцена?

«Обвинительный акт был написан очень умно, во многом был справедлив, но был написан тоном издевательства над деятельностью Герцена. Находя, что автор “Обвинительного акта” не понимал роли и значения изданий Герцена, я написал возражение и послал для печати в Лондон» [Панаев, 1902, с. 322]. Вообще-то, Чичерин очень хорошо понимал роль и значение изданий Герцена. Он сам об этом писал в письме, как мы видели, однако совершенно не разделял позицию Герцена.

Исследователи истории «Колокола» до определенного времени не обращали внимания на эти мемуары и продолжали считать, что письмо принадлежит Чернышевскому. В научный оборот подлинная история с авторством, вероятнее всего, была введена в 1941 году М. М. Клевенским в «Литературном наследстве» [Клевенский, 1941]. К моменту публикации автор уже скончался, да и время было совсем не то, чтобы углубляться в научную проблематику.

Переходя к анализу второй статьи, статьи в поддержку позиции Чичерина, надо сказать, что ее автор не установлен. Мы постараемся ниже обосновать

¹⁴ Путаница с тем, что называть обвинительным актом, в нашей литературе продолжается. «Обвинительный акт» — это название статьи Герцена, предваряющей письмо Чичерина, а само письмо названия не имеет, но в любом случае его никак нельзя именовать «Обвинительный акт». Панаев употребляет это выражение и в кавычках, что неправильно, и без, что не точно. В мемуарах такое может иметь место, однако в научных публикациях использовать «Обвинительный акт» как в кавычках, так и без, недопустимо. К сожалению, в нашей литературе отчасти с подачи комментариев в Собрании сочинений Герцена письмо Чичерина всё еще именуют «Обвинительным актом».

вать наше предположение, что это Дмитрий Иванович Каченовский¹⁵. Вторая статья озаглавлена «Письмо в защиту г. Ч.», псевдоним автора — А. Спартанской.

Спартанской пишет в письме, что его целью является «попытка склонить вас, — при этом автор обращается к Герцену, — к большей доверчивости к тем, которые будут писать вам с точки зрения, как вы называете, “административного прогресса и гвернементального доктринаризма”. Не принимайте ее, если вам это не нравится, казните ее острием вашей иронии, но не отказывайте доступа в вашу типографию органам этого направления, когда они будут иметь нужду в вашем журнале» [Спартанской, 1859, с. 264]. Автор, обращаясь к Герцену, также сообщает: «...вы представить себе не можете с каким удовольствием письмо г. Ч. было прочитано целой колонией Русских в городе, из которого я к вам пишу» [Там же].

Автор поднимает в письме довольно щекотливую тему: насколько сам Герцен понимает, что происходит в России, не находится ли он в плену тех представлений, которые у него сформировались еще до эмиграции и в другой России. Герцен продолжает, считает автор, смотреть на Россию старыми глазами, признает правильными и публикует только те материалы, которые соответствуют его представлениям.

Но кто в России теперь соответствует этим представлениям?

Автор подчеркивает, что в России теперь пошла пора либералов вроде Репетилова с их бесплодной оппозицией, пустыми осуждающими все и вся разговорами. От всего этого «истинно образованные члены русского общества начинают отказываться, губительный пример крайних убеждений послужил уроком, по крайней мере, этому меньшинству, и оно знает, чего хочет» [Там же, с. 265].

Чего же хочет, по мнению автора, это меньшинство?

Оно хочет постепенного и систематического превращения известных административных и общественных форм в другие, более свойственные настоящим потребностям России, оно хочет восстановить равновесие в гражданских правах, как личных, так и общественных, не только сословия крестьян, но и всех прочих; оно хочет (и это самое пламенное его желание) чтобы значение и

¹⁵ Дмитрий Иванович Каченовский (1827–1872) — крупный российский юрист, специалист по истории и теории международного права, профессор Харьковского университета. В Москве защищал докторскую диссертацию и имел широкие связи в кругах западников. Пребывая с 1858 по 1860 год Европе, преимущественно в Париже, изучал помимо права также политическую теорию и политическую жизнь Европы.

святость закона проникло бы в пределы Зимнего Дворца и озарило бы светом вечной правды обязанности царя, права подданных, безнравственность царедворцев, существенные интересы народа.

[Там же]

Это, безусловно, не только и не столько письмо в поддержку Чичерина, сколько обоснование и дополнение той позиции, которой придерживаются люди, разделяющие взгляды Чичерина. Надо признать, что в письме Чичерина этого явно не хватало, он слишком много уделил внимания «программе» Герцена и ее недостаткам, в том числе связанным с особенностями его темперамента. В этом письме мы видим более осмысленную «программу» — преобразование русского общества посредством права, всего общества, включая в первую очередь институты власти. У Чичерина все это было слишком расплывчато и сводилось к вопросу о сотрудничестве с властью.

Кто же автор этого взвешенного и вполне разумного письма? Как мы сказали выше, есть основания предполагать, что это Каченовский. Попробуем изложить аргументы, понимая, что поскольку нет первичного документа, который можно надежно атрибутировать, или заслуживающих доверия мемуаров, то все эти аргументы останутся на уровне правдоподобной гипотезы. И все же.

Начнем снова с фактора времени. Каченовский находился в Париже, следовательно, имел физическую возможность уложиться в отведенное время.

Каченовский был единственным человеком, кто заранее знал о письме, которое подготовил Чичерин. «Гуляя с Каченовским по парижским бульварам, мы зашли в какую-то кофейную, и я прочел ему свое письмо. Он вполне его одобрил: «Вы ничего лучшего не писали, — сказал он мне. — Посылайте непременно» [Чичерин, 2010, с. 393]. Этот фактор крайне важен: он знал содержание, принял его и имел возможность все обдумать, ведь Чичерин прочитал ему текст письма за две недели до того, как оно было опубликовано. В отличие от Каченовского остальные возможные сторонники Чичерина какое-то время приходили в себя, собирались с мыслями и оглядывались на реакцию других.

Каченовский был одной из заметных фигур в русской колонии в Париже с широкими связями, издавал там свои произведения на французском, был вхож в научные и политические круги Франции. Кстати, именно он знакомил Чичерина с французскими политиками и учеными. Чичерин вспоминал, что Каченовский водил его по разным собраниям и научным встречам, а он «как молодой скиф, который, приехав в Грецию, своими глазами увидел тех людей, чьи произведения приводили его в восторг» [Там же, с. 410].

Каченовский — сильный юрист, а проблематика правовой трансформации России, как и проблемы кодификации международного права, — это его темы.

Еще один важный аргумент. Никто не знал автора первого письма, опубликованного в «Голосах из России» за подписью Русский либерал, даже Герцен не знал. Это был ключевой элемент безопасности авторов. Из текста письма в поддержку г. Ч. следует, что его автор знал, что в «Голосах из России» уже как-то печаталось похожее письмо с похожими претензиями к Герцену. Автор обращает внимание именно на это письмо, тогда как «писем к издателю» вообще-то было много. Естественно, что Чичерин мог рассказать, да, наверное, и рассказал, что новое письмо идет вслед первому, продолжает его основную тему.

И наконец, совсем слабый и даже странный, но небессмысленный аргумент. Все участники тех событий оставили свои развернутые воспоминания. Где-нибудь и как-нибудь информация об авторстве просочилась бы, как в случае с Панаевым, у которого всего-то полтора абзаца об этой истории. Каченовский, пожалуй, единственный, кто не оставил мемуаров. Он скончался после продолжительной болезни (чахотка) в возрасте 45 лет, а в этом возрасте, как известно, мемуаров еще не пишут.

Как бы то ни было, но сегодня других кандидатов на авторство «Письма в защиту г. Ч.» нет.

Кавелин и его реакция на письмо Чичерина

Если сравнить два письма, разобранные выше, — письмо Панаева и письмо, как мы полагаем, Каченовского — можно себе представить, в каком состоянии находились умы в России. Каченовский прекрасно понимал, что образованное и ориентированное на правовые и институциональные преобразования в России меньшинство находилось между властью, относящейся к нему подозрительно, и радикалами, которые постоянно его упрекали в работе на власть, и «Колокол» их в этом поддерживал.

Поговорим теперь о еще одном важном участнике этих событий — Кавелине. Выше мы писали, что в первом «Письме к издателю» Кавелин и Чичерин высказались против линии Герцена на радикализм и социализм. Но это был 1856 год.

Прежде чем приступить к рассмотрению письма Кавелина, надо осветить одно событие, приведшее к резкому изменению его отношения к правительству. Он и сам на это событие ссылается в письме Чичерину [Кавелин, 2010, с. 399]. В мае 1858 года Кавелина неожиданно и без всяких объяснений отстраняют от преподавания наследнику. Все уверены, что это произошло



Константин Дмитриевич Кавелин (1818–1885)

из-за статьи в «Современнике», где он изложил свою версию вопроса о выкупе земли. Против его отстранения выступили некоторые ключевые фигуры из тех, кто руководил подготовкой цесаревича. Они возражают, а некоторые даже подают в отставку. Подлинная причина раскрылась только тогда, когда заступаться за Кавелина к царю пошел сам председатель Редакционных комиссий Яков Иванович Ростовцев, который не видел ничего предосудительного в публикации Кавелина в «Современнике». Выяснилось, что причина другая: у III отделения были неопровержимые доказательства, что Кавелин

активно сотрудничает с «Колоколом» и интригует против работы комиссий и лично Ростовцева.

По воспоминаниям Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского¹⁶, который в то время состоял на службе в Редакционных комиссиях по подготовке крестьянской реформы,

в руках государя находились достоверные сведения о том, что материалы для статей Герцена, сильно осуждавших действия по крестьянскому делу и оскорбляющих личности сотрудников государя и в особенности самого Ростовцева, доставлялись в редакцию «Колокола» Кавелиным при участии Милютина. По мнению государя, невозможно было допустить, чтобы лицо, находившееся в таких сношениях с государственным преступником, занимавшимся антиправительственной пропагандой, могло быть преподавателем наследника престола.

[Цит. по: Клевенский, 1941, с. 593]

О реальных основаниях увольнения никто, кроме очень узкого круга доверенных лиц, не знал, поэтому отставка в обществе воспринималась как откоро-

¹⁶ Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827–1914) — известный географ, экономист и путешественник, являлся членом-экспертом Редакционных комиссий и секретарем председателя Я. И. Ростовцева. В своих мемуарах он делится информацией об «интригах» Кавелина и Милютина против своего шефа [Семенов-Тян-Шанский, 1914, с. 631, 636].

венный произвол. Необоснованность увольнения и то, как бесцеремонно это было сделано, оскорбили Кавелина до глубины души. «Кавелин просто остервенился. Он в личных вопросах был крайне щекотлив и никогда не забывал нанесенной ему обиды. Это была темная сторона его чистого и благородного характера. С тех пор он сделался рьяным врагом правительства, порицал все, что делалось, слушал всякие сплетни и не хотел видеть величия преобразований, изменявших весь строй русской жизни» [Чичерин, 2010, с. 395]. Его радикализм и полное неприятие реформ сохранились до последних лет жизни¹⁷.

Обратимся теперь к переписке Чичерина и Кавелина, произошедшей уже после публикации письма Чичерина в «Колоколе».

Получив экземпляр 29-го листа «Колокола», Чичерин пишет 8 декабря 1858 года письмо Кавелину из Ниццы о том, что он опубликовал свое письмо в «Колоколе», но делает это скорее намеком, чем открытым текстом, поскольку понимает, что письмо может быть прочитано. Чичерин просто информирует друга, не ожидая какой-то реакции. Во всяком случае он совершенно не ожидал той, которая последовала.

Кавелин стал первым в России, кто узнал подлинное имя автора письма, узнал это от самого автора и предал его огласке. Именно он распространил письмо с осуждением Чичерина и заявлением, что отдалается от него. Письмо Кавелина формирует на некоторое время отрицательное общественное мнение к письму Чичерина, в поддержку письма Кавелина была развернута целая кампания по сбору подписей в Москве и Санкт-Петербурге. Не письма против или в поддержку г. Ч., напечатанные в «Колоколе», а именно письмо Кавелина определяло на первых порах отношение в России к Чичерину. Особую значимость его письму придавал тот факт, что Чичерина обвинял его друг и единомышленник. Перечислять тех, кто подписал, бессмысленно, тем более что все, кроме И. С. Тургенева, потом отозвали свои подписи.

В чем суть обвинений Кавелина в адрес Чичерина, в чем он согласен, а в чем нет?

Чичерин сохранил это письмо и приводит полный его текст в своих «Воспоминаниях» [Чичерин, 2010, с. 396–401].

Кавелин начинает письмо с утверждения, что он ни на минуту не сомневался в чистоте и благородстве мотивов, которыми руководствовался Чиче-

¹⁷ «После смерти Александра II, он уверял, что если на одну сторону весов положить то, что он совершил хорошего, а на другую все, что он сделал дурного, то первое окажется совершенным ничтожеством перед вторым. Он дошел даже до того, что защищал цареубийц. До такой степени этот страстный человек ослеплялся, как скоро он задет был лично» [Чичерин, 2010, с. 395].

рин, укоряя Герцена. Однако действие этого письма на Кавелина, как он пишет, было тем тяжелее и горестнее, «чем значительнее Ваше имя в нашей литературе и чем я тверже убежден в Вашей нравственной безупречности. Если бы письмо Ваше к Герцену было написано человеком мне совершенно неизвестным, я бы отвечал ему в самом “Колоколе”. К несчастью, письмо писали Вы... и у меня отваливаются руки» [Там же, 2010, с. 396].

Кавелин соглашается с Чичериным в том, что российской свободной прессе, и не только в Лондоне, надо было задуматься о том, в каком направлении идти в новых условиях, поскольку русское общество от нее получает много фраз и мало мыслей, питающих ум.

Кавелин вспоминает слова из статьи «Обвинительный акт» Герцена, предисловия к письму Чичерина и тоже сокрушается, мол, Герцен искренне не понимает, почему его так обидели. Он сконфужен, у него должно быть сердце перевернулось в груди! Почему ко всем страданиям его жизни добавляются еще такие обвинения? Неужели это все, что он заслужил?

Герцен, как мы понимаем, весьма умело изобразил из себя жертву несправедливых обвинений, а Кавелин этого явно не заметил.

Самое необычное в письме Кавелина — это то, что, соглашаясь с содержанием претензий Чичерина, он все равно настаивает на том, что «вы прибегли к аргументам ложным, к клеветам, вы непростительно искажаете истину» [Там же, с. 397].

Кавелин считает, что Чичерин прав в постановке проблемы, да и то только в общей форме, но неправ в своих обвинениях в адрес Герцена. Герцен не таков, он ни в коем случае не за революционный переворот, а только предупреждает о такой опасности. Он за гражданские реформы, но понимает, что во власти нет людей, способных их осуществить. В этом и состоит клевета на Герцена.

Еще одна важная тема письма Кавелина — вопрос о крестьянской реформе. Он иронизирует по поводу уверенности Чичерина, что все идет не без противоречий, но все же в правильном направлении. Кавелин предъявляет целый список врагов крестьянской реформы. Помимо прочих в нем значится и Ростовцев. Но именно Ростовцев, как мы знаем, добился главного, чтобы в основу реформы был положен принцип освобождения с землей.

Третья ключевая тема письма Кавелина — это вопрос о том, кому письмо Чичерина было на руку. Кавелин иронизирует: «В высших кружках все от письма Вашего в восторге. “Либеральная партия решилась покончить и разорвать с партией революционной”, — вот стереотипная фраза, которою приветствуют Ваше письмо в дворцах и высших административных сферах. Этого

ли Вы хотели, Борис Николаевич? Единственный упрек, который Вам делают, есть тот — зачем Вы не представили Вашего прекрасного и благородного письма, до его напечатания, на одобрение правительства; оно бы непременно одобрило — письмо так хорошо, но испросить разрешение все-таки следовало» [Там же, с. 400].

Он завершает письмо такой фразой: «Вы можете быть правы перед своим убеждением и своею совестью, что написали это письмо, но я с Вами не согласен и со скорбью должен отдалиться от Вас, потому что считаю такое убеждение не только совершенно ложным, но и крайне вредным» [Там же, с. 401]. Он также просит переслать письмо Герцену не для публикации, а для поддержки.

Вообще, именно тема «Кому выгодно?» более всего муссировалась в России в первые полгода. Считалось, что даже если сказанное Чичериным и правда, то все же он нанес общему делу больше вреда, чем пользы. Александр Васильевич Никитенко писал, что письмо Чичерина «отчасти справедливо, и Герцен вредит этим своему влиянию на общество и на правительство. Но возражение, ему сделанное, кажется, еще вреднее. Оно как бы оправдывает крутые меры и вызывает их» [Никитенко, 1955, с. 54].

Обычно об этом эпизоде в отношениях Кавелина и Чичерина говорят как о разрыве. Нет, разрыв произошел через два года и по поводу оценки студенческих беспорядков.

В ответ Чичерин послал Кавелину письмо, где пишет, что он желал выразить протест либерализма против легкомыслия, а еще он говорит об успехе: «Я не ожидал такого успеха. Успехом я считаю, как возбужденные прения, которые ведут к выяснению мысли, к обозначению направлений, так и то, что письмо было принято за желание либеральной партии разделаться с революционными стремлениями» [Чичерин, 2010, с. 402].

Чичерин ссылается на Каченовского как человека, который очень хорошо знает Герцена и который горячо одобрил его письмо. Есть в ответе Чичерина и еще одно суждение, которое выглядит слишком категорично: что общественная сфера в России хуже официальной, поэтому он к общественному мнению равнодушен. Понятно, что Чичерин задет, очень задет, понятно, что это тоже своего рода поза обиженного или непонятого человека.

Каков итог?

Разумеется, в этой полемике очень много личного, много «психологии». Если попытаться понять, что же на самом деле произошло с чисто человеческой точки зрения, то описанная выше картина политических баталий будет

выглядеть несколько иначе и станет чуть более понятной. Мы не абстрагировались от этого. История возможна только тогда, когда в ней действуют живые люди, когда она развивается посредством реальных человеческих драм. Одну из них мы пытались разобрать в этой статье.

Каков же итог полемики Чичерина и Герцена? Можно ли определенно сказать, кто победил? Или победителя нет? Да и может ли он быть в таких спорах?

Влияние Герцена по мере продвижения реформ стало резко падать. Его отношения с бывшими друзьями и единомышленниками не просто испортились, но превратились в откровенную вражду, во всяком случае со стороны Герцена. Он рассорился со всеми без исключения своими друзьями. Даже Кавелина, который его почитал как самого порядочного и мужественного человека, резко оскорбил и разорвал с ним отношения, когда тот сказал что-то в пользу монархии. О всех бывших друзьях он писал очень резкие и совершенно неподобающие вещи.

«Помнишь ли ты, как года три тому назад мы с тобой шли по Regentstr(eet) и ты удивился моему злобному тону о бывших друзьях? Теперь и его нет. Для меня Кетчер, Корш — это догнивающие трупы чего-то близкого; клеветы Чичерина, приятели Павлова — абсолютисты, они заставляют меня краснеть за былое» [Герцен, 1963, с. 246].

Герцен часто говорит о «клеветрах Чичерина». Если все, кто был за Герцена, стали прислужниками Чичерина, то, может, это косвенное признание победы Чичерина? Может, рациональная «программа» Чичерина, основанная на идеях административной эволюции посредством максимально широкого сотрудничества общества и власти при сохраняющейся сильной и стабильной власти, победила? Ничуть!

Все попытки Чичерина взаимодействовать с властью как независимый человек, самой властью понимались превратно: в протянутой ей руке она видела руку просящего. Поддержал требования порядка во время студенческих беспорядков — получи кафедру. Чичерин был глубоко оскорблен предложением Горчакова занять освободившуюся кафедру в университете после отставки Кавелина, а Горчаков так и не понял, чем был недоволен Чичерин.

Вся жизнь Чичерина и в университете, и на общественных должностях показывает, что власть не хочет, а главное — в принципе не понимает, что такое сотрудничество, а уж тем более сотрудничество с независимой общественностью. Власть знает и понимает только подчинение. Поэтому говорить о победе «программы» Чичерина по сотрудничеству независимых сил общества с властью не приходится, скорее наоборот. Именно по этому вопросу в его мемуарах и в работах последних лет столько горечи.

Как ни парадоксально это звучит, но «программа» Герцена, в основе которой лежит не сотрудничество, а постоянное давление на власть, вплоть до радикального, продолжила свое существование и даже действительно обрела революционные формы.

Если не было победителей, то что было? Возможно, выкристаллизовалась, уточнилась, обросла новыми аргументами антиномия русской политической культуры: сотрудничество с властью или давление на власть? Эти две линии действительно сохранялись в России в следующие полвека, а возможно, вообще стали постоянным элементом нашей культуры.

Список источников

[Герцен А. И.] «Неизвестный корреспондент...» // Колокол. 1858. 15 декабря. Л. 30–31. С. 253–254.

Герцен А. И. Былое и думы. 1852–1868. Ч. IV // Герцен А. И. Собрание сочинений в тридцати томах. М.: Изд-во АН СССР, 1956. Т. 9. С. 7–262.

Герцен А. И. Письмо Б. Н. Чичерину (черновое) от 15(3) ноября 1858 г. // Герцен А. И. Собрание сочинений в тридцати томах. М.: Изд-во АН СССР, 1962. Т. 26. С. 222.

Герцен А. И. Письмо Н. М. Сатину от 11 июля (29 июня) 1862 г. // Герцен А. И. Собрание сочинений в тридцати томах. М.: Изд-во АН СССР, 1963. Т. 27, кн. 1. С. 246.

Гульбинский И. Борис Николаевич Чичерин. Биобиблиографический очерк. Отдельный оттиск из журнала «Библиографические Известия». М.: Тип. т-ва Рябушинских, 1914. 26 с.

И-р [Герцен А. И.] Нас упрекают // Колокол. 1858. 1 ноября. Л. 27. С. 219–220.

И-р [Герцен А. И.] Обвинительный акт // Колокол. 1858. 1 декабря. Л. 29. С. 236.

Кавелин К. Д., Чичерин Б. Н. Письмо к издателю // Голоса из России. Лондон: Вольная русская книгопечатня, 1856. Ч. I. С. 9–36.

Клеветский М. Герцен-издатель и его сотрудники // Литературное наследство. № 41–42. М.: Изд-во АН СССР, 1941. С. 572–620.

Милюков П. Н. Юридическая школа в русской историографии (Соловьев, Кавелин, Чичерин, Сергеевич) // Русская мысль. 1886. Кн. VI. С. 80–92.

Никитенко А. В. Дневник: в 3 т. М.: Гослитиздат, 1955. Т. 2: 1858–1865. 663 с.

Огарева-Тучкова Н. А. Воспоминания. 1848–1870. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1903. 331 с.

Опоздавшие письма из Петербурга // Колокол. 1858. 15 сентября. Л. 23–24. С. 186–190.

Русской [Панаев В. А.] Автору «Обвинительного акта» г. Ч. // Колокол. 1859. 1 января. Л. 32–33. С. 260–264.

Панаев В. А. Воспоминания // Русская старина. СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1902. Т. 110, кн. V. С. 317–329.

Семенов-Тянь-Шанский П. П. Мемуары: в 5 т. Петроград: Издание семьи, 1916. Т. IV: Эпоха освобождения крестьян в России (1857–1861). VIII, 676 с.

Спартанской А. Письмо в защиту г. Ч. // Колокол. 1859. 1 января. Л. 32–33. С. 264–265.

Ч. [Чичерин Б. Н.] «Милостивый государь...» // Колокол. 1858. 1 ноября. Л. 29. С. 236–239.

Чичерин Б. Н. Воспоминания: в 2 т. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2010. Т. 1. 496 с.

Чичерин Б. Н. Несколько современных вопросов. М.: Изд. К. Солдатенкова, 1862. 254 с.

References

[Gertsen, A. I.] (1858) “Neizvestnyi korrespondent...” [“Unknown Correspondent...”], *Kolokol [The Bell]*, (30–31), 15 December, pp. 253–254.

Gertsen, A. I. (1956) “Byloe i dumy. 1852–1868. Ch. IV” [“Past and Thoughts. 1852–1868. Part IV”], in Gertsen, A. I. *Sobranie sochinenii: v tridtsati tomakh. Tom 9 [Collected Works: 30 vols. Vol. 9]*. Moscow: AN SSSR Publ., pp. 7–262.

Gertsen, A. I. (1962) “Pis'mo B. N. Chicherinu (chernovoe) ot 15(3) noyabrya 1858 goda” [“Letter to B. N. Chicherin (draft) of November 15(3), 1858”], in Gertsen, A. I. *Sobranie sochinenii v tridtsati tomakh. Tom 26 [Collected Works: 30 vols. Vol. 26]*. Moscow: AN SSSR Publ., p. 222.

Gertsen, A. I. (1963) “Pis'mo N. M. Satinu ot 11 iyulya (29 iyunya) 1862 goda” [“Letter to N. M. Satin dated July 11 (June 29), 1862”], in Gertsen, A. I. *Sobranie sochinenii v tridtsati tomakh. Tom 27, kniga 1 [Collected Works: 30 vols. Vol. 27, Book 1]*. Moscow: AN SSSR Publ., p. 246.

Gul'binskii, I. (1914) *Boris Nikolaevich Chicherin. Biobibliograficheskii ocherk [Boris Nikolaevich Chicherin. Biobibliographic Essay]*. Moscow: Tip. T-va Ryabushinskikh.

I-r [Gertsen, A. I.] (1858) “Nas uprekayut” [“We are Reproached”], *Kolokol [The Bell]*, (27), 1 November, pp. 219–220.

I-r [Gertsen, A. I.] (1858) “Obvinitel'nyi akt” [“Indictment”], *Kolokol [The Bell]*, (29), 1 December, p. 236.

Kavelin, K. D. and Chicherin, B. N. (1856) “Pis'mo k izdatelyu” [“Letter to the Publisher”], *Golosa iz Rossii. Ch. I [Voices from Russia. Part I]*. London: Vol'naya russkaya knigopechatnya, pp. 9–36.

Klevenskii, M. (1941) “Gertsen-izdatel' i ego sotrudniki” [“Herzen the Publisher and his Staff”], in *Literaturnoe nasledstvo. № 41–42 [Literary Legacy. No. 41–42]*. Moscow: AN SSSR Publ., pp. 572–620.

Milyukov, P. N. (1886) “Yuridicheskaya shkola v russkoi istoriografii (Solov'ev, Kavelin, Chicherin, Sergeevich)” [“Law School in Russian Historiography (Soloviev, Kavelin, Chicherin, Sergeevich)”], *Russkaya mysl' [Russian Thought]*, (6), pp. 80–92.

Nikitenko, A. V. (1955) *Dnevnik: v 3 tomakh. Tom 2: 1858–1865 [Diary: 3 vols. Vol. 2: 1858–1865]*. Moscow: Goslitizdat.

Ogareva-Tuchkova, N. A. (1903) *Vospominaniya. 1848–1870 [Memories. 1848–1870]*. Moscow: Izd. M. i S. Sabashnikovykh.

“Opozdavshie pis'ma iz Peterburga” [“Late Letters from Petersburg”] (1858) *Kolokol [The Bell]*, (23–24), 15 September, pp. 186–190.

Russkoi [Panaev, V. A.] (1859) “Avtoru ‘Obvinitel'nogo akta’ g. Ch.” [“To the Author of the ‘Indictment’ Mr. Ch.”], *Kolokol [The Bell]*, (32–33), 1 January, pp. 260–264.

Panaev, V. A. (1902) “Vospominaniya” [“Memories”], in *Russkaya starina. Tom 110, kniga 5 [Russian Antiquity. Vol. 110, Book 5]*. St. Petersburg: Tip. t-va “Obshchestvennaya pol'za”, pp. 317–329.

Semenov-Tyan-Shanskii, P. P. (1916) *Memuary: v 5 tomakh. Tom IV: Epokha osvobozhdeniya krest'yan v Rossii (1857–1861) [Memoirs: 5 vols. Vol. IV: The Era of the Liberation of the Peasants in Russia (1857–1861)]*. Petrograd: Izdanie sem'i.

Spartanskoi, A. (1859) “Pis'mo v zashchitu g. Ch.” [“Letter in Defense of Mr. Ch.”], *Kolokol [The Bell]*, (32–33), 1 January, pp. 264–265.

Ch. [Chicherin, B. N.] (1858) “Milostivyi gosudar'...” [“Dear sir...”], *Kolokol [The Bell]*, (29), 1 November, pp. 236–239.

Chicherin, B. N. (2010) *Vospominaniya: v 2 tomakh. Tom 1 [Memories: 2 vols. Vol. 1]*. Moscow: Izd. im. Sabashnikovykh.

Chicherin, B. N. (1862) *Neskol'ko sovremennykh voprosov [Several Contemporary Issues]*. Moscow: Izd. K. Soldatenkova.

Информация об авторе: Сергей Львович Чижков — кандидат политических наук, старший научный сотрудник сектора философии российской истории Института философии Российской академии наук. Адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.

Information about the author: Sergei L. Chizhkov — PhD in Political Science, Senior Research Fellow of the Department of the Philosophy of Russian History at the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Address: 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests

Статья поступила в редакцию 10.02.2023;
одобрена после рецензирования 01.03.2023;
принята к публикации 10.03.2023.

The article was submitted 10.02.2023;
approved after reviewing 01.03.2023;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 118–130.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 118–130.

Научная статья / Original article

УДК 821.161.1.0

doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-118-130

«СПЕШУ ОТВЕТИТЬ НА ВАШ ВОПРОС...»: К ИСТОРИИ НАПИСАНИЯ БРОШЮРЫ ГЕОРГИЯ ФЛОРОВСКОГО «ЖИЛ ЛИ ХРИСТОС?»


Андрей Викторович Мартынов

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»,

Москва, Россия, martyunov@yandex.ru



 **Аннотация.** В 1926 году философ и теолог Георгий Флоровский переехал из Праги в Париж и начал преподавать курс патрологии в Свято-Сергиевском богословском институте. К этому времени окончательно сформировались его взгляды и научные интересы. Флоровский порвал с движением евразийцев. Одновременно продолжался отход мыслителя от философии всеединства. В итоге в качестве своей основной задачи ученый видел осуществление идеи неопатристического синтеза, который предполагал развитие и адаптацию святоотеческого наследия в современных исторических и культурных условиях. Одной из первых иллюстраций новой теории послужила его брошюра «Жил ли Христос?» (1928). В ней Флоровский полемизировал с книгой немецкого философа Артура Дрекса «Миф о Христе», отрицавшего существование верифицируемых свидетельств о жизни Иисуса. Богослов не считал книгу Дрекса

© Мартынов А. В., 2023

сколько-нибудь серьезным научным трудом. Он указывал на достоверность евангельских источников, их историчность. Также богослов обращал внимание на не связанные с христианством свидетельства древних греков, римлян и иудеев. Флоровский подошел очень серьезно к работе над брошюрой. В частности, он консультировался у знакомых ученых по вопросам библиографии и неоднократно просил их прислать дополнительную литературу по теме исследования. Все это привело к задержке сдачи рукописи в издательство “УМСА-Press”, выступившее заказчиком книги. В результате текст был представлен с опозданием, что вызвало изменение в нумерации в серии «Христианство, атеизм и современность», в составе которой он изначально планировался. Статья основана на архивных источниках.



Ключевые слова: Георгий Флоровский, Артур Дреус, Пол Андерсон, Фриц Либ, “УМСА-Press”, первая волна эмиграции



Благодарности: Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).



Ссылка для цитирования: Мартынов А. В. «Спешу ответить на Ваш вопрос...»: к истории написания брошюры Георгия Флоровского «Жил ли Христос?» // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 118–130. doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-118-130.

Literature. Philosophy. Religion

“I HASTEN TO ANSWER YOUR QUESTION...”:
TO THE HISTORY OF WRITING THE BROCHURE BY GEORGES FLOROVSKY
“DID CHRIST LIVE?”

Andrei V. Martynov

National Research University “Higher School of Economics” (HSE University),
Moscow, Russia, martyuynov@yandex.ru



Abstract. In 1926, the philosopher and theologian Georges Florovsky moved from Prague to Paris and began teaching a course of patrology at the St. Sergius Theological Institute. By this time, his views and scientific interests were finally formed.

Florovsky broke with the movement of Eurasians. At the same time, the thinker's departure from the philosophy of unity continued. As a result, the scientist saw neopatristic synthesis as his main task. He assumed the development and adaptation of the patristic heritage in modern historical and cultural conditions. One of the first illustrations of the new theory was his brochure "Did Christ Live?" (1928). In it, Florovsky argued with the book of the German philosopher Arthur Drews "The Myth of Christ", which denied the existence of verifiable evidence about the life of Jesus. The theologian did not consider Drews' book to be any serious scientific work. He pointed to the reliability of the gospel sources, their historicity. The theologian also paid attention to the testimonies of the ancient Greeks, Romans and Jews not related to Christianity. Florovsky approached the work on the brochure very seriously. In particular, he consulted scholars he knew about bibliography and repeatedly asked them to send additional literature on the research topic. All this led to a delay in the delivery of the manuscript to the "YMCA-Press" publishing house, which ordered the book. As a result, the text was provided late, which caused a change in the numbering in the series "Christianity, Atheism and Modernity", in which it was originally planned. The article is based on archival sources.



Keywords: Georges Florovsky, Arthur Drews, Paul Anderson, Fritz Lieb, "YMCA-Press", first wave of emigration



Acknowledgments: The article was prepared within the framework of the Basic Research Program at the National Research University "Higher School of Economics" (HSE University).



For citation: Martynov, A. V. (2023) "I hasten to answer your question...": To the History of Writing the Brochure by Georges Florovsky 'Did Christ Live?', *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 118–130. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-118-130.

Вторая половина 1920-х годов стала для философа и богослова Георгия Флоровского (1893–1979) во многом переломной. Переезд из Праги в Париж в 1926 году, преподавание патрологии в Свято-Сергиевском православном богословском институте¹ окончательно сформировали его взгляды и

¹ Первоначально планировалось преподавание курса «естественнонаучной апологетики» [Obolovitch, 2015, p. 198–199; Черняев, 2010, с. 49].

профессиональные устремления. Сохранив интерес к вопросам истории культуры, мыслитель в значительной степени подчинил их идее неопатристического синтеза, соединения религиозно-философского наследия и современной социокультурной проблематики [Уильямс, 1995, с. 307–366; Obolevitch, 2015, р. 200–213; Хоружий, 2015, с. 230–251; Ларше, 2022, с. 85–110]. По мнению исследователей, первые попытки его осуществления приходятся на 1928 год (статья «Противоречия оригенизма») [Гаврилюк, 2017, с. 319]. К этому же времени относится и присоединение будущего протоиерея² к движению экуменизма. Он содействовал учреждению Братства св. Албания и св. Сергия, призванного сблизить англиканскую и православную церкви [Гаврюшин, 2005, с. 309]. В развитии взглядов Флоровского не последнюю роль сыграла его интеллектуальная самостоятельность, приведшая в том же году³ к разрыву с евразийцами (статья «Евразийский соблазн»), а спустя десять лет из-за критики учения о Софии *de facto* и с коллегами по богословскому институту, в котором влияние идей Соловьева тесно переплеталось с общественными взглядами периода «Вех». С 1935–1936 годов, оставаясь в штате, преподаватель практически не вел занятий, но уделял много времени участию в выездных конференциях, лекционными турами и паломническими поездкам [Блейн, 1995, с. 62–75; Черняев, 2010, с. 56; Ларше, 2022, с. 41]. Как отмечает историк Модест Колеров, «максимально независимый от евразийства евразиец не смог преодолеть глубоких психологических разделений, вставших между ним и “веховцами”» [Колеров, 1994, с. 151]⁴. Сказались в данном процессе и особенности характера Флоровского. В письме к протоиерею Сергию Булгакову от 25 декабря 1925 года он признавался, что от одиночества «усиливается и без того присущая мне нелюдимость, а я совсем отвыкаю от общения с людьми» [Резниченко, 2013, с. 130]. Поэтому, как отмечали биографы теолога, тот «либо высказывал свою критику в сильнейших выражениях, либо воздерживался от каких-либо публичных комментариев. Умеренность и сдержанность в оценках давались ему с трудом» [Гаврилюк, 2017, с. 305].

Тем не менее, несмотря на содержащиеся в избранных Флоровским практиках деструктивные начала, созданная им картина мира определила по-

² В 1932 году Флоровский принял священство и хиротонисан во иерея, а в 1936 году возведен в сан протоиерея.

³ 1928 год стал для философа во многом трагическим. 3 марта в Софии скончался его отец, митрофорный протоиерей, ректор Одесской духовной семинарии Василий Антонович Флоровский (1858–1928). Подробнее о нем см. [Гаврилюк, 2017, с. 59–61].

⁴ В то же время Мартин Байссвенгер не считает участие Флоровского в евразийском движении «случайным», хотя и признает, что «у него имелись разногласия с другими евразийцами, и порой весьма существенные» [Байссвенгер, 2015, с. 78].

следующие интеллектуальные поиски философа. Она характеризовалась отходом от признания примата историзма и почвенничества в пользу вечных экклезиологических ценностей, синтезом (точнее подчинением) земного, человеческого начала и сакрального [Гаврюшин, 2005, с. 280; Глазков, 2010, с. 28].

Следует отметить, что до произошедшего в 1930-е годы разрыва Флоровский продуктивно сотрудничал с богословским институтом и связанным с ним издательством “УМСА-Press”. Управляющий директор “УМСА-Press” в Париже Пол Андерсон (1894–1982), по справедливому замечанию слависта Эндрю Блейна, ставший для богослова «старым другом и благодетелем» [Блейн, 1995, с. 77]⁵, предложил ему написать небольшую работу о книге немецкого историка, ученика Эдуарда фон Гартмана, Артура Дрекса «Миф о Христе» (1909) [Янцен, 2007, с. 526]. Последний в своем труде утверждал, что никаких независимых свидетельств исторического существования Иисуса, кроме текстов Нового Завета, никогда не было найдено. Так как помимо Германии монография в целях атеистической пропаганды неоднократно печаталась в СССР (в 1924–1926 годах вышло девять в основном сокращенных изданий)⁶, это вызвало желание “УМСА” опубликовать ее критический разбор⁷.

Руководство издательства хотело, чтобы это была «небольшая популярная книжка», однако философ отнесся к заданию чрезвычайно ответственно. По собственному признанию, «поскольку тема эта очень большая, я ограничиваюсь составлением “исторических свидетельств о Христе”» [Там же]. Флоровский использовал значительный корпус источников (Тертуллиан, сщмч. Папий Иерапольский, свв. Игнатий Антиохийский и Поликарп Смирнский) и исследований (Энгельберт Кребс, Адольф Гарнак). В письме к швейцарскому протестантскому богослову и слависту Фрицу Либу от 2 сентября 1928 года он осведомлялся о наличии у него дополнительной литературы, в частности «Античных свидетельств об Иисусе» Йоханнеса Ауфхаузера, «Учебника новозаветных апокрифов» Эдгара Хеннеке, «Жизни Иисуса в эпоху новозаветных апокрифов» Вальтера Бауэра, оговариваясь, что «эти книги будут мне нужны довольно скоро, но на очень короткое время» [Там же, с. 527]⁸. Позднее, в письме от 29 октября 1928 года, мыслитель благодарил Либа за библиографические

⁵ В числе прочего Андерсон принял живое участие в организации давления на просоветское правительство Чехословакии в 1945 году с целью получения выездной визы для Флоровского и его супруги, а также настоял на восстановлении преподавания богослова в Свято-Сергиевском институте весной 1946 года [Блейн, 1995, с. 77, 79].

⁶ К 1924 году вышло четыре английских издания.

⁷ Труд ученого вызвал ряд критических отзывов, в том числе среди отечественных религиозных философов [Булгаков, 1918, с. 161–174; Бердяев, 1927, с. 50–68].

⁸ Одновременно Флоровский интересовался у Либа литературой о Логосе и Софии [Янцен, 2007, с. 527–528, 530–531].

указания и просил прислать из полученного им списка монографию Оскара Грабера (Грубера) «В борьбе за Христа» [Там же, с. 531].

Как следствие, книга Дрекса стала поводом к анализу вопроса о достоверности новозаветной истории. Касаясь «Мифа о Христе», Флоровский лишь писал, что «неверие выступает под именем науки, выдает себя за единственное действительное знание, за его высшую ступень», а труд немецкого коллеги с «беспокойным и игривым воображением» — лишь подчеркивает это «с особой резкостью», но «не отражает действительного состояния науки» [Флоровский, 2002, с. 365, 368, 370]. В основном опираясь на раннехристианские источники, исследователь не столько опровергал Дрекса, сколько отвечал на поставленный им вопрос посредством собственной теории неопатристического синтеза. Свою систему доказательств будущий автор «Путей русского богословия» разделил на три группы: свидетельства апостольской проповеди, внешние свидетельства и свидетельства первохристианства.

По мнению Флоровского, «апостольская проповедь, как она закреплена в книге Деяний и в Посланиях, с самого начала была проповедью и благовестием об “историческом Иисусе”, исходила из факта и событий Его действительной жизни и на этом основывалась. Все ударение здесь лежало именно на определенном единичном историческом событии, все внимание было обращено к живой личности Христа Иисуса» [Там же, с. 372]. Особое внимание обращалось на проповедь ап. Петра, произнесенную в день Пятидесятницы. Размышляя об апостольском корпусе текстов, он указывал, что время их создания приходится на период, предшествовавший разрушению Иерусалима императором Веспасианом в 70 году. Таким образом, «перед нами свидетельство Церкви шестидесятых годов» [Там же, с. 373, 374].

Под языческими («внешними») источниками Флоровский подразумевал иудейские, древнегреческие и древнеримские сочинения. К ним он в числе прочих относил приведенную в Деяниях апостольских речь фарисейского законоучителя Гамалиила, 18-ю и 20-ю книги «Иудейских древностей» Иосифа Флавия, письмо сирийского стоика Мары к сыну Серапиону, а также излагавший «внешнюю» точку зрения «Разговор с Трифоном Иудеем» мч. Иустина. В то же время «дошедшие до нас “Акты Пилата”⁹ и письмо Пилата императору Клавдию, безусловно, неподлинны и принадлежат позднему времени» [Там же, с. 393]. Ученый оговаривался, что внешних свидетельств «очень и очень мало». Это обуславливалось тем, что феномен раннего христианства лежал вне аксиологической проблематики древнего мира. «Иудеи относились

⁹ Другое название — «Донесение Пилата» (“Gesta Pilati”).

к христианству с раздражением, эллины и римляне с презрением». Согласно источникам, «в вину христианам вменялось больше всего и прежде всего почитание человека, и притом распятого» [Там же, с. 393, 394].

Первохристианские¹⁰ свидетельства были в основном полемичны («составлены по случаю»), поэтому «в них не следует искать исчерпывающего и систематического изложения веры. Но в них со всей силой и яркостью сказывается живое историческое чувство Христова Лица» [Там же, с. 396]. Философ выделял послания свв. Игнатия Антиохийского, Поликарпа Смирнского и Иринея Лионского. Также он вновь возвратился к «Разговору» Иустина, касаясь на этот раз уже возражений мученика на аргументы Трифона.

Помимо интерпретации источников, рассматриваемая брошюра также представляет интерес с точки зрения адаптации Флоровским к теологическому дискурсу¹¹ собственной гносеологии, восходящей к неокантианству Германа Когена и Пауля Наторпа, феноменологии Эдмунда Гуссерля и теории множеств Георга Кантора [Shaw, 1992, p. 240–241; Obolevitch, 2015, p. 198]. Он полагал, что историческое познание должно быть обращено к индивидуальному историческому опыту и к аналогичному опыту малых групп [Раев, 1993, с. 272]. Исследователь акцентировал внимание на ранее упомянутых евангельских свидетельствах — «рассказе и записи очевидцев, начертании образа, запечатлевшего и хранимого в памяти» [Флоровский, 2002, с. 379, 373]. Книга Флоровского критиковала редукцию Древсом историцизма к материальному началу в ущерб метафизическому [Глазков, 2010, с. 28–32].

Брошюра писалась для серии «Христианство, атеизм и современность», которая издавалась совместно парижской “YMCA-Press” и варшавским издательством «Добро». Ранее в этой серии уже вышли «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан» Николая Бердяева, «Вера, неверие и фанатизм» Бориса Вышеславцева, «Материализм как мировоззрение» Семена Франка и ряд других.

Первоначально автор хотел назвать свою рукопись «Исторические свидетельства о Христе» (см. Приложение). В последующем оно изменилось на «Был ли Христос? Исторические свидетельства о Христе»¹², но в конечном итоге сочинение вышло под заголовком «Жил ли Христос? Исторические свидетельства о Христе». Поиск и окончательная смена названия, вероят-

¹⁰ Постъевангельский период длился до начала IV века.

¹¹ Флоровский воспринимал философию как теоретическое осмысление конкретного опыта [Shaw, 1992, p. 242] и одновременно искал путь к снятию противоречий между различными областями знания [Obolevitch, 2015, p. 199].

¹² См. анонс издания в [Франк, 1928, с. 32].

но, были обусловлены непосредственной отсылкой к одному из недавних на момент выхода книги изданий Древса в Советском Союзе «Жил ли Христос?» (1924).

В плане она готовилась пятой в серии [Франк, 1928, с. 32], но вышла спустя год под номером 7 [Флоровский, 1929, с. 1]. Возможно, это произошло из-за задержки Флоровским сдачи рукописи, которая должна была произойти 24 июля 1928 года (см. Приложение), но оставалась у него еще в конце октября, что было вызвано работой с новыми материалами, полученными от коллег [Янцен, 2007, с. 531].

Это был не единственный случай несоблюдения сроков по отношению к издательству со стороны Флоровского. Если рукописи «Восточных Отцов IV века» (1931) и «Византийских Отцов V–VIII веков» (1933) представлялись в «УМСА-Press» довольно оперативно, так как базировались на лекционных курсах Свято-Сергиевского института, то с «Путиями русского богословия» (1937) обязательства были существенно нарушены [Блейн, 1995, с. 187]. В итоге совет директоров «УМСА» даже послал автору ультиматум [Гаврилюк, 2017, с. 313]¹³.

В контексте обширной источниковой базы, а также одной из первых попыток, наряду с упомянутыми «Противоречиями оригенизма», применения теории неопатристического синтеза представляется неубедительным суждение историка церкви Павла Гаврилюка, согласно которому «было бы преувеличением, однако, считать этот текст Флоровского, написанный в жанре популярной апологетики, исследованием в области исторической критики» [Гаврилюк, 2017, с. 394]. Здесь уместнее говорить о завершении периода становления ученого и начале зрелого периода, «периода систем» (В. Зеньковский), приведшего его к «Путиям русского богословия».

Приложение¹⁴

⟨На лицевой стороне открытки:⟩

Mr. P. Anderson

10 Bd Montparnasse

Paris XV¹⁵

⟨На оборотной стороне открытки:⟩

1928.VI.4/17

¹³ Подробнее о работе над «Путиями...» см.: [Блейн, 1995, с. 45–46, 187; Черняев, 2010, с. 62; Гаврилюк, 2017, с. 308–313].

¹⁴ Публикация и комментарии А. В. Мартынова. — *Примеч. ред.*

¹⁵ Адрес «УМСА» во Франции и одновременно «Русской УМСА» («RussYMCA»). См. (АДРЗ. Ф. 12 (Коллекция документов Струве Никиты Алексеевича). Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 4).

Дорогой Павел Францевич¹⁶,

Спешу ответить на Ваш вопрос: лучше всего мою брошюру назвать, мне кажется, *Исторические свидетельства о Христе*. —

Рассчитываю передать Вам рукопись в начале будущей недели¹⁷ не позднее вторника¹⁸.

Сердечно Вам преданный

Г. Флоровский.

Текстологическая справка

Источник текста: АДРЗ. Ф. 12 (Коллекция документов Струве Никиты Алексеевича). Оп. 2. Ед. хр. 1. Л. 11–11 об.

Подчеркнутый в источнике текст выделен в публикации курсивом, пояснения публикатора взяты в угловые скобки.

Список источников

Байссвенгер М. Неслучайный евразиец. Г. В. Флоровский в евразийском движении // *Георгий Васильевич Флоровский* / ред. А. В. Черняев. М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 66–79.

Бердяев Н. Наука о религии и христианская апологетика // *Путь*. 1927. № 6. С. 50–68.

Блейн Э. Жизнеописание отца Георгия // *Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ* / общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М.: АО Издательская группа Прогресс-Культура, 1995. С. 7–240.

Булгаков С. Тихие думы: Из статей 1911–1915 гг. М.: Г. А. Леман и С. И. Сахаров, 1918. 204 с.

Гаврилюк П. Георгий Флоровский и религиозно-философский ренессанс. Киев: Дух и литера, 2017. 536 с.

¹⁶ Флоровский в случае с П. Андерсоном и в дальнейшем использовал обращение по имени и отчеству. См. его написанные на английском языке письма от 15 марта и 6 июня 1937 года, в которых он пишет: “My dear Pavel Feodorovich” (АДРЗ. Ф. 313 (Андерсон Пол). Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 1, 2). Так же называли его Б. П. Вышеславцев, Б. К. Зайцев, В. В. Зеньковский, А. В. Карташёв и С. Л. Франк (АДРЗ. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 1. Л. 4, 5, 6, 10, 12).

Подобная форма обращения с сотрудниками “УМСА” не была редкой в среде эмигрантов. Например, С. Л. Франк называл директора издательства “УМСА-Press” во Франции и старшего секретаря «парижской» “УМСА” Дональда Александра Лаури «Дональдом Ивановичем» (АДРЗ. Ф. 12. Оп. 2. Ед. хр. 4. Л. 14). Копия (АДРЗ. Ф. 23 (Документы о деятельности издательства “УМСА-Press”). Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 10). Так же называл его и Б. К. Зайцев. Подробнее см. [Мартынов, 2020. С. 230].

¹⁷ Ср. с письмом Ф. Либу от 2 сентября 1928 года: «...книжка уже написана. Но мне хотелось бы еще просмотреть некоторые работы по этой теме» [Янцен, 2007, с. 526–527].

¹⁸ 24 июля.

Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты. Нижний Новгород: Глагол, 2005. 384 с.

Глазков А. П. Понимание историчности в философии неопатристического синтеза Г. В. Флоровского // Вестн. РУДН. 2010. № 1. С. 24–32.

Колеров М. А. Братство Св. Софии: «веховцы» и евразийцы (1921–1925) // Вопр. философии. 1994. № 10. С. 143–166.

Ларше Ж.-К. «Последуя святым отцам...»: Жизнь и труды протоиерея Георгия Флоровского. М.: Паломник, 2022. 192 с.

Мартынов А. В. «...Очень благодарен Вам, что Вы решились в наше трудное время издать мою книгу»: К истории публикации «Света во тьме» Семена Франка // История. Научное обозрение OSTKRAFT. 2020. № 2–3. С. 226–230.

Раев М. Соблазны и разрывы: Георгий Флоровский как историк русской мысли // Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ / общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М.: АО Издательская группа Прогресс-Культура, 1995. С. 241–306.

Резниченко А. И. «Я не знаю, насколько тверды и самоотверженны миряне парижские...»: пятнадцать писем другу. Письма прот. Г. Флоровского к прот. С. Булгакову (1925–1943) // Софиология и неопатристический синтез: богословские итоги философского развития: Сборник научных статей. / сост. К. М. Антонов, Н. А. Ваганова. М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. С. 115–168.

Уильямс Д. Неопатристический синтез Георгия Флоровского // Георгий Флоровский: священнослужитель, богослов, философ / общ. ред. Ю. П. Сенокосова. М.: АО Издательская группа Прогресс-Культура, 1995. С. 307–366.

Флоровский Г. В. Жил ли Христос? // Флоровский Г. В. Вера и культура: Избранные труды по богословию и философии. СПб.: РХГИ, 2002. С. 365–401.

Флоровский Г. В. Жил ли Христос? Париж: YMCA-Press; Варшава: Добро, 1929. 48 с.

Франк С. Л. Материализм как мировоззрение. Париж: YMCA-Press; Варшава: Добро, 1928. 32 с.

Хоружий С. С. Персоналистские измерения неопатристического синтеза и современный поиск новых модусов субъективности // Георгий Васильевич Флоровский / ред. А. В. Черняев. М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 230–251.

Черняев А. В. Г. В. Флоровский как философ и историк русской мысли. М.: ИФРАН, 2009. 200 с.

Янцен В. Материалы Г. В. Флоровского в базельском архиве Ф. Либба (1928–1954) // Исследования по истории русской мысли: Ежегодник за 2004/2005 год / ред. М. А. Колеров. М.: Модест Колеров, 2007. С. 475–596.

Obolevitch T. Faith and Knowledge in the Thought of Georges Florovsky // Faith and Reason in Russian Thought / Ed. by T. Obolevitch, P. Rojek. Kraków: Copernicus Center Press, 2015. P. 197–218.

Shaw L. F. The philosophical evolution of Georges Florovsky: Philosophical psychology and the philosophy of history // Saint Vladimir's theological quarterly. N. Y. 1992. Vol. 36, № 3. P. 237–255.

Архивы

АДРЗ — Архив Дома Русского зарубежья им. А. И. Солженицына.

References

Beisswenger, M. (2015) “Nesluchainyi evraziets. G. V. Florovskii v evraziiskom dvizhenii” [“Not an Accidental Eurasian. G. V. Florovsky in the Eurasian Movement”], in *Georgii Vasil'evich Florovskii [Georges Vasilievich Florovsky]*. Ed. by A. V. Chernyaev. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya, pp. 66–79.

Berdyayev, N. (1927) “Nauka o religii i khristianskaya apologetika” [“The Science of Religion and Christian Apologetics”], *Put' [Way]*, (6), pp. 50–68.

Blane, A. (1995) “Zhizneopisanie ottsa Georgiya” [“The Biography of Father Georges”], in *Georgii Florovskii: svyashchennosluzhitel', bogoslov, filosof [Georges Florovsky: Priest, Theologian, Philosopher]*. Transl. by D. Khanov, ed. by Yu. P. Senokosov. Moscow: AO Izdatel'skaya gruppa Progress-Kul'tura, pp. 7–240.

Bulgakov, S. (1918) *Tikhie dumy: Iz statei 1911–1915 gg.* [Quiet Thoughts: From Articles 1911–1915]. Moscow: G. A. Leman i S. I. Sakharov.

Gavrilyuk, P. (2017) *Georgii Florovskii i religiozno-filosofskii renessans [Georges Florovsky and the Religious and Philosophical Renaissance]*. Kiev: Dukh i litera.

Gavryushin, N. K. (2005) *Russkoe bogoslovie. Ocherki i portrety [Russian Theology. Essays and Portraits]*. Nizhnii Novgorod: Glagol.

Glazkov, A. P. (2010) “Ponimanie istorichnosti v filosofii neopatristskogo sinteza G. V. Florovskogo” [“Understanding Historicity in G. V. Florovsky's Philosophy of Neopatristic Synthesis”], *Vestnik RUDN [Bulletin of the RUDN]*, (1), pp. 24–32.

Kolerov, M. A. (1994) “Bratstvo Sv. Sofii: ‘vekhovtsy’ i evraziitsy (1921–1925)” [“The Brotherhood of St. Sofia: ‘Vekhovsky’ and Eurasians (1921–1925)”], *Voprosy filosofii [Questions of Philosophy]*, (10), pp. 143–166.

Larshet, J.-C. “Posleduya svyatym ottsam...”: *Zhizn' i trudy protoiereya Georgiya Florovskogo* [“Following the Holy Fathers...”: The Life and Works of Archpriest Georges Florovsky]. Transl. by A. Kurochkin, U. Rakhnovskaya, M. Vdovichenko, A. Vavilova, P. Dobrotsvetov. Moscow: Palomnik.

Martynov, A. V. (2020) “...Ochen' blagodaren Vam, chto Vy reshilis' v nashe trudnoe vremya izdat' moyu knigu’: K istorii publikatsii ‘Sveta vo t'me’ Semena Franka” [“...I am very grateful to you that you decided to publish my book in our difficult time’: On the History of the Publication of ‘Light in Darkness’ by Semen Frank”], *Istoriya. Nauchnoe obozrenie OSTKRAFT* [History. OSTCRAFT Scientific Review], (2–3), pp. 226–230.

Raeff, M. (1995) “Soblazny i razryvy: Georgii Florovskii kak istorik russkoi mysli” [“Temptations and Breaks: Georgii Florovskii as a Historian of Russian Thought”], in *Georgii Florovskii: svyashchennosluzhitel', bogoslov, filosof* [Georges Florovsky: Priest, Theologian, Philosopher]. Transl. by Ya. Krotov, ed. by Yu. P. Senokosov. Moscow: AO Izdatel'skaya gruppa Progress-Kul'tura, pp. 241–306.

Reznichenko, A. I. (2012) “Ya ne znayu, naskol'ko tverdyy i samootverzhenyy miryane parizhskie...’: pyatnadtsat' pisem drugu. Pis'ma prot. G. Florovskogo k prot. S. Bulgakovu (1925–1943)” [“I don’t know how firm and selfless the Parisian laymen are...’: Fifteen Letters to a Friend. Letters from fr. G. Florovskii to Archpriest S. Bulgakov (1925–1943)”], in *Sofiologiya i neopatristscheskii sintez: bogoslovskie itogi filozofskogo razvitiya: Sbornik nauchnykh statei* [Sophiology and Neopatristic Synthesis: Theological Results of Philosophical Development: Collection of Scientific Articles]. Ed. by K. M. Antonov, N. A. Vaganova. Moscow: Izdatel'stvo PSTGU, pp. 115–168.

Williams, G. (1995) “Neopatristscheskii sintez Georgiya Florovskogo” [“Neopatristic Synthesis of Georges Florovsky”], in *Georgii Florovskii: svyashchennosluzhitel', bogoslov, filosof* [Georges Florovsky: Priest, Theologian, Philosopher]. Transl. by K. Bogolyubov, ed. by Yu. P. Senokosov. Moscow: AO Izdatel'skaya gruppa Progress-Kul'tura, pp. 307–366.

Florovskii, G. V. (2002) “Zhil li Khristos?” [“Did Christ Live?”], in Florovskii, G. V. *Vera i kul'tura: Izbrannyye trudy po bogosloviyu i filosofii* [Faith and Culture: Selected Works on Theology and Philosophy]. St. Petersburg: RKhGI, pp. 365–401.

Florovskii, G. V. (1929) *Zhil li Khristos?* [Did Christ Live?]. Paris: YMCA-Press; Warsaw: Dobro.

Frank, S. L. (1928) *Materializm kak mirovozzrenie* [Materialism as a Worldview]. Paris: YMCA-Press; Warsaw: Dobro.

Khoruzhii, S. S. (2015) “Personalistskie izmereniya neopatristscheskogo sinteza i sovremennyi poisk novykh modusov sub"ektivnosti” [“Personalist Dimensions of the Neopatristic Synthesis and the Modern Search for New Modes of Subjectivity”], in *Georgii Vasil'evich Florovskii* [Georges Vasilievich Florovsky]. Ed. by A. V. Chernyaev. Moscow: Politicheskaya entsiklopediya, pp. 230–251.

Chernyaev, A. V. (2009) *G. V. Florovskii kak filosof i istorik russkoi mysli* [G. V. Florovsky as a Philosopher and Historian of Russian Thought]. Moscow: IFRAN.

Yantsen, V. (2007) “Materialy G. V. Florovskogo v bazel'skom arkhive F. Liba (1928–1954)” [“Materials of G. V. Florovsky in the Basel Archive of F. Lieb (1928–1954)”], in *Issledovaniya po istorii russkoi mysli: Ezhegodnik za 2004/2005 god* [Studies in the History of Russian Thought: Yearbook for 2004/2005]. Ed. by M. A. Kolerov. Moscow: Modest Kolerov, pp. 237–255.

Obolevitch, T. (2015) “Faith and Knowledge in the Thought of Georges Florovsky”, in *Faith and Reason in Russian Thought*. Ed. by T. Obolevitch, P. Rojek. Kraków: Copernicus Center Press, pp. 197–218.

Shaw, L. F. (1992) “The Philosophical Evolution of Georges Florovsky: Philosophical Psychology and the Philosophy of History”, *Saint Vladimir's Theological Quarterly*, N. Y., 36(3), pp. 237–255.

Информация об авторе: Андрей Викторович Мартынов — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Адрес: Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4.

Information about the author: Andrei V. Martynov — PhD in Philosophy, Senior Research Fellow at the International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, National Research University “Higher School of Economics” (HSE University). Address: 21/4 Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 18.10.2022;
одобрена после рецензирования 01.03.2023;
принята к публикации 10.03.2023.

The article was submitted 18.10.2022;
approved after reviewing 01.03.2023;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 131–152.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 131–152.

Научная статья / Original article

УДК 1(091)


doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-131-152

ДИАЛЕКТИКА ЛЮБВИ И ЖАЛОСТИ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ИДИОТ» КАК ОТРАЖЕНИЕ ПОЛЕМИКИ В. С. СОЛОВЬЕВА С А. ШОПЕНГАУЭРОМ

Тимофей Ильич Харитонов

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», Москва, Россия,
tikharitonov@edu.hse.ru



 **Аннотация.** В статье затрагивается проблема соотношения категорий «любовь» и «жалость» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот», а также приводится ее рассмотрение в контексте полемики В. С. Соловьева с А. Шопенгауэром по вопросу о сущности нравственности. Задаваясь вопросом о том, как любовь соотносится с состраданием и может ли сострадание лежать в основании нравственного отношения к человеку, Достоевский не дает четкого назидательного ответа и оставляет пространство для философской дискуссии, воплощение которой можно увидеть в том числе и в споре Соловьева с Шопенгауэром. В «Оправдании добра» Соловьев оспаривает тезис Шопенгауэра о том, что в основании нравственности лежит именно чувство общего переживания страдания, делающее возможным сострадание. Русский философ считает

такую установку исключительно негативной, не достаточной для преобразования человека и противопоставляет ей более деятельный идеал любви как положительной симпатии, основанной на отношении к ближнему как к частице всеединого человечества. Такая критика негативной гуманистической жалости в пользу позитивного идеала христианской любви часто воспроизводится и в русском достоевведении применительно к «Идиоту». При этом в работах японских достоевцев, а также в кинокартине «Идиот» Акиры Куросавы, наоборот, господствует скорее шопенгауэрианское квазибуддийское представление о нравственности, основанное на соучастии в страдании ближнего. В этом смысле полемика Соловьева и Шопенгауэра по вопросу о соотношении любви и жалости отражает диалог разных традиций в достоевведении касательно интерпретации «Идиота».



Ключевые слова: Достоевский, сострадание, философия любви, Соловьев, Шопенгауэр, Куросава



Благодарности: Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Также хотелось бы выразить отдельную благодарность доц. Борису Вадимовичу Межуеву за введение в проблематику статьи и проф. Владимиру Карловичу Кантору за ценные замечания в контексте обсуждения ее материалов.



Ссылка для цитирования: Харитонов Т. И. Диалектика любви и жалости в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» как отражение полемики В. С. Соловьева с А. Шопенгауэром // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 131–152. doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-131-152.

Literature. Philosophy. Religion

THE DIALECTICS OF LOVE AND PITY IN DOSTOEVSKY'S "THE IDIOT"
IN THE VIEW OF V. S. SOLOVYOV'S POLEMICS WITH A. SCHOPENHAUER

Timofey I. Kharitonov

National Research University "Higher School of Economics" (HSE University),
Moscow, Russia, tikharitonov@edu.hse.ru



Abstract. The article concerns the problem of interrelation of categories “love” and “pity” in the context of F. M. Dostoevsky’s novel “The Idiot” and the consideration of this problem in the context of V. S. Solovyov’s polemics with A. Schopenhauer on the subject of grounding of morality. Dostoevsky consciously did not intend to address this problem within his novel, but certain thinkers as well as certain researchers of Dostoevsky have, nevertheless, attempted to resolve this pity-love opposition. In particular, this concerns Vladimir Solovyov and his major work “The Justification of the Good”, where he criticizes A. Schopenhauer’s claim that the sharing of suffering, which makes possible the compassionate relation to other people, is actually the main grounding of morality. Solovyov labels this thesis as purely negative and suggests a more positive conception of morality that is based on loving to the other man and treating him as a particle of unified humanity. This narrative of criticism of negative humanistic ideal of compassion in favor of a more positive conception of Christian love was also frequently reproduced in the studies of Dostoevsky’s “The Idiot”. At the same time, in the Japanese research on Dostoevsky and in Akira Kurosawa’s adaptation of this novel an opposite Schopenhauerian quasi-Buddhist conception of morality based on one’s participation in the someone else’s suffering is more predominant. In this way Solovyov’s polemics with Schopenhauer can be viewed as a reflection of the dialogue between two opposite interpretations of Dostoevsky’s “The Idiot” that correspond to different traditions within the study of Dostoevsky.



Keywords: Dostoevsky, compassion, philosophy of love, Vladimir Solovyov, Schopenhauer



Acknowledgments: The article was prepared within the framework of the Basic Research Program at the National Research University “Higher School of Economics” (HSE University).



For citation: Kharitonov, T. I. (2023) “The Dialectics of Love and Pity in Dostoevsky’s ‘The Idiot’ in the View of V. S. Solovyov’s Polemics with A. Schopenhauer”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 131–152. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-131-152.

Роман «Идиот» (1868) по праву можно назвать одним из самых загадочных произведений Ф. М. Достоевского. Его главный замысел, по словам самого писателя, заключался в том, чтобы «изобразить положительно прекрасного человека», а труднее этой задачи «нет ничего на свете» [Досто-

евский, 1985, с. 251]. Переписав восемь редакций, автор так и не остался доволен окончательным вариантом романа, но в результате этой работы в достаточно мрачном художественном мире писателя появился один из самых светлых и самых неоднозначных его персонажей — князь Мышкин. Это самый автобиографичный персонаж Достоевского: его устами писатель излагает собственный опыт отмененной смертной казни, переживание эпилептических припадков, его устами излагаются чуть ли не самые оптимистические идеи о спасающей красоте, о русском Христе, которого Россия должна противопоставить Европе. Но чем светлее нам представляется образ князя Мышкина, тем в больший контраст он приходит с трагическим содержанием романа. Несмотря на невероятную самоотдачу Мышкина и его искреннее сострадание ко всем людям, которое на короткое время как будто бы объединяет все разобщенное и надломленное петербургское общество, его попытки «спасти» и «воскресить» человека оборачиваются еще большей трагедией. Всем, кому Мышкин хотел помочь, стало от этого в конечном счете только хуже. Положительно прекрасный человек оказался не просто бессилён, наоборот — он только навредил людям своим приходом. Именно в парадоксальном призыве к состраданию, который пытается донести до людей Мышкин, по всей видимости, нужно искать причину его трагедии.

В сострадании Мышкина можно видеть как предельную форму гуманизма и веры в человека, так и выражение отвлеченного морализма, далекого от христианского понимания любви к ближнему. В этом смысле проблематика сострадания в романе «Идиот» неизбежно приводит нас к более общему вопросу: возможна ли нравственность, основанная на сострадании? В самом романе Достоевский отказывается от единственного назидательного ответа на данный вопрос и позволяет читателю самостоятельно выбрать одну из двух позиций: либо согласиться с тезисом: «Сострадание — всё христианство» [Достоевский, 1974, с. 270], который писатель связал с образом князя Мышкина; либо отвергнуть его и прийти к выводу, что одного лишь сострадания недостаточно для «спасения» и «воскрешения» человека. Принятие каждой из этих позиций предполагает свое особенное прочтение романа, и каждое из этих прочтений имеет право на существование как в рамках авторского мировоззрения Достоевского, так и в рамках рецепции творчества писателя другими философами и исследователями литературы.

В своей статье я хотел бы противопоставить эти два прочтения романа и эксплицировать те философские мировоззрения, которые стоят за ними. *Христианское прочтение*, отвергающее призыв Мышкина к состраданию в пользу более положительного эксплицитно религиозного идеала любви к ближнему,

можно соотнести с философией В. С. Соловьева. В целом такое прочтение романа «Идиот» можно назвать господствующим в современном русском и европейском достоевведении. *Гуманистическое прочтение*, предполагающее скорее апологию взглядов Мышкина и положительное восприятие его призыва к состраданию, можно соотнести с нравственной философией А. Шопенгауэра, основные тезисы которой часто (вольно или невольно) воспроизводятся в контексте японской рецепции Достоевского, которая нашла отражение в экранизации романа «Идиот» Акирой Куросавой и в работах достоеведа Тоёфусы Киноситы.

О соотношении любви и жалости в романе Ф. М. Достоевского «Идиот»

Проблема сострадания является центральной в романе Достоевского. В болезненном сострадании Мышкина, в его беспредельной самоотдаче в пользу ближнего можно увидеть как главный нравственный подвиг персонажа, так и основную причину его трагедии. Формула «Сострадание — всё христианство», упование на сострадание как на «главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества» [Достоевский, 1973, с. 192] могут быть восприняты и как предельное выражение гуманизма и веры в соединение всех людей, и как отвлеченное моралистическое чувство, подменяющее настоящую христианскую любовь к ближнему. Действительно, разве можно все христианство свести к одному состраданию? Разве помимо чисто нравственной программы, в которой действительно содержится идеал сострадания и самоотверженной любви к ближнему, христианство не предполагает таких категорий, как вечная жизнь, воскресение, искупление? Едва ли их можно выразить в понятиях одной нравственности. Более того, даже ограничение данного тезиса до утверждения «Сострадание — вся нравственность» также не является однозначным. В контексте произведения неизбежно встает вопрос: возможна ли нравственность, основанная исключительно на сострадании к человеку?

Позиция самого Достоевского по данному вопросу очевидно противоречит воззрениям князя Мышкина. 16 апреля 1863 года в заметке, сделанной на следующий день после смерти первой жены писателя Марии Дмитриевны («Маша лежит на столе...»), Достоевский пишет: «Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой, — невозможно. Закон личности на земле связывает. Я препятствует. Один Христос мог, но Христос был вековечный от века идеал...» [Достоевский, 1980, с. 172]. Из этой цитаты становится ясно, что гуманистический идеал любви к ближнему невозможно осуществить исключительно в рамках земного существования, ведь только при обращении к «вековечному»

идеалу Христа, к жизни вечной может быть достигнуто соединение всех людей. Одного лишь нравственного сострадательного усилия здесь недостаточно. Эту идею Достоевский впоследствии будет развивать в «Дневнике писателя». Критикуя либерализм А. Градовского, автор «Дневника...» апеллирует к некоей «великой нравственной мысли», превосходящей все земные устремления человека. Нравственные идеи, с точки зрения Достоевского, «только одни: все основаны на идее личного абсолютного самосовершенствования впереди, в идеале, ибо оно несет в себе всё, все стремления, все жажды, а, стало быть, из него же исходят и все ваши гражданские идеалы». Руководствуясь одной лишь гражданской идеей «спасти животишки», общество неизбежно придет к апологии безбожного эгоизма. Подлинная нравственная идея, лежащая в корне всякой человеческой общности, по Достоевскому, должна обязательно исходить «из идей мистических, из убеждений, что человек вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью» [Достоевский, 1984, с. 164, 165]. Без этого потустороннего компонента никакая нравственность невозможна. И хотя о связи с «мирами иными», о вековечном идеале Христа говорил и Мышкин, его действительная практическая программа скорее сводилась к нравственному принципу «Сострадание — всё христианство», где, судя даже по компоновке слов, нравственный закон ставится выше религиозного основания.

Тем не менее отвергать взгляды Мышкина на том основании, что они противоречат авторской философии Достоевского, было бы не совсем корректно. Во-первых, такое одностороннее ограниченное почтение никак не вписывается в полифоническую структуру романов писателя; во-вторых, утверждение о невозможности реализовать нравственный принцип в рамках земного существования человека может объяснить только бессилие князя Мышкина, но не тот вред, который его сострадание принесло другим людям. Очевидно, что сострадание само по себе является похвальным чувством и едва ли сострадание князя Мышкина, взятое в отрыве от событий романа, может быть воспринято с осуждением. Тем не менее трагический исход предприятия Мышкина по «спасению» «падшего ангела» Настасьи Филипповны, вследствие которого и сам князь сходит с ума, указывает на то, что его жалость была какой-то неправильной. Чего же, собственно, не хватало Мышкину?

Само осмысление проблемы нравственного отношения к ближнему в контексте романа «Идиот» в исследовательской литературе часто происходит через связку «любовь — жалость». Расхожим тропом является противопоставление любви-сострадания Мышкина любви-страсти Рогожина. Да и сама тема сострадания так или иначе всплывает именно в контексте сопоставления

разных форм любви, которые могут как противопоставляться жалости, так и соединяться с ней. Сам Мышкин говорит о Настасье Филипповне, что любит ее «не любовью, а жалостью». С одной стороны, писатель указывает на возможность «любить жалостью», с другой — он противопоставляет «любовь жалостью» и «любовь любовью» [Достоевский, 1973, с. 173]. Он указывает таким образом на некоторый иной, более естественный и понятный вид любви, который подменяется жалостью. Сама суть любви-жалости Мышкина в контексте романа описывается в довольно странных формулировках: «...в любви его к ней заключалось действительно как бы влечение к какому-то жалкому и больному ребенку, которого трудно и даже невозможно оставить на свою волю» [Там же, с. 489]. Едва ли это описание любви Мышкина можно назвать комплементарным. Более того, отношение к ближнему как к «жалкому и больному ребенку» [Там же] также трудно назвать в полной мере христианским.

В «преувеличении» сострадания к Настасье Филипповне упрекает Мышкина на страницах романа Евгений Павлович Родомский, ссылаясь на известный библейский сюжет: «Как вы думаете: во храме прощена была женщина, такая же женщина, но ведь не сказано же ей было, что она хорошо делает, достойна всяких почестей и уважения?» [Там же, с. 482]. Евгений Павлович упрекает князя в том, что хотя его отношение к ближнему как к ни в чем не повинному и не вполне ответственному за свои действия ребенку и воплощает христианский идеал прощения, оно все же лишено деятельного наставляющего начала, четкого позитивного указания «иди и впредь не греши» (Ин. 8:11). Возможно, именно отсутствие деятельного аспекта и отличает любовь-жалость Мышкина от некоей более здоровой христианской формы любви. Свидетельством тому может служить сравнение любви-жалости Мышкина с любовью-страстью Рогожина. Если любовь Рогожина к Настасье Филипповне предполагает желание абсолютного обладания ею, доходящего даже до посягательства на ее жизнь, то любовь Мышкина, наоборот, приводит к тому, что когда сам князь стоит в стороне, за его обладание спорят Аглая и Настасья Филипповна, в испуге кричащая: «Мой! Мой!» [Достоевский, 1973, с. 475]. Складывается впечатление, что Рогожин и Мышкин — крайности, между которыми (то есть в соединении нравственного и чувственного начал любви) может лежать некая более здоровая ее форма. Но подобный ход мысли выводит нас за пределы содержания романа, ведь сам Достоевский показывает только крайности и неизбежно оставляет нас на распутии.

Таким образом, помимо прямо излагаемой на страницах романа гуманистической программы князя Мышкина, предполагающей абсолютную самоотдачу в пользу ближнего и основанной на интенции сострадания, в произ-

ведении можно обнаружить указание на некую иную, более положительную интенцию, которая предполагала бы деятельное любовное участие в судьбе другого человека. Первое — сострадательное — гуманистическое прочтение больше соответствует представлению о князе Мышкине как о «небесном посланце» или «естественном человеке Руссо», который оказывается не приспособлен к падшему и больному петербургскому обществу. Такой троп можно найти, например, в работах Н. Н. Арсентьевой и Т. А. Касаткиной [Арсентьева, 1997; 2008; Касаткина, 2018]. Второе — любовное — христианское прочтение «Идиота» скорее соответствует представлению о князе Мышкине как о «гуманистическом Христе», который проповедует очеловеченные земные ценности и из всего духовного содержания христианства вычленяет прежде всего нравственную программу. Эту трактовку можно встретить в работах достоеведов О. А. Богдановой, Р. С. Семькиной и Ю. А. Юнгера [Богданова, 2018; Семькина, Юнгеров, 2012].

Но исследование категорий «любовь» и «жалость» в контексте проблематики «Идиота» Достоевского может иметь не только филологический, но и философский характер. Те концепции нравственной философии, которые вырабатываются достоеведами в процессе интерпретации «Идиота», могут быть восприняты с содержательной точки зрения как два комплекса идей, имеющих определенные основания в истории философии. Таким образом, сопоставление христианской и гуманистической трактовок романа можно воспринимать не только в герменевтическом измерении, то есть как столкновение двух интерпретаций одного текста, но и в измерении чисто идейном, как диалог двух философских мировоззрений, происходящий в контексте полифонического романного пространства Достоевского. И наилучшим способом экспликации этого философского содержания романа и вписывания его в контекст истории философии будет его рассмотрение в соотношении с имевшей место философской дискуссией. В частности, проблематика романа «Идиот» хорошо соотносится с полемикой В. С. Соловьева с А. Шопенгауэром по вопросу о сущности нравственности. В центре нравственной философии Шопенгауэра, а также ее критики Соловьевым стоит тот же, рассмотренный нами в контексте «Идиота» вопрос о возможности нравственности, основанной на сострадании. Позиция Соловьева наиболее соответствует христианскому прочтению «Идиота», а позиция Шопенгауэра очень хорошо соотносится с идеологией князя Мышкина и оправдывающим ее гуманистическим прочтением романа.

Полемика Соловьева с Шопенгауэром по вопросу о сущности нравственности как продолжение идейной проблематики «Идиота»

Шопенгауэр считал, что «основой... всякого *подлинного* человеколюбия» является «исключительно... сострадание» [Шопенгауэр, 2001, с. 448]. Не вдаваясь в аргументацию немецкого философа, основанную частью на его метафизике и частью на критике кантовской этики, можно сказать, что подлинно нравственным, с его точки зрения, может называться только такой акт, который предполагает непосредственное участие в страдании другого человека. Так как вид чужого страдания вызывает его и во мне, то во мне естественным образом возникает и желание избавить чужого от его страданий. В этой отзывчивости к чужому страданию, собственно, заключаются моя добродетель и главное основание моего альтруизма по отношению к ближнему («я прямо вместе с ним страдаю при его горе как таком, чувствую его горе, как иначе только свое, и потому непосредственно хочу его блага, как иначе только своего» [Там же]). В сострадании преодолевается граница между я и не-я («Мы страдаем с ним, стало быть в нем» [Там же, с. 450]), и сама возможность подобной отзывчивости к страданиям другого человека, с точки зрения Шопенгауэра, указывает на некое «их [индивидуумов] единство, на самом деле существующее», которое лежит «по ту сторону всякой множественности и различия» между ними [Там же, с. 493]. Такое соединение этики и метафизики через указание на лежащее в основе единение всех людей поразительным образом напоминает философию Соловьева. Но Соловьев при этом воспринимает философию Шопенгауэра крайне критически и всячески стремится отмежеваться от его позиции, что прежде всего выражается в его критике изложенной выше концепции сострадания.

В работе «Оправдание добра» (1897), в главе «Жалость и альтруизм» Соловьев критикует нравственную философию Шопенгауэра, основанную на сострадании, в двух аспектах. Во-первых, он оспаривает тезис о том, что в акте сострадания происходит переход границы я и не-я. Позиция Шопенгауэра кажется философу «только риторической», поэтому его контраргументы очень карикатурны. Он пишет:

Даже курица — существо несомненно более чадолюбивое, нежели рассудительное, — все-таки ясно понимает различие между собою и своими цыплятами, а потому и соблюдает относительно их определенный образ действия, что было бы невозможно, если бы в ее материнском сострадании были «сняты границы между я и не-я». Если бы было так, то курица, иной раз ощущая голод

и, вследствие неразличения себя от своих цыплят, приписывая это ощущение им, стала бы их кормить, хотя и сытых, сама умирая с голоду, а в другой раз, приписывая их голод себе, насыщалась бы на их счет. На самом деле во всех реальных случаях жалости границы между существом жалеющим и существами, которых оно жалеет, нисколько не снимаются, а только оказываются не такими безусловными и непроницаемыми, какими их воображает отвлеченная рефлексия школьных философов.

[Соловьев, 1988, т. 1, с. 161]

Очевидно, что философия Шопенгауэра не настолько абсурдна. Немецкий философ едва ли согласился бы с подобным переложением своих взглядов. Он прямо писал, что мы чувствуем скорбь другого человека именно как его скорбь и не воображаем, будто эта скорбь наша: «...в нас... каждое мгновение сохраняется ясное сознание, что страдает он, а не мы, и именно в его лице, а не в своем, чувствуем мы страдание, к нашему огорчению» [Шопенгауэр, 2001, с. 450]. Значит, сострадая цыплятам, курица все же поймет, что голодает не она сама, а другие. Однако критика Соловьева очень симптоматична. Ведь идеи о преодолении границы я и не-я в некотором нравственном акте, обнажающем изначальное единение всех людей, он уже излагал в работе «Смысл любви» (1892–1894) с единственным отличием, что такой акт в его понимании был не сострадательным, а любовным. По этой причине становится очевидным, что карикатурная критика Шопенгауэра нацелена не столько на разоблачение его взглядов (которые в действительности не так уж чужды Соловьеву), сколько на отмежевание взглядов Соловьева от взглядов немецкого философа.

Вторая претензия к Шопенгауэру кажется более весомой и более значительной в контексте данной работы. Соловьев указывает на недостаточность сострадания для действительно нравственного преобразования человека. Жалость, с точки зрения философа, является одним из трех фундаментальных оснований нравственности (и, доказывая это, Соловьев приводит практически те же аргументы, что Шопенгауэр), но при этом вся нравственность никак не может сводиться к одной лишь жалости. В основании нравственности, согласно Соловьеву, лежат три чувства: 1) стыд; 2) жалость; 3) благоговение или восходящая любовь к Богу. Первые две категории ограничиваются только чувственной интенцией — они содержат в себе непосредственный позыв к нравственному действию, но при этом не дают нам разумного правила, которое делало бы осмысленным мой нравственный акт. Нравственность может иметь безусловный смысл только основываясь на третьем чувстве — чувстве благоговения, то есть веры в добро и восходящей любви к Богу.

Вступая в этом пункте в прямую полемику с немецким философом, Соловьев пишет:

...предполагая... вместе с Шопенгауэром, что сущность мира есть слепая и бессмысленная воля и что всякое бытие по существу своему есть страдание, с какой стати буду я усиливаться помогать своим ближним в деле поддержания их существования, т. е. в деле увековечения их страдания, — при таком предположении логичнее будет из чувства жалости приложить все старания к тому, чтобы умертвить возможно большее число живых существ.

Сознательно и разумно делать добро я могу только тогда, когда верю в добро, в его объективное, самостоятельное значение в мире...

[Соловьев, 1988, т. 1, с. 179–180]

Таким образом, сострадание Шопенгауэра в интерпретации Соловьева оказывается сугубо отрицательным чувством, предполагающим только избавление от него, но никак не направляющим человека, не содержащим никакого положительного нравственного идеала, во имя которого этот акт должен быть совершен. Без веры в Бога и возможность спасения, без представления о положительной ценности другого человека всякая нравственность оказывается абсолютно бессмысленной.

Критикуя сострадание Шопенгауэра как исключительно отрицательную интенцию, не способствующую действительному нравственному преображению человека, Соловьев во многих отношениях воспроизводит ту же критику сострадания Мышкина, которую мы находим как в самом романе Достоевского (в словах Евгения Павловича), так и в исследовательской литературе. Концепция нравственности Шопенгауэра, сводящая всякое человеколюбие к состраданию, очень созвучна с идеологией князя Мышкина, для которого сострадание тоже составляет «единственный закон бытия всего человечества» [Достоевский, 1973, с. 192], а критика этой концепции Соловьевым в пользу более положительного идеала восходящей любви также очень хорошо дополняет содержание романа и указывает на то, чего князю Мышкину могло не хватать. В «Оправдании добра» Соловьев использует ту же связку «любовь — жалость», которую мы ранее выявили в «Идиоте», и, в частности, суммируя свою философию, делает следующее замечание: «...сообразуясь со своим всеобъемлющим предметом, эта [восходящая] любовь обнимает в Боге и все другое, и прежде всего тех, кто может наравне с нами участвовать в ней, т. е. существа человеческие; здесь наша физическая, а потом нравственно-политическая жалость к людям становится духовною любовью к ним, или *уравнением*

в любви» [Соловьев, 1988, т. 1, с. 546–547]. С точки зрения Соловьева, преобразование нравственной и физической жалости в духовную любовь к ближнему является необходимым для осуществления нравственной идеи. В этом смысле неспособность князя Мышкина осуществить переход от нравственного сострадания к духовной любви может оказаться причиной того, что его нравственная идея «не состоялась» [Киносита, 2005, с. 80].

Развитие идеи недостаточности чисто нравственного чувства по отношению к идеалу положительной любви к ближнему присутствует и в работе Соловьева «Смысл любви». Любовь здесь представляется как «спасительная сила, оправдывающая индивидуальность человека», или «как живая сила, овладевающая внутренним существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения» [Соловьев, 1988, т. 2, с. 505]. Задача любви, с точки зрения Соловьева, состоит в преодолении эгоизма и (прежде всего половой) раздельности между людьми, что в конечном итоге должно способствовать более полному раскрытию природы человека. Именно в любви происходит тот пресловутый переход границы я и не-я, в котором Соловьев отказывал концепции сострадания Шопенгауэра. Но в рамках такой трансформации индивидуальность человека не упраздняется, а только преобразуется в пользу более цельной, совершенной индивидуальности любящих, соответствующей «истинному человеку» [Там же, с. 513], не разделенному на два пола.

Всеединящая любовь, по сути, и является тем положительным чувством, которое Соловьев противопоставляет «отрицательной», «бессмысленной» жалости Шопенгауэра, при этом проецируя на нее тот интерсубъективный компонент жалости, благодаря которому немецкий философ говорит об изначальном единении всех людей. В этом смысле философия Соловьева может быть рассмотрена как развитие концепции любви, в рамках которой произошло бы преодоление оппозиции «любовь — жалость», содержащейся в романе «Идиот». Концепция любви Соловьева обязательно предполагает единение чувственного и духовного начал. В ней сознается необходимость как физического, страстного элемента, абсолютизированного в Рогожине, так и рыцарского, идеального компонента, абсолютизированного в Мышкине. По Соловьеву, только гармоническое сочетание этих двух начал делает возможным осуществление подлинного смысла любви.

В представлении русского философа любовь должна корениться в чувстве симпатии к конкретному человеку. Ведь только в конкретном человеке (а не в коллективной общности или абстрактной идее) любящий может увидеть действительно «просвечивающий» в нем «образ Божий». Любящий не просто идеализирует предмет своей любви, но и «действительно видит, зрительно

воспринимает не то, что другие» [Там же, с. 515–516]. Однако без подкрепления более сильной духовной интенцией такое непосредственное чувственное видение образа совершенства в другом человеке может быстро исчезнуть. Поэтому для поддержания такого образа и полного его воплощения необходим акт веры в безусловное значение другого человека, который, в свою очередь, может быть обеспечен только религией.

Но любовь не может быть исключительно нравственным и духовным чувством. Без изначального чувственного импульса, без действительного ощущения в ближнем образа совершенства мой духовный порыв будет просто бессмыслен. «Мнимо духовная любовь, — с точки зрения Соловьева, — есть явление не только ненормальное, но и совершенно бесцельное, ибо то отделение духовного от чувственного, к которому она стремится, и без того наилучшим образом совершается смертью» [Там же, с. 529]. Исключительно духовная любовь, отвергающая всякое земное основание, по сути своей оказывается лишь влечением к смерти, и, что интересно, именно смертью оканчивается в итоге и «мнимо духовная любовь» князя Мышкина к Настасье Филипповне.

Критикуя чрезмерно идеалистическое представление о любви, Соловьев обращается к стихотворению А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный...», которое занимает центральное место и в фабуле «Идиота». В романе это стихотворение зачитывает Аглая в насмешку над князем Мышкиным и его болезненной возвышенной привязанностью к Настасье Филипповне. «Рыцарем бедным» в контексте романа является сам князь Мышкин. К этому образу обращается и Соловьев в работе «Смысл любви». Цитируя те же строки Пушкина, что и Аглая в «Идиоте», он делает следующее критическое замечание: «Даже тот бледный рыцарь, который совсем отдался впечатлению открывшейся ему небесной красоты, не смешивая ее с земными явлениями... вдохновлялся этим откровением лишь на такие действия, которые служили более ко вреду иноплеменников, нежели к пользе и славе “вечноженственного”» [Там же, с. 517]. Эта критика очень легко может быть спроецирована на князя Мышкина и его чересчур небесное исключительно нравственное ощущение любовного чувства¹. Видение исключительно чувственной любви у Соловьева хорошо соотносится с любовью-страстью Рогожина, а его представление о рыцарской исключительно духовной любви идеально соответствует любви-жалости Мышкина, и обе этих интенции в конечном итоге оборачиваются фатальным исходом ре-

¹ Интересно также, что Соловьев искажает название стихотворения и обзывает рыцаря «бледным». «Мертвая бледность» Мышкина по сути является главной характеристикой его внешности, и в использовании Соловьевым именно этого качества, как мне кажется, можно даже увидеть скрытую отсылку к Достоевскому.

ципиента. И любовь-страсть Рогожина, и любовь-жалость Мышкина разделяют общий исход — смерть Настасьи Филипповны, которая в контексте философии Соловьева кажется совершенно закономерной: ведь наилучшим образом свершается отделение духовного начала от чувственного именно смертью.

Таким образом, и в философии любви, и в критике философии Шопенгауэра у Соловьева можно проследить закономерное развитие той проблематики соотношения любви и жалости как оснований нравственности, которое мы находим в романе Достоевского «Идиот». Но такой взгляд на проблему все же является слишком односторонним. Достоевский всегда старался максимально убедительно показать даже самую противную ему позицию, и в контексте полифонического прочтения его великих романов мировоззрение каждого персонажа должно быть воспринято равноценно с позицией автора. В этом смысле исключительно критическое осмысление образа князя Мышкина и его концепции сострадания, которое приводилось ранее, никак не может составить полный рисунок той нравственно-философской проблематики, которая развивается в романе. Представленная выше концептуализация категорий любви и жалости сквозь призму философии Соловьева и его критики Шопенгауэра может быть дополнена рассмотрением и противоположной позиции, в контексте которой приводилась бы интерпретация романа «Идиот» в разрезе нравственной философии Шопенгауэра и его апологии сострадания, критикуемой Соловьевым. И хотя эксплицитных попыток шопенгауэрианского прочтения Достоевского в истории литературы пока не предпринималось, некая апология сострадания князя Мышкина, имеющая определенное сходство с квазибуддийским мирозерцанием Шопенгауэра, все же имела место в достоеведении. Однако относится этот опыт прочтения не к русской или европейской, а к японской исследовательской традиции.

Апология наивного гуманизма князя Мышкина в контексте японской традиции интерпретации «Идиота»

Достоевский — самый читаемый и самый исследуемый русский писатель в Японии. У японцев сложилось своеобразное отношение к его философии, в рамках которого особое значение придается категории сострадания². Наиболее ярким примером является экранизация романа «Идиот» режиссером Акирой Куросавой (1951).

Куросава крайне радикально подходит к тексту романа Достоевского, внося туда множество существенных изменений. Действие произведения пере-

² Подробнее о своеобразии японского прочтения Достоевского см. [Ниохито, 2017].

носится из Петербурга XIX века в послевоенную Японию, на остров Хоккайдо. Сам Мышкин возвращается на родину из военного лагеря и, подобно главному герою фильма «Брат» Даниле Багрову, который также вернулся с войны на развалины своей родины, пытается как-то скрепить сломленное японское общество, переживающее глубокий моральный кризис. После поражения во Второй мировой войне в Японии действительно произошло разрушение всех устоявшихся традиций и ценностей. В обществе чувствовалась абсолютная разобщенность людей, и именно в таком контексте, ставя перед собой задачу выявления новых ценностей, новой идеи, которая сплотила бы японское общество, Куросава обращается к Достоевскому [Wang, 2018, с. 161].

Экранизация Куросавы была предназначена прежде всего для японской, нехристианской аудитории. В Японии превалирует буддийская система ценностей с акцентом на страдании (и это опять-таки позволяет нам провести параллель с Шопенгауэром). Роман же Достоевского посвящен исключительно христианской проблематике и написан преимущественно о «князе Христе». Поэтому творческая задача Куросавы неизбежно предполагала значительное искажение авторского замысла Достоевского. Интерпретируя роман в нехристианском контексте, режиссер пытался извлечь из него некоторые общепонятные гуманистические истины, которые прижились бы на японской почве.

Такое изменение ценностного контекста произведения отразилось во многих эпизодах фильма, но особый интерес в контексте данной статьи представляет то, как Куросава адаптирует «сцену двух соперниц», в которой Аглая и Настасья Филипповна спорят, кому из них должен достаться князь Мышкин. Отвечая на претензию Аглаи, что Мышкин вовсе ее не любит, а ему ее «только жалко», Настасья Филипповна, в интерпретации Куросавы, произносит совершенно уникальную реплику: «Любить — это и значит жалеть». В оригинальном тексте романа мы не найдем и намека на подобную фразу. Более того, в нем Настасья Филипповна прямо отвергает сострадание Мышкина. Это заметно, например, в словах самого князя:

Иногда я доводил ее [Настасью Филипповну] до того, что она как бы опять видела кругом себя свет; но тотчас же опять возмущалась и до того доходила, что меня же с горечью обвиняла за то, что я высоко себя над нею ставлю (когда у меня и в мыслях этого не было), и прямо объявила мне наконец на предложение брака, что она *ни от кого не требует ни высокомерного сострадания, ни помощи, ни “возвеличения до себя”* (курсив мой. — Т. X).

[Достоевский, 1973, с. 361–362]

Настасья Филипповна не нуждается в помощи и сострадании Мышкина, его жалость только разжигает в ней самоубийственную «демоническую гордость», и в этом отношении мы не найдем в романе и намёка на ее одобрительное отношение к жалости Мышкина. Куросава, наоборот, во многом идеализирует Мышкина и придает его жалости спасительные черты.

В контексте фильма не дается какого-либо эксплицитного пояснения, почему жалость Мышкина приобретает такой положительный характер по сравнению с оригинальным текстом романа. Но возможное объяснение такого сюжетного хода можно увидеть в статье другого японского интерпретатора Достоевского — филолога-достоеведа Тоёфосы Киносита. В статье, посвященной эстетике Достоевского, Киносита выдвигает гипотезу, что красота Настасьи Филипповны, с которой «можно мир перевернуть» [Достоевский, 1973, с. 380], обретает свой спасительный смысл именно благодаря страданию героини. Киносита утверждает, что только «страдающая красота» может функционировать как действительно спасительная сила, способствующая нравственному преображению окружающих. Именно созерцание страдания красоты способно вызвать в человеке чрезвычайный нравственный импульс. Именно такая красота заставляет человека страдать в ответ и делает возможным единение в страдании, лежащее в основании нравственной философии Шопенгауэра. «Сострадание, — в интерпретации Киносита, — есть основа того ощущения, согласно которому красота может иметь положительный характер и функционировать как сила, спасающая мир». При этом самому понятию «сострадание» Киносита придает строгий, буквальный смысл: 'вместе страдать' [Киносита, 1994, с. 98].

Мотив переживания страдания красоты подчеркивается и в экранизации Куросавы. Если в романе князь Мышкин, глядя на портрет Настасьи Филипповны, ограничивается репликой, что «в этом лице... страдания много...» [Достоевский, 1973, с. 69], то в экранизации Куросавы князь буквально плачет, смотря на портрет, и впоследствии, уже встретившись с Настасьей Филипповной, даже говорит ей, что у нее «взгляд как у человека, приговоренного к смерти». Сам Мышкин, по сюжету, побывал в лагерях смерти, навидался казней и мучений людей, и именно этот пережитый опыт позволяет ему с такой отзывчивостью относиться к страданию другого человека. Пережитое страдание делает человека более отзывчивым к страданиям ближнего — вот та простая истина, которую Куросава хотел донести до зрителя, идеализируя образ Мышкина. Он в данном случае символизирует весь японский народ, прошедший через ужасы войны и две атомные бомбы. В наивном гуманизме князя, в его призыве к безусловному состраданию и самоотдаче Куросава находит проти-

вовес большим и серьезным идеологическим нарративам XX века. Именно это наивное, незамутненное сострадательное отношение ко всякому, даже к самому жалкому человеку, эта способность рефлексивного переживания чужого страдания как своего и полагается Куросавой в качестве идеала, который мог бы сплотить изувеченное войной японское общество [Wang, 2018, с. 164]. В этой связи мышкинская апология сострадания уже не кажется исключительно негативной и отвлеченно нравственной, какой ее видел Соловьев, и шопенгауэрианская квази-буддийская интерпретация романа может также показаться нам крайне убедительной и даже, возможно, более актуальной в контексте последних лет.

* * *

Роман «Идиот» и сегодня остается одним из самых неоднозначных произведений Достоевского, и по мере взаимодействия разных культурных и философских традиций с течением времени мы задаемся все большим количеством вопросов касательно содержания данного произведения. Трагедия князя Мышкина, двойственность его образа и его то восхищающее, то отталкивающее читателя беспредельное сострадание неизбежно заставляют нас задаться вопросом о самой сущности нравственности. В контексте романа этот вопрос разрешается только через противопоставление двух видов любви и создания концептуальной оппозиции между категориями любви и жалости. Достоевский открывает перед нами два возможных прочтения романа — гуманистическое, предполагающее апологию мышкинского сострадательного отношения к ближнему, и христианское, отвергающее болезненное сострадание Мышкина в пользу более положительного идеала деятельной любви. Первая позиция в большей степени соответствует нравственной философии Артура Шопенгауэра, а вторая скорее соответствует философии любви Владимира Соловьева, который также вступает в прямую полемику с немецким мыслителем. В данном контексте соловьевская критика сострадания как основы для нравственности и его апология идеи всеединящей любви могут быть восприняты как развитие проблематики «Идиота». Поэтому вполне уместно будет сделать предположение, что именно неспособность к осуществлению того чувственно-духовного идеала любви, о котором говорит Соловьев, как раз и является причиной неудачи Мышкина в его миссии по «спасению» и «воскрешению» человека. Но вдохновленное буддизмом японское прочтение романа также убедительно показывает, что и шопенгауэровская апология сострадания не может быть окончательно отброшена в контексте осмысления «Идиота». В частности,

в киноадаптации «Идиота» Акира Куросава находит в наивном гуманизме князя Мышка положительную альтернативу обезличенным нарративам идеологий XX столетия и реактуализирует раскритикованное Соловьевым понимание нравственности. В этом смысле как «любовное», так и «сострада-тельное» прочтение «Идиота» имеют свои основания в истории искусства и философии и могут быть восприняты как два равноценных комплекса идей, присутствующих в контексте полифонической структуры художественного мира Достоевского. Благодаря многоголосной диалогической структуре его романов творчество писателя может совершенно по-разному восприниматься в контексте разных исторических и культурных традиций. Та удивительная многогранность художественного мира писателя, которая открывается при сопоставлении европейских и японских интерпретаций, может быть раскрыта только в контексте полифонического прочтения его произведений, предложенного М. Бахтиным. Благодаря созвучию философских мировоззрений, которые мы находим у Достоевского, со спорами в истории философии открывается возможность расширения полифонического диалога, происходящего на страницах романов писателя, включения туда позиций реальных философов и деятелей искусства, так или иначе испытавших влияние его творчества. Осмысление диалектики любви и жалости в романе «Идиот» в контексте полемики В. С. Соловьева с А. Шопенгауэром можно трактовать не только как попытку провести некую историко-философскую параллель, но и как изложение живого диалога, происходящего одновременно в романном мире Достоевского и в истории философии.

Список источников

Арсентьева Н. Герметическая традиция в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // II Международный симпозиум «Русская словесность в мировом культурном контексте»: избранные доклады и тезисы / под общ. ред. И. Л. Волгина. М.: Фонд Достоевского, 2008. С. 385–386.

Арсентьева Н. Н. «Положительно прекрасный человек» // Достоевский: Эстетика и поэтика: Словарь-справочник / сост. Г. К. Щенников, А. А. Алексеев; науч. ред. Г. К. Щенников. Челябинск: Металл, 1997.

URL: <https://fedordostoevsky.ru/research/aesthetics-poetics/096/> (дата обращения: 13.10.2022).

Богданова О. А. Спасет ли мир красота? Проблема красоты и женские характеры в романном творчестве Ф. М. Достоевского // Новый филологический вестник. 2013. № 4 (27). С. 74–93.

Достоевский Ф. М. «Маша лежит на столе...» // *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1980. Т. 20. С. 172–175.

Достоевский Ф. М. Дневник писателя за 1877 год. Сентябрь — декабрь // *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1984. Т. 26. С. 5–128.

Достоевский Ф. М. Идиот. Подготовительные материалы // *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1974. Т. 9: Идиот: Рукописные редакции. Вечный муж. Наброски 1867–1870. С. 140–288.

Достоевский Ф. М. Письмо С. А. Ивановой. 1 (13) января 1868. Женева // *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1985. Т. 28, кн. II. С. 249–253.

Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1973. Т. 8: Идиот. 512 с.

Касаткина Т. А. Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: о высшей и низшей природе человека // *Христианское чтение.* 2021. № 4. С. 14–30.

Киносита Т. А. Понятие «красоты» в свете идей эстетики Достоевского // *Достоевский: материалы и исследования.* СПб.: Наука, 1994. Т. 11. С. 96–101.

Киносита Т. А. Проблемы понятия «сострадание» в творчестве Достоевского // *Киносита Т. А.* Антропология и поэтика творчества Достоевского. СПб.: Серебряный век, 2005. С. 75–82.

Наохито С. Восприятие романа «Идиот» в Японии // *Философский полилог: Журнал Международного центра изучения русской философии.* 2017. № 1. С. 79–88.

Семькина Р. С., Юнгер Ю. А. Три идеи о «мертвом Христе»: мотив богоподмены в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // *Мир науки, культуры, образования.* 2012. № 5 (36). С. 283–286.

Соловьев В. С. Оправдание добра. Нравственная философия // *Соловьев В. С.* Сочинения / сост., общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева и А. В. Гулыги; примеч. С. Л. Кравца и др. М.: Мысль, 1988. Т. 1. С. 47–580. (Философское наследие).

Соловьев В. С. Смысл любви // *Соловьев В. С.* Сочинения / сост., общ. ред. и вступ. ст. А. Ф. Лосева и А. В. Гулыги; примеч. С. Л. Кравца и др. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 493–547. (Философское наследие).

Шопенгауэр А. Собрание сочинений: в 6 т. / пер. с нем.; общ. ред. и сост. А. Чанышева. М.: ТЕРРА-Книжный клуб; Республика, 2001. Т. 3: Малые философские сочинения. 528 с.

Wang X. Interpretations of Fyodor Dostoevsky's "The Idiot" by Akira Kurosawa and Andrzej Wajda: A comparative analysis // *Вестн. СПбГУ. Востоковедение и африканистика.* 2018. Т. 10, вып. 2. С. 159–175.

References

Arsent'eva, N. (2008) “Germeticheskaya traditsiya v romane F. M. Dostoevskogo ‘Idiot’” [“Hermetic Tradition in F. M. Dostoevsky’s Novel ‘The Idiot’”], in *II Mezhdunarodnyi simpozium “Russkaya slovesnost’ v mirovom kul'turnom kontekste”: izbrannye doklady i tezisy* [2nd International Symposium “Russian Literature in the World Cultural Context”: Selected reports and theses]. General ed. by I. L. Volgin. Moscow: Fond Dostoevskogo, pp. 385–386.

Arsent'eva, N. N. (1997) “Polozhitel'no prekrasnyi chelovek” [“Positively a Wonderful Person”], in *Dostoevskii: Estetika i poetika: Slovar'-spravochnik* [Dostoevsky: Aesthetics and Poetics: Dictionary-reference]. Comp. by G. K. Shchennikov and A. A. Alekseev; ed. by G. K. Shchennikov. Chelyabinsk: Metall Publ. Available at: <https://fedordostoevsky.ru/research/aesthetics-poetics/096/> (Accessed: 13 Oct 2022).

Bogdanova, O. A. (2013) “Spaset li mir krasota? Problema krasoty i zhenskie kharaktery v romannom tvorchestve F. M. Dostoevskogo” [“Will Beauty Save the World? The Problem of Beauty and Female Characters in the Novel Work of F. M. Dostoevsky”], *Novyi filologicheskii vestnik* [New Philological Bulletin], 4(27), pp. 74–93.

Dostoevskii, F. M. (1980) “Masha lezhit na stole...” [“Masha is lying on the table...”], in Dostoevskii, F. M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 20* [Complete Works: 30 vols. Vol. 20]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ., pp. 172–175.

Dostoevskii, F. M. (1984) “Dnevnik pisatelya za 1877 god. Sentyabr' — dekabr'” [“The Writer’s Diary for 1877. September — December”], in Dostoevskii, F. M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 26* [Complete Works: 30 vols. Vol. 26]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ., pp. 5–128.

Dostoevskii, F. M. (1974) “Idiot. Podgotovitel'nye materialy” [“The Idiot. Preparatory Materials”], in Dostoevskii, F. M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 9: Idiot: Rukopisnye redaktsii. Vechnyi muzh. Nabroski 1867–1870* [Complete Works: 30 vols. Vol. 9: The Idiot: Handwritten editions. Eternal husband. Sketches 1867–1870]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ., pp. 140–288.

Dostoevskii, F. M. (1985) “Pis'mo S. A. Ivanovoi. 1 (13) yanvary 1868. Zheneva” [“Letter to S. A. Ivanova. 1 (13) Jan 1868. Geneva”], in Dostoevskii, F. M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 28, kniga 2* [Complete Works: 30 vols. Vol. 28, Book 2]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ., pp. 249–253.

Dostoevskii, F. M. (1973) *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 8: Idiot* [Complete Works: 30 vols. Vol. 8: The Idiot]. Leningrad: Nauka. Leningradskoe otdelenie Publ.

Kasatkina, T. A. (2021) “Roman F. M. Dostoevskogo ‘Idiot’: o vysshei i nizshei prirode cheloveka” [“F. M. Dostoevsky’s Novel ‘The Idiot’: about the Higher and Lower Nature of Man”], *Khristianskoe chtenie [Christian Reading]*, (4), pp. 14–30.

Kinosita, T. A. (1994) “Ponyatie ‘krasoty’ v svete idei estetiki Dostoevskogo” [“The Concept of ‘Beauty’ in the Light of Dostoevsky’s Ideas of Aesthetics”], in *Dostoevskii: materialy i issledovaniya. Tom 11 [Dostoevsky: Materials and Research. Vol. 11]*. St. Petersburg: Nauka Publ., pp. 96–101.

Kinosita, T. A. (2005) “Problemy ponyatiya ‘sostradanie’ v tvorchestve Dostoevskogo” [“Problems of the Concept of ‘Compassion’ in Dostoevsky’s Work”], in Kinosita, T. A. *Antropologiya i poetika tvorchestva Dostoevskogo [Anthropology and Poetics of Dostoevsky’s Work]*. St. Petersburg: Serebryanyi vek [The Silver Age], pp. 75–82.

Naokhito, S. (2017) “Vospriyatie romana ‘Idiot’ v Yaponii” [“Perception of Novel ‘The Idiot’ in Japan”], *Filosofskii polilog: Zhurnal Mezhdunarodnogo tsentra izucheniya russkoi filosofii [Philosophical Polylogue: Journal of the International Center for the Study of Russian Philosophy]*, (1), pp. 79–88.

Semykina, R. S. and Yungarov, Yu. A. (2012) “Tri idei o ‘mertvom Khriste’: motiv bogopodmeny v romane F. M. Dostoevskogo ‘Idiot’” [“Three Ideas about the ‘Dead Christ’: the Motive of the God-substitution in F. M. Dostoevsky’s Novel ‘The Idiot’”], *Mir nauki, kul'tury, obrazovaniya [The World of Science, Culture, Education]*, 5(36), pp. 283–286.

Solov'ev, V. S. (1988) “Opravdanie dobra. Nравstvennaya filosofiya” [“Justification of Goodness. Moral Philosophy”], in Solov'ev, V. S. *Sochineniya: v 2 tomakh. Tom 1 [Works: 2 vols. Vol. 1]*. Comp., general ed. and introduction by A. F. Losev and A. V. Gulyga; notes by S. L. Kravets et al. Moscow: Mysl' Publ., pp. 47–580. (Filosofskoe nasledie [Philosophical Heritage]).

Solov'ev, V. S. (1988) “Smysl lyubvi” [“The Meaning of Love”], in Solov'ev, V. S. *Sochineniya: v 2 tomakh. Tom 2 [Works: 2 vols. Vol. 2]*. Comp., general ed. and introduction by A. F. Losev and A. V. Gulyga; notes by S. L. Kravets et al. Moscow: Mysl' Publ., pp. 493–547. (Filosofskoe nasledie [Philosophical Heritage]).

Schopenhauer, A. (2001) *Sobranie sochinenii: v 6 tomakh. Tom 3: Malye filosofskie sochineniya [Collected Works: 6 vols. Vol. 3: Minor Philosophical Works]*. Transl. from the German; Ed. and comp. by A. Chanyshchev. Moscow: TERRA-Knizhnyi klub; Respublika.

Wang, X. (2018) “Interpretations of Fyodor Dostoevsky’s ‘The Idiot’ by Akira Kurosawa and Andrzej Wajda: A Comparative Analysis”, *Vestnik SPbGU. Vostokovedenie i afrikanistika [Bulletin of St. Petersburg State University. Oriental and African studies]*, 10(2), pp. 159–175.

Информация об авторе: Тимофей Ильич Харитонов — стажер-исследователь Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Адрес: Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4.

Information about the author: Timofey I. Kharitonov — Research Assistant at the International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, National Research University “Higher School of Economics” (HSE University). Address: 21/4 Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 13.11.2022;
одобрена после рецензирования 01.03.2023;
принята к публикации 10.03.2023.

The article was submitted 10.10.2022;
approved after reviewing 01.03.2023;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 153–167.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 153–167.

Научная статья / Original article

УДК 82.091


doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-153-167

ГЕОРГ ЛУКАЧ И МАКСИМ ГОРЬКИЙ: У ИСТОКОВ ТЕОРИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА



Алексей Иосифович Жеребин

Российский государственный
педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия, zerebin@mail.ru,
<https://orcid.org/4000-0002-2216-6461>

 **Аннотация.** Статья содержит анализ рецепции творчества Максима Горького в философской эстетике Георга Лукача, крупнейшего представителя неомарксизма в культуре XX века. Теория социалистического реализма, создававшаяся Лукачем в 1930-е годы, в значительной степени опиралась на его интерпретацию произведений Горького. В статьях «Освободитель» и «Человеческая комедия предреволюционной России» Лукач подчеркивал ключевую роль Горького в истории современного искусства, видя в нем, с одной стороны, наследника классического реализма XIX века, с другой — завершителя авангардистского проекта. С точки зрения Лукача, поэтика Горького ознаменовала собой диалектический переход от художественного познания действительности к ее творческому преобразению, от буржуазного романа к обновленному эпосу. Хотя в своей ранней гегельянской книге «Теория романа» Лукач

© Жеребин А. И., 2023

о Горьком еще не упоминал, она в значительной степени предвосхитила его позднейшую концепцию соцреализма, представлявшую, согласно Лукачу, не ревизию революционной утопии авангарда, а новую, художественно более совершенную форму ее утверждения. Заметной точкой соприкосновения между немецким философом и русским писателем являлась марксистская утопия богостроительства.



Ключевые слова: Георг Лукач, Максим Горький, Гегель, марксизм, реализм, жанр, роман, эпопея, эпическая тотальность, богостроительство, утопия



Ссылка для цитирования: Жеребин А. И. Георг Лукач и Максим Горький: у истоков теории социалистического реализма // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 153–167.
doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-153-167.

Memory of Culture

GEORG LUKACH AND MAXIM GORKY: AT THE ORIGINS OF THE THEORY OF SOCIALIST REALISM

Alexej I. Zherebin

Herzen State Pedagogical University of Russia,
St. Petersburg, Russia, zerebin@mail.ru,
<https://orcid.org/4000-0002-2216-6461>



Abstract. The article contains an analysis of the reception of Maxim Gorky's creativity in the philosophical aesthetics of Georg Lukács, the largest representative of neo-Marxism in the culture of the 20th century. The theory of socialist realism, created by Lukács in the 1930s, was largely based on his interpretation of Gorky's works. In the articles "The Liberator" and "The Human Comedy of Pre-Revolutionary Russia" Lukács emphasized Gorky's key role in the history of modern art, seeing him, on the one hand, as the heir of classical realism of the 19th century, on the other — the finalizer of the avant-garde project. From Lukács' point of view, Gorky's poetics marked a dialectical transition from artistic cognition of reality to its creative transformation, from a bourgeois novel to a renewed epic. Although Lukács had not yet mentioned Gorky in his early Hegelian book *The Theory of the Novel*, it largely anticipated his later conception of socialist realism, which, according to Lukács, was not a revision of

the revolutionary utopia of the avant-garde, but a new, artistically more perfect form of its assertion. A notable point of contact between the German philosopher and the Russian writer was the Marxist utopia of God-building.



Keywords: Georg Lukács, Maxim Gorky, Hegel, Marxism, realism, genre, novel, epic, epic totality, God-building, utopia



For citation: Zherebin, A. I. (2023) “Georg Lukach and Maxim Gorky: At the Origins of the Theory of Socialist Realism”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 153–167. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-153-167.

Все русские писатели, привлекавшие внимание Георга Лукача, воспринимались им как персонажи истории мировой литературы. Яснее всего об этом свидетельствует его книга «Русский реализм в мировой литературе» (1949), включающая статьи 1930–1940-х годов. Две из них — «Освободитель» и «Человеческая комедия предреволюционной России» — целиком посвящены Горькому, хотя имя его, суждения о его личности и творчестве присутствуют у Лукача едва ли не в каждой работе тех лет. Теория соцреализма, создававшаяся Лукачем в 1930-е годы, в значительной степени опиралась на его интерпретацию произведений Максима Горького в контексте реалистической литературы Запада.

Русская тема

Особая роль русской литературы была осознана Лукачем задолго до его перехода к марксизму и эмиграции в СССР. В 1910-е годы — время вступления Лукача в литературу — русская тема служила, как известно, предметом острых философских и эстетических дискуссий, в том числе в Германии и Австро-Венгрии [Леман, 2018]. Они шли и в интеллектуальных кружках Гейдельберга и Будапешта, где Лукач учился, развертывались на страницах периодических изданий, в одном из которых он публиковал рецензии на немецкие переводы сочинений Владимира Соловьева [Lukács, 1916] и книгу Томаша Масарика о русской религиозной философии [Lukács, 1914].

Участвуя в этих дискуссиях, Лукач уже в молодости приходит к убеждению, что русские писатели, прежде всего Толстой и Достоевский, завершают многовековую историю развития европейского романа — жанра, отразившего эпоху «разъединенности смысла и жизни», «богооставленности» и «грехопадения», «изгнания личности из сверхличного порядка бытия» и ее «трансцен-

дентальной бесприютности» [Lukács, 1920, S. 130, 95, 102, 52, 24]. Литература Запада, — полагает Лукач, — не пошла дальше «романа разочарования» [Ibid., S. 137]. Она так прочно коренилась в создавших ее социальных структурах, что ускользнуть от них ей удавалось только в форме полемики [Ibid., S. 158]. Иначе было в России, где критика общества была развернута на фоне «органически-естественного состояния мира» [Ibid., S. 159].

После Тургенева, «еще по-европейски разочарованного» [Ibidem], Толстой создал форму романа, «активно перераставшего в эпопею» [Ibid., S. 168], предвосхитившего построманную эпоху новой трансцендентности. В истории жанров признаком этого перехода является, по Лукачу, возрождение эпоса, в истории реализма — опыт создания «положительной прозы» [Ibid., S. 126] (ср. [Берковский, 1975, с. 117]), где человек больше своей социальной судьбы и меньше своей потенциальной человечности.

Докторская диссертация, задуманная Лукачем накануне Первой мировой войны, должна была называться «Этическое и эстетическое в творчестве Достоевского». Осуществлению этого плана помешала война. В 1915 году Лукач был призван в армию, но успел написать вводную главу, которая вышла в свет в 1916 году под названием «Теория романа. Опыт историко-философского анализа большой эпической формы». Это до сих пор одна из самых известных и читаемых работ Лукача. О Достоевском в ней говорится лишь в самом конце, в заключительном абзаце последнего раздела, посвященного преимущественно Толстому («Толстой и выход за пределы социальных форм жизни»). «Достоевский принадлежит новому миру, — писал Лукач. — Стал ли он Гомером или Данте этого мира? Показать это сможет лишь анализ формы его произведений. И тогда можно будет понять, готовы ли мы выйти из состояния абсолютной греховности или... предвестия этого обновления еще столь слабы, что могут быть в любой момент задавлены бесплодными силами наличного бытия» [Lukács, 1920, S. 168].

Впоследствии Лукач укрепляется в убеждении, что подлинным «прорывом в новую эпоху мировой истории» [Ibidem] следует считать не произведения Толстого и Достоевского, а творчество Максима Горького, «первого классика социалистического реализма» [Lukács, 1952, S. 270].

Эпическая тотальность

В «Теории романа» русская тема была введена Лукачем в контекст идеалистической системы Гегеля. У Гегеля, единственного из крупных немецких философов XIX века объединившего в своем учении «Афины и Иерусалим», он нашел то сочетание логической конструкции и эсхатологической утопии, ко-

торое до него увлекало Маркса, а одновременно с ним Эрнста Блоха и Теодора Адорно [Gerigk, 2018, S. 3].

Целью и смыслом истории Гегель провозгласил окончательное возвращение мирового духа к самому себе и переход из царства необходимости в царство свободы. Этому соответствовала циклическая модель исторического процесса, восходившая к немецкой классико-романтической историософии: мир развивается от примитивной неразделенности Бога и мира в «Золотом веке» к их окончательной нераздельности в «Царстве Божиим» [Жирмунский, 1919, с. 26]. Ни у романтиков, ни у Гегеля третья фаза не тождественна первой. Не о возвращении в «Золотой век» шла у них речь. Путь разума и культуры был пройден не бесследно. Трагический опыт второй промежуточной фазы развития — фазы инобытия духа в природе — подвергается в третьей фазе не отмене, а диалектическому «отрицанию отрицания». Противоречие тезиса и антитезиса, конфликт теонии и автономии получает разрешение в новой, автономной причастности личности к бытию сверхиндивидуального целого.

Философия истории Гегеля в полной мере отразилась в его теории эпоса, из которой Лукач усвоил идеал эпической тотальности бытия. Вслед за Гегелем Лукач исходил из того, что эпический человек не противопоставляет себя готовому, уже сложившемуся миропорядку, поскольку мир эпоса еще не отвердел в своих очертаниях и представляет собой бытие становящееся, творимое. В этом состоит принципиальное отличие эпоса от романа, эпического героя — от романного. Последнему остается с господствующим миропорядком либо примириться, либо вступить с ним в непримиримый конфликт, между тем как эпический герой осуществляет себя в незавершенной сфере возможного, в сфере героического жизнетворчества. Отсюда его внутренняя свобода и достоинство, своеобразие его личности и величие его подвигов. Он — инициативный субъект жизни и вплетен в общую картину не как жертва действительности, а как ее соавтор. Свой жизненный мир он творит сам, вкладывая в него энергию своей воли и страсти, соперничая и сотрудничая с богами. Это и есть, по Гегелю, основа эпической тотальности: герой действует не обособленно, а исходя из чувства своей укорененности во всеобщем бытии целого, говоря словами Вл. Соловьева — в качестве «индивидуализированного образа всеединства, которое неделимо присутствует в каждой из своих индивидуализаций» [Соловьев, 1988, с. 533].

В восприятии Лукача эстетика Гегеля давала все основания для того, чтобы «эпическая тотальность» могла мыслиться в проекции на будущее. Если у Бахтина, предметом эпопеи служит «абсолютное прошлое», то для Лукача эпический образ строится в эсхатологической перспективе спасения, а тем са-

мым и в зоне контакта с актуальной современностью, представляющей собой процесс зарождения будущего. Как и у Бахтина, роман представляется Лукачу жанром, находящимся в процессе непрерывной самокритики и трансформации, но, по Лукачу, результатом развития романа должна стать стадия синтеза, «обновленная форма эпопеи» [Lukács, 1920, S. 167]: «Путь начат, путешествие завершено» [Ibid., S. 66] (ср. [Тиханов, 1996, с. 130]). Разорванному герою буржуазного романа предстоит стать монолитным и гармоничным героем обновленного эпоса. Это произойдет, когда человек наших дней, искушенный всеми соблазнами индивидуалистического сознания, преодолет конфликт внутреннего и внешнего, идеального и реального в творческом акте реонтологизации своего «я».

Тотальность бытия, осмысленная как творческая задача преобразования распавшегося мира, представляет собой тот жизненно-творческий принцип, который определил содержание интерферирующих вариантов модернистской утопии — не только символизма и авангарда, но и соцреализма в его лукачианской трактовке.

Разбитое зеркало

В ходе позднейшей эволюции своих взглядов Лукач «Теорию романа» пересматривал, подчеркивая, что тогда он был гегельянцем, а потом стал марксистом. Но и перевернутый с головы на ноги Гегель сохранил для Лукача актуальность как последний философ, утверждавший, что мир находится под управлением Логоса, а человек является субъектом разума.

Процесс дальнейшей постгегельянской секуляризации европейского сознания был исследован Лукачем в книге «Разрушение разума». Следствием этого процесса явилось, по Лукачу, убеждение в том, что миром движет не разум, а чисто материальные энергии. Провозглашенная Ницше смерть Бога означала вступление разума в зону бессилия. Разум начал восприниматься как генератор иллюзий, человек — как объект приложения материальных сил, которые манифестируются в нем в форме бессознательных, неконтролируемых разумом влечений.

Книга «Разрушение разума» вышла в свет в 1954 году, но продумывалась она давно, и мысли, в ней изложенные, давно служили для Лукача источником неприятия всех постреалистических течений и авторов, знаменовавших, по его мнению, кризис и упадок буржуазного реализма, будь то натуралистическая школа во Франции или немецкий экспрессионизм, Франц Кафка или Джеймс Джойс. По Лукачу, все они — испуганные свидетели и невольные участники процесса дегуманизации культуры. Их темы — отчуждение и от-

чаяние, дисгармония и абсурд, деградация и разрушение личности; их поэтика — поэтика разбитого зеркала, способного отразить лишь бессвязные фрагменты ускользающей реальности [Lukács, 1952, S. 289–290].

Образ разбитого зеркала содержит, конечно, намек на Стендаля. В «Красном и черном» Стендаль сравнивал писателя с путешественником, который идет по большой дороге с зеркалом; если зеркало отражает не только голубые небеса, но и дорожную грязь, то винить в этом следует не писателя и не зеркало. В конце XIX века это сравнение прочно вошло в литературную критику; так, рецензент «Вестминстерского обозрения», восхищаясь реализмом Толстого, замечал: «Дорожной грязи он не боится, для него в ней отражается небо» [Decker, 1937, p. 545].

О том, что после Толстого зеркало разбилось, писал в 1908 году Горький. В «Разрушении личности» читаем: «Писатель — это уже не зеркало мира, а маленький осколок; социальная амальгама стерта с него; валяясь в уличной пыли городов, оно не в силах отразить своими изломами великую жизнь мира и отражает обрывки уличной жизни, маленькие осколки разбитых душ» [Горький, 1953, т. 24, с. 68]. Цитируя Горького, Лукач особенно подчеркивает метафору «социальная амальгама» [Lukács, 1952, S. 289–290; 1955, Der Briefwechsel ... , S. 252]. В зеркальном производстве амальгамой называлось напыление особого состава, увеличивающего отражающую способность стекла. У Горького, пишет Лукач, зеркало реализма снова становится цельным, на него снова наносится социальная амальгама, и в этом Горький возвращается к традиции классического реализма.

Лучшим его образцом марксистская эстетика провозгласила Бальзака. Статьи Лукача о Бальзаке, вошедшие в его книгу «К истории реализма» [Лукач, 1939], представляли собой лишь часть обширного бальзаковского дискурса, который сформировался в Советской России 1930-х годов. Изучая мировоззрение и творческий метод Бальзака, не только «лукачианцы» М. А. Лившиц и В. А. Гриб, но и Б. А. Грифцов, Д. Д. Обломиевский, Б. Г. Реизов прямо или косвенно указывали на его значение для литературы соцреализма. Так, Обломиевский заканчивал свою статью 1936 года тезисом: «Наследие Бальзака может быть творчески переработано только в условиях страны, строящей социализм» [Обломиевский, 1936, с. 653].

Бальзак утверждал, что искусство писателя в том, чтобы подставить под внешние, эмпирические факты жизни глубокий причинно-следственный ряд, создать для них прочную логическую базу. Эту логическую базу повествования, которая должна чувствоваться в каждом его элементе, Бальзак называл «вымыслом», то есть тем, что художник привносит от себя. Вымысел — это

для Бальзака не игра воображения, а результат познавательной деятельности художника, работы его мысли, воплощенной в образном строе романа. Вымысел, так понимаемый, и есть то, что превращает роман в правду, в творческую истину. «И чем больше этого “вымысла”, чем глубже творческая интерпретация событий, тем неоспоримее правдивость романа» [Реизов, 1939, с. 270].

Одно из самых выразительных высказываний Горького, подтверждающих связь его творчества с реализмом Бальзака, гласит: «Миф — это вымысел. Вымыслить значит извлечь из суммы реально данного основной смысл и воплотить в образ — так мы получаем реализм» [Горький, 1953, т. 27, с. 312]. Но характер «вымысла», обеспечивающего реалистическую правду Горького, с бальзаковским, согласно Лукачу, не совпадает. У Горького есть решающее преимущество — марксистское мировоззрение. В отличие от Бальзака Горький владеет научным знанием тех законов общественной жизни, которыми обусловлена психология и судьба его героев. Благодаря этому социальная амальгама реалистического зеркала у него качественнее, отражение в нем ярче и правдивее, жанровый «сдвиг в направлении эпоса» [Lukács, 1955, *Der historische Roman*, S. 381] решительнее и убедительнее. Только ему удастся до конца реализовать ту принципиальную особенность русского романа, которую ранний Лукач искал у Толстого и Достоевского: человек в нем — не инертный наблюдатель кризиса культуры, не жертва этого кризиса, а активный субъект житнетворчества, чья «творческая дерзость» направлена на овладение всей полнотой бытия [Lukács, 1920, S. 36].

Под знаком богостроительства

Марксистский анализ поэтики Горького на фоне бальзаковского реализма был дан Лукачем в статье 1936 года «Человеческая комедия предреволюционной России». Лукач приходит к выводу, что главной темой Горького была эмансипация личности, пафосом всего его творчества — гуманистический культ человека. Современный человек — герой «человеческой комедии» Горького, — как бы ни был он угнетен, обезличен или внутренне разорван, находится на переходе от прошлого к будущему. Его социальное и метафизическое одиночество воспринимается читателями Горького как «одиночная камера», как тюрьма, которую ему предназначено вскоре взорвать. Именно этим «Дело Артамоновых», история упадка одной буржуазной семьи, принципиально отличается от «Будденброков» Томаса Манна, а «Жизнь Клима Самгина», история распада личности, — от судьбы «человека без сердцевины» в драмах Ибсена. Вот почему так дорог Лукачу роман «Мать», где униженный несправедливой жизнью человек не просто осознает трагедию своей неволи, но

и вступает в борьбу, которая внушает ему «чувство гордости смыслом личного бытия» [Горький, 1953, т. 27, с. 338].

Если Бальзак рассказывал о том, как мучительно утрачиваются иллюзии, то Горький — о том, как мучительно формируются идеалы. Общий смысл произведений Бальзака — утраченные иллюзии, общий смысл произведений Горького — «оптимизм без иллюзий» [Lukács, 1952, S. 291], вера в жизнь и человека вопреки всему, что эту веру разрушает.

В эпоху Лукача тема кризиса и возрождения гуманизма решалась по-разному. В книге «Свет во тьме» С. Л. Франк вспоминает о шутке Владимира Соловьева: «Человек есть обезьяна и потому должен полагать душу свою за ближнего», и, приводя эти слова, продолжает:

И если такой полуобразованный эпигон профанного гуманизма, как Максим Горький мог еще недавно написать хвалебный гимн человеку и наивно восклицать: «Человек — это звучит гордо!» — то читателю мыслящему и образованному естественно противопоставить этому недоумение: почему именно должно «звучать гордо» имя существа, принципиально не отличающегося от обезьяны, существа, которое есть не что иное, как продукт и орудие слепых сил природы?

[Франк, 1992, с. 415]

По мысли Франка, подмена христианской веры в абсолютную личность Христа суррогатом веры в грядущего сверхчеловека сближает Горького с Ницше. Подлинное же преодоление современного кризиса невозможно иначе, чем через возврат к религиозным корням христианской культуры.

Но был и другой путь возрождения гуманизма — не отказ от материалистического мировоззрения, а его углубление на основе атеистической трансформации первоначального религиозного импульса. Этот путь складывался на орбите русского космизма, в частности в неомарксистской философии богостроительства [Гройс, 2015, с. 6–29].

Почему человек модерна перестает быть инициативным субъектом житнетворчества и хозяином своей судьбы? Согласно теории богостроительства это происходит не потому, что процесс секуляризации сознания зашел слишком далеко, а потому, что он еще не завершился. Он завершится, когда будет осознано, что между разумом и миром нет онтологического разрыва, человеческий разум — это продукт материальной природы, он призван проникнуть сквозь нее и стать ее властелином, ее богом-творцом в лице божественно совершенного человека. Так марксизм был провозглашен высшей формой религии, социализм — высшей стадией духовного развития человечества.

Горькому эта логика была, как известно, близка. В повести «Исповедь» (1907–1908) социалистический коллектив мыслится им по модели первоначальной церкви, где церковь — не институт, который удерживает верующих авторитетом и духовным принуждением, а живое внутреннее единство всех и каждого, кто творит в себе «Бога красоты и разума, справедливости и любви» [Горький, 1971, с. 341]. Так же думал и Лукач. По воспоминаниям современников, в кругу Лукача высказывалось убеждение: мы, коммунисты, берем на себя грехи мира — распинаем Христа, чтобы его правда восторжествовала на земле [Пущаев, 2018, с. 206].

Одним из свидетельств того, что идеи богостроительства сохраняли для Горького значение и после революции, служит его доклад на Первом съезде советских писателей в августе 1934 года — текст, который Лукач многократно и сочувственно цитирует. Центральный тезис горьковского выступления заключался в том, что соцреализм предполагает создание образов творимой жизни и человека-творца, богоравного, как герои античного эпоса. Геркулес, говорил Горький, — это «герой труда», и то, что в конце концов он был возведен на Олимп в мир богов, можно представлять себе как своего рода модель героического мифа [Горький, 1953, т. 27, с. 300]. Возродить его на новом этапе истории и предстоит советской литературе. Миф же не знает границы между *praxis* и *poiesis*, между прозой жизни и поэзией мысли. Это очень близко к программе создания «обновленной формы эпоса», намеченной Лукачем еще в «Теории романа».

В статье «Освободитель» (1936), также всецело посвященной Горькому, Лукач начинает с «рискованного» (по собственному его замечанию) сравнения Горького с Гёте: подобно Гёте, Горький был для своих младших современников не мэтром, а освободителем [Lukács, 1952, S. 261–262]. Он учил не законам литературного мастерства, а тому, как делать искусство из жизни, а жизнь претворять в совершенное произведение искусства. Искусство соцреализма должно стать властью, преображающей человека, слово художника будет плотью нового мира. Таков, по мысли Лукача, смысл эстетического переворота, предначертанного Максимом Горьким. Его творчество, овеянное тем же духом утопии спасения, что и авангардистский проект, этот проект, как представлялось Лукачу, завершило. Актом завершения оно явилось потому, что авангардистскому разрыву с наследием буржуазного гуманизма и традицией классического реализма XIX века Горький противопоставил принцип их диалектического «снятия». По воспоминаниям Шкловского, Юрий Олеша, которого Горький высоко ценил, сочинил однажды забавную диалектическую сказку:

Жук был влюблен в гусеницу. Жук сидел над трупом любимой. Как-то кокон разорвался, и оттуда вылетела бабочка. Жук ненавидел бабочку за то, что она сменила гусеницу, уничтожила ее. Может быть, он хотел убить бабочку, но, подлетев к ней, увидел у бабочки знакомые глаза — глаза гусеницы. Глаза остались. Старое узнается в новом, но оно не только узнается, но и переосмысливается, приобретает крылья, иную функцию. Глаза теперь нужны не для ползанья, а для полета.

[Шкловский, 1983, с. 19]

Лукачу, как и Горькому, хотелось верить, что полеты будут.

Верность своей теории соцреализма — теории, которую он создавал с опорой на Горького, — Лукач сохранил до конца жизни. Ни художественная слабость позднейших произведений советской литературы, ни идеологические споры марксистов, начавшиеся после смерти Сталина, на его эстетическую позицию почти не повлияли. Венгерское восстание 1956 года он поддержал, но теория «реализма без берегов» казалась ему изменой. Возможным объяснением его твердости мог бы служить постмодернистский принцип “*praesentia-in-absentia*” [Smirnov, 2015, S. 175], сформулированный в конце 1970-х годов, через несколько лет после смерти Лукача, Жаном Бодрийяром:

Нельзя желать отбросить видимости, потому что тогда моментально обнаружится отсутствие истины. Или отсутствие Бога. Или отсутствие Революции. Жизнь Революции поддерживается только идеей о том, что ей противостоит все и вся, в особенности же ее идейный двойник — сталинизм. Сталинизм бессмертен: его присутствие всегда будет необходимым, чтобы скрывать факт отсутствия Революции, истины Революции — тем самым он возрождает нашу на нее надежду.

[Бодрийяр, 2000, с. 115]

Список источников

Берковский Н. Я. О мировом значении русской литературы. Л.: Наука, 1975. 184 с.

Бодрийяр Ж. Соблазн / пер. с франц. А. Гараджи. М.: Ad Marginem, 2000. 317 с.

Горький М. Исповедь // Горький М. Полное собрание сочинений. Художественные произведения: в 25 т. М.: Наука, 1971. Т. 9. С. 217–390.

Горький М. Разрушение личности // Горький М. Полное собрание сочинений: в 30 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 24. С. 26–79.

Горький М. Советская литература. Доклад на Первом всесоюзном съезде советских писателей 17 августа 1934 года // Горький М. Полное собрание сочинений: в 30 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 27. С. 298–333.

Горький М. Заключительная речь на Первом всесоюзном съезде советских писателей 1 сентября 1934 года // Горький М. Полное собрание сочинений: в 30 т. М.: ГИХЛ, 1953. Т. 27. С. 337–354.

Гройс Б. Русский космизм: биополитика бессмертия // Гройс Б. Русский космизм. Антология. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. С. 6–29.

Жирмунский В. М. Религиозное отречение в истории романтизма. Материалы для характеристики Клеменса Brentano и гейдельбергских романтиков. М.: Изд-во Сахарова, 1919. 83 с.

Леман Ю. Восприятие русской литературы между 1885 и 1918 годами // Леман Ю. Русская литература в Германии / пер. с нем. Н. Бакши, А. Жеребина. М.: ЯСК, 2018. С. 81–162.

Лукач Г. К истории реализма. М.: Гослитиздат, 1939. 372 с.

Обломиевский Д. Д. Бальзак // Ранний буржуазный реализм / сб. статей под ред. Н. Берковского. М.: ГИХЛ, 1936. С. 587–654.

Пуцаев Е. В. Философия советского времени: М. Мамардашвили и Э. Ильенков (энергии отталкивания и притяжения). М.: ИНИОН РАН, 2018. 357 с.

Реизов Б. Г. Творчество Бальзака. М.: ГИХЛ, 1939. 411 с.

Соловьев В. С. Смысл любви // Соловьев В. С. Сочинения: в 2 т. М.: Мысль, 1988. Т. 2. С. 493–547.

Тиханов Г. Бахтин, Лукач и немецкий романтизм // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1996. № 3. С. 117–142.

Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии // Франк С. Л. Духовные основы общества. М.: Республика, 1992. С. 405–470.

Шкловский В. Город нашей юности // Воспоминания о Юрии Тынянове. Портреты и встречи / сост. В. А. Каверин. М.: Сов. писатель, 1983. С. 5–37.

Gerigk H.-J. Georg Lukacs und Hegel. Anmerkungen zur "Theorie des Romans". Heidelberg: Mattes Verlag, 2018. 46 S.

Decker Cl. Victorian comment of russian realism // Publications of the Modern Language Association of America. 1937. № 2. P. 502–555.

Lukács G. [Rez.] Th. G. Massarik. Zur russischen Geschichts-und Religionsphilosophie. 2 Bde. Jena: Eugen Diederichs, 1913 // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1914. Vol. 38, №. 3. S. 871–875.

Lukács G. [Rez.] W. Solovjeff. Die Rechtfertigung des Guten. Ausgewählte Werke. Bd. 1–2. Jena: Eugen Diederichs, 1916 // Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. 1916. Vol. 42, №. 3. S. 978–980.

Lukács G. Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik. Berlin: Paus Cassirer, 1920¹.

Lukács G. Der Befreier // Lukács G. Der russische Realismus in der Weltliteratur. Berlin: Aufbau-Verlag, 1952. S. 261–309.

Lukács G. Der Briefwechsel zwischen Anna Seghers und Georg Lukács, Probleme des Realismus // Lukács G. Probleme des Realismus. Berlin: Aufbau-Verlag, 1955. S. 241–270.

Lukács G. Der historische Roman. Berlin: Aufbau-Verlag, 1955. 395 S.

Smirnov I. Absentia-in Praesentia; Praesentia-in Absentia; Praesentia (Drei Epochen der neuesten Ideengeschichte) // Wiener Slawistischer Almanach. 2015. Bd. 76. S. 171–180.

References

Berkovskii, N. Ya. (1975) *O mirovom znachenii russkoi literatury* [About the Global Significance of Russian Literature]. Leningrad: Nauka Publ.

Bodriiyyar, Zh. (2000) *Soblazn* [Temptation]. Transl. from the Fr. by A. Garadzha. Moscow: Ad Marginem Press.

Gor'kii, M. (1971) "Ispoved'" ["Confession"], in Gor'kii, M. *Polnoe sobranie sochinenii: Khudozhestvennyye proizvedeniya: v 25 tomakh. Tom 9* [Complete Works: Works of Art: 25 vols. Vol. 9]. Moscow: Nauka Publ., pp. 217–390.

Gor'kii, M. (1953) "Razrusheniye lichnosti" ["Destruction of Personality"], in Gor'kii, M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 24* [Complete Works: 30 vols. Vol. 24]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoi literatury [State Publishing House of Fiction], pp. 26–79.

Gor'kii, M. (1953) "Sovetskaya literatura. Doklad na Pervom vsesoyuznom s"ezde sovetskikh pisatelei 17 avgusta 1934 goda" ["Soviet Literature. Report at the First All-Union Congress of Soviet Writers on August 17, 1934"], in Gor'kii, M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 27* [Complete Works: 30 vols. Vol. 27]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoi literatury [State Publishing House of Fiction], pp. 298–333.

Gor'kii, M. (1953) "Zaklyuchitel'naya rech' na Pervom vsesoyuznom s"ezde sovetskikh pisatelei 1 sentyabrya 1934 goda" ["Closing Speech at the First All-Union Congress of Soviet Writers on September 1, 1934"], in Gor'kii, M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom 27* [Complete Works: 30 vols. Vol. 27]. Moscow: Gosudarst-

¹ Первая публикация: Zeitschrift für Ästhetik und Allgemeine Kunstwissenschaft, hrsg. von Max Dessoir, 1916. Рус. пер.: Лукач Дьердь. Опыт историко-философского исследования форм большой эпики / пер. Г. Бергельсона; вступ. заметка С. Зенкина // Новое литературное обозрение. 1994. № 9. С. 13–78.

vennoe izdatel'stvo khudozhestvennoi literatury [State Publishing House of Fiction], pp. 337–354.

Grois, B. (2015) “Russkii kosmizm: biopolitika bessmertiya” [“Russian Cosmism: Biopolitics of Immortality”], in Grois, B. *Russkii kosmizm. Antologiya* [Russian Cosmism. Anthology]. Moscow: Ad Marginem Press, pp. 6–29.

Zhirmunskii, V. M. (1919) *Religioznoe otrechenie v istorii romantizma. Materialy dlya kharakteristiki Klemensa Brentano i geidel'bergskikh romantikov* [Religious Renunciation in the History of Romanticism. Materials for the Characterization of Clemens Brentano and the Heidelberg Romantics]. Moscow: Izdatel'stvo Sakharova.

Leman, Yu. (2018) “Vospriyatie russkoi literatury mezhdru 1885 i 1918 godami” [“Perception of Russian Literature between 1885 and 1918”], in Leman, Yu. *Russkaya literatura v Germanii* [Russian Literature in Germany]. Transl. from the Ger. by N. Bakshi and A. Zherebin. Moscow: YASK, pp. 81–162.

Lukács, G. (1939) *K istorii realizma* [Towards the History of Realism]. Moscow: Goslitizdat.

Oblomievskii, D. D. (1936) “Bal'zak” [“Balzac”], in *Rannii burzhuaznyi realism. Sbornik statei* [Early Bourgeois Realism. Collection of Articles]. Ed. by N. Berkovskii. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoi literatury [State Publishing House of Fiction], pp. 587–654.

Pushchae, E. V. (2018) *Filosofiya sovetskogo vremeni: M. Mamardashvili i E. Il'enkov (energii ottalkivaniya i prityazheniya)* [Philosophy of the Soviet Era: M. Mamardashvili and E. Ilyenkov (The Energies of Repulsion and Attraction)]. Moscow: INION RAN.

Reizov, B. G. (1939) *Tvorchestvo Bal'zaka* [Balzac's Creativity]. Moscow: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoi literatury [State Publishing House of Fiction].

Solov'ev, V. S. (1988) “Smysl lyubvi” [“The Meaning of Love”], in Solov'ev, V. S. *Sochineniya: v 2 tomakh. Tom 2* [Works: 2 vols. Vol. 2]. Comp., general ed. and introduction by A. F. Losev and A. V. Gulyga; notes by S. L. Kravets *et al.* Moscow: Mysl' Publ., pp. 493–547. (Filosofskoe nasledie [Philosophical Heritage]).

Tikhanov, G. (1996) “Bakhtin, Lukach i nemetskii romantizm” [“Bakhtin, Lukach and German Romanticism”], *Dialog. Karnaval. Khronotop* [Dialog. Carnival. Chronotope], (3), pp. 117–142.

Frank, S. L. (1992) “Svet vo t'me. Opyt khristianskoi etiki i sotsial'noi filosofii” [“Light in the Dark. The Experience of Christian Ethics and Social Philosophy”], in Frank, S. L. *Dukhovnye osnovy obshchestva* [Spiritual Foundations of Society]. Moscow: Respublika, pp. 405–470.

Shklovskii, V. (1983) “Gorod nashei yunosti” [“The City of our Youth”], in *Vospominaniya o Yurii Tynyanove. Portrety i vstrechi* [Memories of Yuri Tynyanov. Portraits and Meetings]. Comp. by V. A. Kaverin. Moscow: Sovetskii pisatel' [Soviet Writer], pp. 5–37.

Gerigk, H.-J. (2018) *Georg Lukacs und Hegel. Anmerkungen zur "Theorie des Romans"*. Heidelberg: Mattes Verlag.

Decker, Cl. (1937) "Victorian comment of Russian realism", *Publications of the Modern Language Association of America*, (2), pp. 502–555.

Lukács, G. (1914) "[Rez.] Th. G. Massarik. Zur russischen Geschichts-und Religionsphilosophie. 2 Bde. Jena: Eugen Diederichs, 1913", *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 38(3), S. 871–875.

Lukács, G. (1916) "[Rez.] W. Solovjeff. Die Rechtfertigung des Guten. Ausgewählte Werke. Bd. 1–2. Jena: Eugen Diederichs, 1916", *Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik*, 42(3), S. 978–980.

Lukács, G. (1920) *Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik*. Berlin: Paus Cassirer.

Lukács, G. (1952) "Der Befreier", in Lukács, G. *Der russische Realismus in der Weltliteratur*. Berlin: Aufbau-Verlag. S. 261–309.

Lukács, G. (1955) "Der Briefwechsel zwischen Anna Seghers und Georg Lukács, Probleme des Realismus", in Lukács, G. *Probleme des Realismus*. Berlin: Aufbau-Verlag, S. 241–270.

Lukács, G. (1955) *Der historische Roman*. Berlin: Aufbau-Verlag.

Smirnov, I. (2015) "Absentia-in Praesentia; Praesentia-in Absentia; Praesentia (Drei Epochen der neuesten Ideengeschichte)", *Wiener Slawistischer Almanach*, 76, S. 171–180.

Информация об авторе: Алексей Иосифович Жеребин — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой зарубежной литературы Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Адрес: Российская Федерация, 191186, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48.

Information about the author: Alexej I. Zherebin — DSc in Philology, Professor, Head of Department of Foreign Literature at the Herzen State Pedagogical University of Russia. Address: 48 Moika Embankment, St. Petersburg, 191186, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 28.12.2022;
одобрена после рецензирования 01.03.2023;
принята к публикации 10.03.2023.

The article was submitted 28.12.2022;
approved after reviewing 01.03.2023;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 168–202.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 168–202.

Научная статья / Original article

УДК 821.161.1

doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-168-202

ГЕРОЙ ВРЕМЕНИ: «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ» В ЗЕРКАЛЕ ГИДРОНИМИКИ

Михаил Павлович Одесский
Российский государственный
гуманитарный университет,
Москва, Россия, modessky@mail.ru



Давид Маркович Фельдман
Российский государственный
гуманитарный университет,
Москва, Россия, dmfeld@inbox.ru





Аннотация. Статья посвящена исследованию ранее не рассматривавшихся ассоциативных связей с различными вариантами осмысления термина «русская интеллигенция» в досоветскую и советскую эпохи. Источниковая база — труды историков литературы, художественные произведения, мемуары, эпистолярный жанр.



Ключевые слова: Белинский, Боборыкин, Герцен, Гончаров, Добролюбов, Достоевский, Лермонтов, Лотман, Писарев, Пушкин, Овсянко-Куликовский, Сигал, Сталин, Страхов, Тургенев, Чернышевский, Шпет, публицистика



Ссылка для цитирования: Одесский М. П., Фельдман Д. М. Герой времени: «История русской интеллигенции» в зеркале гидронимики // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 168–202.
doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-168-202.

Literature. Philosophy. Religion

HERO OF TIME:
“THE HISTORY OF THE RUSSIAN INTELLIGENTSIA”
IN THE MIRROR OF HYDRONYMICS

Mikhail P. Odesskiy

The Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia, modessky@mail.ru

David M. Feldman

The Russian State University for the Humanities,
Moscow, Russia, dmfeld@inbox.ru



Abstract. The article is devoted to the study of previously not considered associative links with various variants of understanding the term “Russian intelligentsia” in the pre-Soviet and Soviet eras. Source base works of literary historians, works of fiction, memoirs, epistolary.



Keywords: Belinsky, Boborykin, Herzen, Goncharov, Dobrolyubov, Dostoevsky, Lermontov, Lotman, Pisarev, Pushkin, Ovsyaniko-Kulikovsky, Sigal, Stalin, Strakhov, Turgenev, Chernyshevsky, Shpet, journalism



For citation: Odesskiy, M. P., Feldman, D. M. (2023) “Hero of Time: ‘The History of the Russian Intelligentsia’ in the Mirror of Hydronymics”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 168–202. (In Russ.).
doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-168-202.

Инерция осмысления

Заранее оговорим: в нашу задачу не входит продолжение вялотекущей полемики о понятии «русская интеллигенция». Мы рассматриваем, во-первых, соотношенный с ним механизм литературной типизации. Во-вторых, систему ассоциативных связей, оказавшихся вне сферы внимания полемизировавших.

Как известно, смыслопорождающий механизм литературной типизации сформировался к началу 1840-х годов, и современниками его конструкция считывалась без каких-либо пояснений. Шестьдесят пять лет спустя она трансформировалась, но действовала своего рода инерция восприятия. Характерный пример — монография Д. Н. Овсяннико-Куликовского «История русской интеллигенции. Итоги русской литературы XIX века» (1906).

Отметим специфику построения некогда популярной книги. Материал систематизирован в первую очередь хронологически, основные главы — о героях хрестоматийно известных тогда художественных произведений А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. И. Герцена, И. С. Тургенева, И. А. Гончарова и т. п.

Такой принцип оговорен. Согласно Д. Н. Овсяннико-Куликовскому, его книга — «ряд этюдов по психологии русской интеллигенции XIX века, преимущественно по данным художественной литературы. На первый план выдвигаются тут так называемые “общественно-психологические” типы, каковы Чацкий, Онегин, Печорин, Рудин...»¹.

Общая характеристика объекта исследования дана в предисловии. Автор постулировал: «В культурных странах, давно уже участвующих в развитии мирового прогресса, *интеллигенция*, то есть *образованная и мыслящая часть общества, созидаящая и распространяющая общечеловеческие духовные ценности*, представляет собою, если можно так выразиться, величину бесспорную, ясно определившуюся, сознающую свое назначение, свое призвание».

В России, согласно Овсяннико-Куликовскому, другая ситуация. Она — «как в странах отсталых и запоздалых. Здесь интеллигенция является чем-то новым

¹ Далее цит. по [Овсяннико-Куликовский, 1906].

и необычным, величиною не “бесспорною”, не определившеюся: она созидается и стремится к самоопределению...».

Ставя цель поэтапного исследования «“общественно-психологических” типов» именно в художественной литературе, автор монографии следовал примеру авторитетных критиков. Правда, использовал их методологию применительно к своей концепции — так называемой психологической школы литературоведения. Например, в 1844 году В. Г. Белинский, рассуждая о правдивом изображении отечественной действительности, начинал отсчет с комедии «Горе от ума» и романа «Евгений Онегин»².

Имелось в виду новое литературное направление. Согласно Белинскому, грибоедовская пьеса и пушкинский роман «положили собою основание последующей литературе, были школою, из которой вышли и Лермонтов, и Гоголь».

Белинский развивал тему, обозначенную им еще в 1840 году, когда вышло первое книжное издание лермонтовского романа. Доказывал, что Печорин — «Онегин нашего времени, *герой нашего времени*. Несходство их между собою гораздо меньше расстояния между Онегою и Печорою»³.

Разумеется, были возможны литературные аналогии. К примеру, Н. М. Карамзин и «Рыцарь нашего времени», А. де Мюссе и «Исповедь сына века».

Но Белинский акцентировал внимание читателей на, так сказать, гидронимической переключке фамилий — Онегин и Печорин. В том же ряду Ленский, хоть он и не соотнесен с буквально вычеканенной лермонтовской формулой — «герой нашего времени».

Специфику переключки анализировал Ю. М. Лотман. По его словам, именование дворянского рода могло быть производным от гидронима, если речь шла о водоеме, целиком расположенном на территории имения, а это не относилось к Онеге и Лене. Потому для пушкинских современников Онегин и Ленский — фамилии заведомо вымышленные, лишь «условно русские» (см. [Лотман, 1983, с. 114–115]).

Не так важно в данном случае, у кого Пушкин заимствовал их. Главное, что Белинский рассуждал о «типе», каковым стал Онегин, а позже — Печорин.

Однако в статье 1844 года Белинский утверждал, что и Печорин уже не современен. Вот и лермонтовская книга — «роман времени, от которого мы уже далеки».

Речь шла о «типах», соотнесенных с литературным направлением, сформировавшемся в 1840-х годах. Позже его именовали русским реализмом. Объем и

² Далее цит. по [Белинский, 1844].

³ Далее цит. по [Белинский, 1840].

содержание понятия трансформировались, но в ряде случаев мнения исследователей совпали (ср. [Введение ... , 2020]).

Исследователями признано, во-первых, что теоретические сочинения писателей не содержат адекватное самописание русского реализма. Тут неприменим опыт изучения деклараций классицистов, сентименталистов, романтиков или модернистских фраппирующих манифестов. Основной материал — работы критиков: 1840-е годы знаменуются ростом их мировоззренческой роли, что совпало с наступлением «журнального века».

Во-вторых, признано, что для теории русского реализма, основоположником которой стал Белинский, базовым понятием был «образ» или «тип», он же «характер». Так и формировалась традиция — на терминологическом уровне.

Кстати, тогда же в российский обиход входит сам термин «реализм». Он, согласно мнению ряда исследователей, впервые использован П. В. Анненковым — в статье «Заметки о русской литературе прошлого года» (1849)⁴.

Речь шла о сформировавшемся к 1848 году направлении. Анненков утверждал: «Появление *реализма* в нашей литературе произвело сильное недоумение, которое уже пора объяснить».

Курсив привлекал внимание читателей к термину «реализм», а совокупность художественных произведений, им охватываемых, была, согласно Анненкову, известна, так что требовалось лишь уточняющее истолкование. В дальнейшем критики и предлагали интерпретации установок, соотносимых с «реалистической литературой».

Бесспорна связь этих установок с немецкой философией. Однако следует учитывать и сказанное Г. Г. Шпетом о специфике философских суждений основоположника традиции [Шпет, 2009, с. 177].

Согласно Шпету, из немецкой философии Белинский заимствовал лишь то, что применимо к задачам не собственно философским, а социальным, которые он ставил и решал посредством литературной критики. Вот почему вольно интерпретировал заимствованное.

Последователи Белинского тоже обсуждали только персонажей — на уровне социальной детерминированности. Можно сказать, трансплантировали их в реальность, игнорируя художественную систему или, по выражению того времени, архитектонику.

Исключения были редки. К примеру, ни на кого не похожий А. А. Григорьев. Но и он не формулировал как программный лозунг задачу изучения пресловутой архитектоники.

⁴ Далее цит. по [Анненков, 1849].

Потому особенно важна статья Анненкова. Он, позиционируя себя как последователя Белинского, определил специфику типизации: «Кому могло прийти в голову, что литературная деятельность наша изберет преимущественно два типа для своих представлений и, довольная находкой, выкинет за черту весь остальной мир».

Указанные «два типа» — «герой нашего времени» и «маленький человек». По Анненкову, типизация необходима, ограничение же неуместно.

Споры о «типах» продолжались десятилетиями. Наиболее интересны в данном аспекте три примера.

Так, анализируя роман «Обломов», опубликованный в 1859 году, Н. А. Добролюбов рассматривал заглавного героя именно в качестве «типа». Соответственно, озаглавил статью: «Что такое обломовщина?» [Н-бов, 1859].

Добролюбов, как известно, сопоставлял Обломова с героями Пушкина, Лермонтова, Герцена, Тургенева. В итоге объявил символом крепостничества.

Вскоре статью о том же романе опубликовал А. В. Дружинин. От него читатели могли бы ждать полемики с леворадикальным интерпретатором «Обломова» [Ред(актор), 1859].

Но сам подход Добролюбова к анализу романа — персонажи в ущерб архитектонике — не вызвал протеста у Дружинина. Он лишь вывод оспорил, доказывая, что Обломов надлежит считать не символом крепостничества, а «типом» европейского чудака, весьма обаятельного, но темпу современной жизни не соответствующего.

Двадцать лет спустя о романе «Обломов» рассуждал сам автор. Подведением итогов была статья «Лучше поздно, чем никогда» (1879)⁵.

Подход к анализу не изменился. Так, постулировалось: «Художник мыслит образами», — сказал Белинский, — и мы видим это на каждом шагу, во всех даровитых романистах».

Дежурным стал термин, обозначающий типизацию. По словам Гончарова, он, характеризуя Обломова, «инстинктивно чувствовал, что в эту фигуру вбираются мало-помалу элементарные свойства русского человека — и пока этого инстинкта довольно было, чтобы образ был верен характеру».

Критики, согласно Гончарову, не сумели верно оценить роман. Тенденциозность мешала. Меж тем «образ поглощает в себе значение, идею; картина говорит за себя, и художник часто сам увидит смысл — с помощью тонкого критического истолкователя, какими, например, были Белинский и Добролюбов».

⁵ Далее цит. по [Гончаров, 1879].

Закономерно, что самыми авторитетными критиками признаны Белинский и Добролюбов. Политические разногласия с ними были Гончарову не так важны, как общность теоретического инструментария.

Разве что Д. И. Писарев не был назван в числе авторитетных критиков. Но и это закономерно: его откровенный антиэстетизм шокировал многих.

Итак, теория «русского реализма», формировавшаяся критиками, была ими редуцирована к совокупности «образов», то есть «типов» или «характеров». Преимущественно — героев времени, на чем и акцентировал внимание читателей Овсянико-Куликовский.

Случайности и закономерности

Хронологически систематизируя главы о героях времени, Овсянико-Куликовский учитывал также изменения политического контекста. Современникам пояснения не требовались.

Чацкий, согласно Овсянико-Куликовскому, относится к «типам» конкретного периода александровского царствования. Хронологические рамки — «от 1812 до половины 20-х годов».

Онегин как младший современник Чацкого относится к поколению, взрослевшему уже в послевоенную пору. Но и он из «людей двадцатых годов».

Речь шла о периоде, который предшествовал николаевскому царствованию. Ну а Печорин — из «поколения 30-х годов».

Упоминания о перекличке фамилий Онегин, Ленский и Печорин стали общим местом в литературоведении. При этом с гидронимикой не соотносится грибоедовская пьеса, от которой Белинский вел отсчет при характеристике нового литературного направления.

Сама фамилия Чацкий признана «говорящей», но ее происхождение стало предметом споров, не завершенных и ныне. При соотнесении же с гидронимами в пушкинском романе можно обнаружить некую общность: Чацкая протока соединяет реки Обь и Томь, причем обе — северные, как Лена и Онега.

Нельзя сказать определенно, подразумевал ли Грибоедов гидроним в качестве основы для фамилии героя и ориентировался ли Пушкин на такой пример. Зато бесспорно, что Лермонтов использовал пушкинский образец. Но Печориным гидронимический ряд не завершился.

Так, в 1845–1846 годах печатался роман «Кто виноват?». Большинство фамилий там заведомо вымышленные, но примечательна та, что Герцен дал главному герою. Как «тип» русского интеллигента Овсянико-Куликовский характеризовал дворянина Бельтова, ну а Большой Бельт и Малый Бельт — проливы Балтийского моря.

Допустимо, что и это лишь совпадение. Если нет, словообразовательная модель, использованная Герценом для фамилии героя, сходна с лермонтовской.

В 1847 году опубликован роман «Обыкновенная история», и два его главных героя, потомственные дворяне — Адуевы. При этом есть река Адуй, а вот дворянской фамилии, придуманной романистом, нет в «Русской родословной книге» А. Б. Лобанова-Ростовского [Лобанов-Ростовский, 1895].

Повесть «Рудин» опубликована в 1856 году, позже ей дано иное жанровое определение — «роман». Фамилии заглавного героя, потомственного дворянина, тоже нет в «Русской родословной книге», зато есть река Руда.

Можно и это признать совпадением. Только и оно — не последнее.

Заглавного героя романа «Обломов» автор позиционировал как представителя старинного дворянского рода. Но такой фамилии опять нет в «Русской родословной книге», зато есть река Обломна.

В 1859 году опубликован тургеневский роман «Дворянское гнездо», и главный герой, потомственный дворянин, помещен Овсяннико-Куликовским в галерею представителей «русской интеллигенции». Но фамилия Лаврецкий — польская и не исконно дворянская. Тут вновь уместна гидронимическая ассоциация: река Лавра.

Да, неизвестно, видел ли Герцен до 1845 года Большой Бельт и Малый Бельт, нет сведений о путешествии Тургенева по Руде и Лавре, аналогично — о пребывании Гончарова у берегов Адуя и Обломны. Так ведь и Пушкин в Сибирь не ездил. Зато все они, давая фамилии героям, не могли не учитывать реакцию по-дворянски обидчивых современников, отыскивавших в художественных произведениях намеки на «лица».

Бельтов, Рудин и Лаврецкий, согласно Овсяннико-Куликовскому, относятся к одному поколению. Это «люди сороковых годов».

Положение Обломова в этой классификации более сложное. Он, в отличие от Рудина и Лаврецкого, «человек не 40-х, а 50-х годов».

Но, судя по роману, Обломов умер на исходе 1840-х годов и повествование не завершается смертью заглавного героя. Овсяннико-Куликовский ориентировался на дату публикации.

Похоже, Овсяннико-Куликовского увлекла идея систематизации по десятилетиям. Ее логика подсказывала, что за «людьми сороковых годов», бездеятельными или своего дела не нашедшими, должно прийти новое поколение, соотносимое с началом эпохи реформ.

Согласно Овсяннико-Куликовскому, черты эпохи отразил впервые опубликованный в 1862 году роман «Отцы и дети». Ее символом стал Базаров — «как отрицатель и как общественно-психологический тип».

Эта фамилия не позиционировалась в качестве аристократической, ведь лишь отец Базарова выслужил чин, дающий право на дворянство. Но связь с гидронимом есть: река Базар, например.

Другой представитель нового поколения, Кирсанов-младший — из старинного рода, а в «Русской родословной книге» такой фамилии нет. Она распространенная, среди ее носителей были и дворяне, но отнюдь не родовитые. Гидронимические ассоциации предсказуемы: река Кирса.

Пусть все это опять совпадения. Однако случайности в силу их частотности похожи на проявления закономерности.

Кстати, дворянку Одинцову полюбил Базаров, а одним на Русском Севере называют большой обломок скального берега реки, лежащий в ее русле. Для судоходства — опасность.

Примечательны и карикатурные двойники Базарова. У Ситникова, купеческого сына, фамилия типичная для его сословия, что нельзя сказать о дворянке и помещице Кукшиной. Зато есть тут связь с гидронимом: река Кукша.

Овсяннико-Куликовский не рассматривал карикатуры на Базарова. Но вне рассмотрения оказались и базаровские младшие современники-единомышленники, то есть герои опубликованного в 1863 году романа Н. Г. Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях».

Такое решение Овсяннико-Куликовский обосновал. По его словам, книга Чернышевского — «публицистический трактат, изложенный в беллетристической форме. Действующие лица романа — не типы, не характеры, они поэтому и не подлежат психологическому анализу».

Обоснована и правомерность упоминаний о знаменитой книге. По словам Овсяннико-Куликовского, она лишь постольку интересна, поскольку отразила «черты идеологии и умонастроений 60-х годов».

При этом отношение к Чернышевскому — почтительное. Он, Белинский и Добролюбов, согласно Овсяннико-Куликовскому, «праведники, творившие мораль, донныне нас животворящую».

Вне рассмотрения оказалась и литературная полемика о «новых людях». Например, популярный роман П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя», опубликованный в 1868 году. Среди героев есть и базаровские единомышленники, и карикатурно изображенный «человек сороковых годов», аристократ Домбрович.

Как известно, Боборыкин — из старинной дворянской семьи. Поэтому фамилии героев-дворян выбирал с осторожностью: рода Домбровичей нет среди русских аристократических. Допустимо, что автор взял за основу польскую

фамилию Домбровский, образованную от слова *dąbrowa*, то есть дубрава. Но уместна и ассоциация с гидронимом — река Домбра.

Вне «Истории русской интеллигенции» оказался роман «Преступление и наказание», опубликованный в 1866 году. Применительно к нашей теме интересна своего рода игра Достоевского с фамилиями.

Так, сословная принадлежность студента-юриста Раскольников не определена, и считается, что его фамилия обозначает специфику характера. Но есть и гидронимическая ассоциация — река Раскол.

Единственный друг Раскольникова сам характеризует себя. Указывает, что он — сын дворянина, студент, и не Разумихин, как его называют приятели, а Вразумихин.

Автохарактеристика лишь дополняла сказанное ранее повествователем. Но раз уж друга Раскольникова называют Разумихиным, уместна гидронимическая ассоциация: река Разумная.

Примечательна и фамилия раскольниковского недруга, чиновника Лужина. Она тоже провоцирует гидронимические ассоциации: река Лужа.

Эти совпадения тоже можно признать случайными, да мы и не утверждаем, что налицо строгая закономерность. Скорее тенденция, проявляющаяся более или менее регулярно до 1870-х годов.

Рубежным, согласно Овсяннико-Куликовскому, стал опубликованный в 1890 году боборыкинский роман «На ущербе». Среди героев — «типы» интеллигентов эпохи Александра III.

Боборыкин в этом романе обошелся без игры с фамилиями. Как устаревшая норма поведения воспринималась на исходе 1880-х годов дворянская — гипертрофированная — обидчивость.

Галерея «лишних»

Вернемся к предложенной Овсяннико-Куликовским последовательности героев времени. Она провоцировала споры о понятии «русская интеллигенция».

Споры Овсяннико-Куликовский игнорировал. По его словам, «в странах отсталых и запоздалых интеллигенция то и дело прерывает свою работу недоуменными вопросами вроде: “что же такое интеллигенция и в чем смысл ее существования?”, “кто виноват”, что она не находит своего настоящего дела?, “что делать?”...»

Ироническое отношение к полемике тут несущественно. Главное, что галерея представителей «русской интеллигенции» начинается с Чацкого, который позиционирован как «типичный образ мыслящего и передового человека того времени».

Пусть так — в аспекте психики. Но дворянин Чацкий, послужив недолго в полку, отверг службу и военную, и статскую, а это не вполне типичный случай для периода «от 1812 до половины 20-х годов».

Далее — Онегин. Вот и он, «как Чацкий, прежде всего представитель образованного общества 20-х годов, именно той его части, в которой по преимуществу сосредоточивалось брожение и движение умов в ту эпоху».

Но Онегин вовсе не служил. Для его эпохи и социальной страты это нетипичный случай, что Овсяннико-Куликовский не мог не знать.

Он и выбрал другой критерий. В случаях Чацкого и Онегина типично критическое отношение к службе, единственно возможному тогда пути социальной реализации потомственного дворянина.

Согласно пьесе, Чацкий не обсуждает, чем он занят. Одну из догадок предложил Григорьев, чья статья опубликована в 1862 году⁶.

Это, можно сказать, панегирик Чацкому. Он, по Григорьеву, «до сих пор единственное героическое лицо нашей литературы».

Далее обозначены причины, обусловившие такую характеристику. Григорьев настаивал: «Чацкий прежде всего — честная и деятельная натура, притом еще натура борца, то есть натура в высшей степени страстная».

Из контекста явствовало, с чем была возможна борьба. Жертвы ее, согласно Григорьеву, адресаты пушкинского стихотворения, оказавшиеся в сибирских рудниках — «мрачных пропастях земли».

Уже допустимыми стали позитивные оценки тех, кого ранее официально именовали государственными преступниками. Но фамилии осужденных, помилованных новым императором, упоминать еще не полагалось, и Григорьев именовал декабристов «падшими борцами».

Далее следовало хронологическое уточнение. Чацкий, «кроме общего своего героического значения, имеет еще значение историческое. Он — порождение первой четверти русского XIX столетия...».

Григорьев использовал лишь намеки, в герценовской традиции обозначая связь подвига воинского с гражданским. Соответственно, Чацкий — «товарищ людей вечной памяти двенадцатого года, могущественная, еще глубоко верящая в себя и потому упрямая сила, готовая погибнуть в столкновении с средою, погибнуть хоть бы из-за того, чтобы оставить по себе “страницу в истории”...».

Интерпретация спорная. Ее Овсяннико-Куликовский принял лишь отчасти, дистанцированно характеризуя герценовскую традицию — «на деятелей 20-х годов смотреть сквозь призму героической легенды...».

⁶ Далее цит. по [Григорьев, 1862].

Овсяннико-Куликовский доказывал, что стремится к объективности. Привел дежурный пример: «Грибоедовский Репетилов именно своею карикатурностью служит живым свидетельством того, как много было нелепой накипи в замечательном движении передовых людей эпохи 1815–1825 годов».

По Овсяннико-Куликовскому, суть не в «накипи». Главное, сам «тип» Чацкого характеризует «умственный облик поколения, которое призвано было учиться и просвещаться за всю Россию, в противоположность следующему поколению, призванному мыслить и страдать муками самосознания».

Впрочем, Овсяннико-Куликовский подчеркивал, что рефлексия, замещающая дело, не всегда обусловлена социальными факторами. Порою они лишь усиливают влияние черт характера, в силу которых у онегиных не формировались навыки «труда».

Характеризуя заглавного героя пушкинского романа, Овсяннико-Куликовский использовал термин именно тургеневский. Утверждал, что Онегин «был истинным “родоначальником лишних людей”...».

Речь шла о литературных героях, не сумевших найти область социальной реализации. По выражению Овсяннико-Куликовского, им не удалось «осуществить свою общественную стоимость».

За Онегиным — Печорин. Оба, согласно Овсяннико-Куликовскому, «принадлежат к одному и тому же общественно-психологическому типу. Это — тип неудачника и лишнего человека. Их индивидуальные различия только ярче оттеняют их общественно-психологическое родство».

Но в аспекте социального поведения «различия» важны. Все же Печорин, герой «30-х годов», служил, причем в столице. Правда, служба его разочаровала, и на Кавказ он был переведен в качестве так называемого штрафного, потому отставки сумел добиться не вскоре.

О «различиях» Овсяннико-Куликовский лишь упомянул. По его концепции, «родство» важнее: лермонтовский герой «не в состоянии найти себе подходящую деятельность на каком бы то ни было официальном поприще, ни на Кавказе, ни в Петербурге».

У двух героев времени общая причина неудач. Что и подчеркнул Овсяннико-Куликовский: «В эпоху, когда общественной деятельности, в собственном смысле, не существовало, а была только “служба”, уже являлись люди, для службы непригодные, но зато имевшие известные задатки для общественной деятельности. И в этом — и интерес, и трагизм этого типа. За отсутствием подходящего поприща, за неупражнением, эти задатки не развивались, атрофировались или извращались».

Так Овсяннико-Куликовский характеризовал эпоху онегиных и печоринных. Соотносил характеристику с явно пейоративным оттенком понятия «наше время» в лермонтовском романе.

Бельтов — тоже «лишний человек». Этот «тип», по словам Овсяннико-Куликовского, соответствует политической ситуации «перепутья от 30-х к 40-м».

Характеристика «лишнего человека» коррелируется с вопросом, который вынесен в заглавие герценовского романа. Один из возможных ответов тут же предложен: «Добролюбов, который питал как бы органическое отвращение к типу “людей 40-х годов” — ко всем этим Бельтовым, Рудиным и т. д., — сказал бы нам, что “виноват” прежде всего сам Бельтов, “виноват” тем, что он — барин, баловень, белоручка, человек без выдержки, неспособный к труду...»

С такой оценкой спорил Овсяннико-Куликовский. Настаивал, что герой романа Герцена, выпускник университета, оказался чужим в русском провинциальном городе, и там его ненавидят «именно как человека просвещенного и передового».

Но Овсяннико-Куликовский не оправдывал тургеневского Рудина. Характеристика резкая: «Дилетант мысли и благородных чувств...»

Далее — общий вердикт. По Овсяннико-Куликовскому, в заглавном герое тургеневского романа отражены черты поколения «русской интеллигенции»: «“Люди 40-х годов” много учились, читали, много мыслили и много разговаривали, разговаривали гораздо больше своих предшественников и своих преемников».

В нескончаемых разговорах иссякла социальная активность большинства «людей 40-х годов». Итог неутешителен: «“Слово” было их “дело”. Взамен того в практической деятельности — даже в узких пределах возможного и доступного тогда — они обнаруживали невыдержанность, неумелость, отсутствие деловитости и инициативы».

Зато отношение к Лаврецкому снисходительное. Он, научившись управлять помещичьим хозяйством, сумел еще и улучшить быт своих крепостных, а коль так, «не бесплодна его работа, и его жизнь, несомненно, получила и смысл, и общественное значение...».

Иное отношение к заглавному герою романа Гончарова. Оправданий нет: «От лучших людей 40-х годов Илья Ильич Обломов резко отличается тем, что не только не может и не умеет, но и не хочет “действовать”».

Значит, у «лучших» из «лишних» было желание «действовать», пусть и нечасто реализованное. Обломова же следует рассматривать как *«эпигона или, пожалуй, выроodka людей 40-х годов»*.

Аргументация приведена. Согласно Овсяннико-Куликовскому, «самое резкое отличие Обломова от идеалистов 40-х годов — это то, что он крепостник. Те только вырастали на лоне крепостного права (и то не все) и невольно усваивали себе привычки барской избалованности и некоторые — соответственные — замашки. Но они хорошо сознавали и живо чувствовали все зло и безобразие крепостного права, они его отрицали в принципе и нередко отказывались от сопряженных с ним “прав и преимуществ”. Илья Ильич — крепостник до мозга костей, крепостник и по привычкам, и по убеждению».

Для Овсяннико-Куликовского «тип» Обломова — экстремум. Совокупность негативных черт предреформенной «русской интеллигенции», хоть сам по себе герой романа Гончарова «на редкость хороший и чрезвычайно симпатичный человек».

Итоги анализа укладывались в имплицитно соотносимую с поражением декабристов концепцию противопоставления «службы» и «общественной деятельности». У энергичных чацких была гипотетическая перспектива изменить государственный строй, обеспечив себе новый путь социальной реализации, возможность легально участвовать в политике. Но онегины, а за ними и печорины — в ситуации бесперспективности. Аналогичным оказалось положение бельтовых и рудиных, пусть несколько позже. Только лаврецкие обрели, наконец, «общественное значение», да и то лишь в качестве рачительных помещиков. Следующий вариант — по степени разложения — патологически безвольные обломовы.

Применительно к заявленной нами теме интересны колебания масштабов на уровне гидронимики. Невелика Чацкая протока, не сравнить ее с Онегой и Печорой, зато двум гигантам уступают проливы Большой Бельт и Малый Бельт, а Руда, Лавра, Обломна — реки небольшие. Тут и аналогия напрашивается: от «30-х годов» мельчали герои времени, представители «русской интеллигенции».

В ожидании настоящего

Тургенев, согласно Овсяннико-Куликовскому, ставил задачу изображения героя времени. Решал ее поэтапно.

С этой концепцией хотя бы отчасти коррелируется проблематика романа «Накануне» (1860). Заглавие — намек: вскоре начнется Крымская война, приближается новая эпоха. Ее приближение чувствует героиня романа.

Двадцатилетняя наследница поместья Елена Стахова весьма скептически относится к своим поклонникам-дворянам: пусть каждый образован, умен, обаятелен, даже выбрал свое «дело», профессию, да только и выбранное не воспринимают они в качестве жизненной цели. Энергия, упорство им не свой-

ственны даже в области личной. Их противоположность — болгарский эмигрант Инсаров, жизнь посвятивший борьбе с турецким владычеством. Он и стал избранником героини, отправившейся с ним освободить Болгарию.

Применительно к заявленной нами теме важна статья Добролюбова, опубликованная в 1860 году. Печаталась она как рецензия, затем ей дан отражающий прагматику заголовок: «Когда же придет настоящий день?»⁷.

Согласно Добролюбову, новый тургеневский роман — не только о «лишних людях». Потому и уместен вопрос: «Но почему же Инсаров не мог быть русским?»

Добролюбов ответ дал. Посредством намека: «В русском переводе Инсаров выйдет не что иное, как разбойник, представитель “противообщественного элемента”».

Намек был понятен современникам. Борьба за свободу в Российской империи — противодействие режиму. По Добролюбову, ясна и причина, в силу которой Елена не желает даже после смерти мужа вернуться на родину: «Где для нее там цель жизни, где жизнь?»

Однако вывод оптимистичен. Согласно Добролюбову, общество уже осознает, что «нужен человек, как Инсаров, — но русский Инсаров».

Таких, утверждал Добролюбов, еще нет. По его словам, «общественная среда до сих пор не благоприятствовала их развитию. И вот от нее-то, от этой среды, от ее пошлости и мелочности и должны освободить нас новые люди, которых появления так нетерпеливо и страстно ждет все лучшее, все свежее в нашем обществе».

Сказанное Тургеневым и Добролюбовым о национально-освободительном движении в Болгарии приблизительно, да и сама фамилия Инсаров — не из типично болгарских. Зато она соотносима с гидронимом: река Инсар, конечно же, русская. Вот и пример для нового героя времени — в Российской империи.

Что до «среды», то Добролюбов намекал на ужесточение российской внутренней политики в связи с чередой западноевропейских революций 1848–1849 годов. Начался так называемый период реакции, в историографии названный «мрачным семилетием».

Прежний энтузиазм левых радикалов сменился тогда разочарованием. Западноевропейские события обусловили, например, мировоззренческий кризис Герцена.

Однако после неожиданного для многих поражения России в Крымской войне началось царствование Александра II, шла подготовка к масштабным

⁷ Далее цит. по [Добролюбов, 1860].

реформам, и разочарование сменилось надеждой. Потому и неудачи западно-европейских революций воспринимались в качестве искупительных жертв, неизбежных при борьбе с тиранией.

Вот и Тургенев, не бывший герценовским единомышленником, добавил в 1860 году к роману о Рудине эпилог. Заглавный герой, как известно, погиб в Париже, защищая баррикаду мятежников. Так что «лишний человек» нашел свой путь: хоть и не на родине, а сражался за правое дело. Пусть заведомо безнадежное тогда, важнее другое: «неудачнику», чья жизнь оказалась чередой отречений, дана почетная воинская смерть — в бою, под знаменем.

Такой финал не без иронии характеризовал Овсяннико-Куликовский. По его словам, «Онегин и Печорин скучали, “прожигали жизнь” и скитались, Рудин “душою скитался”, маялся и погиб в Париже на баррикадах. Но уже Лаврецкий “сел на землю” и как-никак “пахал ее” и нашел “пристанище”».

Вот только «пристанище» это — социальная роль дореформенного помещика, рабовладельца. Оптимизированный вариант гоголевского Собакевича.

Автор «Истории русской интеллигенции», рассуждая о «пристанище», солидаризовался, надо полагать, невольно, с одним из героев антимонархического фельетона А. В. Амфитеатрова «Господа Обмановы» (1902). Как раз тот и восклицал: «Дворянское первое дело — на земле сидеть-с! Да-с! Хозяином быть-с!» [Амфитеатров, 1902].

Рудинский финал был предпочтительнее многим современникам Герцена и Тургенева. Потому и Добролюбов рассуждал о «русском Инсарове», который должен появиться в ситуации ожидания перемен.

Ожиданием задана и специфика восприятия романа «Отцы и дети». Как хвалившие, так и бранившие его признавали: он — правдиво или заведомо пристрастно — отразил тенденции рубежа 1850–1860-х годов, периода, когда разворачивается действие⁸.

Знаменательно, что поколение «детей» представляет в первую очередь студент Базаров. Согласно автохарактеристике, «будущий лекарь, и лекарский сын, и дьячковский внук...».

Медициной увлечен и окончивший юридический факультет Кирсанов, хотя в его среде лекарское дело традиционно признавалось занятием отнюдь не дворянским. Но это соответствовало духу времени: как отметил Овсяннико-Куликовский, после Крымской войны «явственно обозначился особый интерес к естествознанию».

⁸ Далее цит. по [Тургенев, 1862].

Разумеется, причины не сводимы к «интересу». Естественнонаучные специализации гарантировали хотя бы относительную независимость от правительства: инженер ли, медик ли востребованы и вне службы.

Да, скептическое отношение к службе свойственно и героям времени в николаевское царствование. Ново другое: беседуя с базаровским отцом, Кирсанов утверждает, что сын отставного штаб-лекаря станет известным медиком, и все же не в медицине Базарову-младшему суждена «великая будущность».

Кирсанов не сообщил, в какой области прославится его приятель. Лишь отметил: «Это трудно сказать теперь, но он будет знаменит».

Не объяснено в романе, почему возникли подобного рода трудности. Объяснением нельзя признать и ссылки интерпретаторов на цензуру. Зато сам Базаров недвусмысленно формулирует свое отношение к проблеме благосостояния крестьянина: «Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?»

Отсюда еще не следует, что студент-медик равнодушен к политике. Не случайно ранее отец его рассказывал сыну и Кирсанову о службе, когда «в каких только обществах не бывал, с кем не важивался! Я, тот самый я, которого вы изволите видеть теперь перед собою, я у князя Витгенштейна и у Жуковского пульс щупал! Тех-то, в южной-то армии, по четырнадцатому, вы понимаете (и тут Василий Иванович значительно сжал губы), всех знал наперечет».

Речь шла о заговорщиках, арестованных «по четырнадцатому» декабря 1825 года в «южной» 2-й армии. П. Х. Витгенштейн был тогда командующим.

Однако к заговору не имел отношения М. С. Жуковский — генерал-интендант. На этой должности его сменил А. П. Юшневский, ставший другом лидера «южан» П. И. Пестеля, впоследствии осужденный, прошедший каторгу, сосланный в Сибирь и умерший там.

Неважно, ошибся ли сам Тургенев или по его воле ошибся рассказчик. Главное, намеки для современников были прозрачными.

Отец Базарова подчеркнул, что сам он к «четырнадцатому» не имел отношения. Даже и не хотел иметь: «Ну, да ведь мое дело — сторона; знай свой ланцет, и баста!»

Иное целеполагание у студента-медика. Приятелю, выбравшему путь отца-помещика, Базаров объясняет, что выбор закономерен — «для нашей горькой, терпкой, бобыльной жизни ты не создан. В тебе нет ни дерзости, ни злости, а есть молодая смелость да молодой задор; для нашего дела это не годится».

Не объяснено в романе, что за «наше дело» и кто занят им вместе с Базаровым. Однако, прощаясь с Кирсановым, студент-медик дает совет: «А ты по-

скорее женись; да своим гнездом обзаведись, да наделай детей побольше. Умницы они будут уже потому, что вовремя они родятся, не то, что мы с тобой».

Студент-медик полагает, будто родился не «вовремя». Ну а позже, заболев, уже бредя, говорит, что он России не нужен, в отличие от сапожника или мясника. Почему так — не объяснено в романе. Зато позже Тургенев в одном из писем объяснил, что для него Базаров — «революционер»⁹.

О сочувствии писателя конкретным леворадикальным сообществам речь не шла. Базаров, по Тургеневу, задуман как «фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная — и все-таки обреченная на гибель, — потому, что она все-таки стоит еще в преддверии будущего...».

Овсяннико-Куликовский выразил мнение, противоположное тургеневскому. Утверждал, что Базаров «не вышел типичным революционером. У него есть только задатки для революционной деятельности...».

Свое мнение Овсяннико-Куликовский аргументировал. По его словам, у скептика и мизантропа Базарова нет «вкуса к пропаганде и партийной деятельности. Во всякой партии ему будет тесно и скучно. Какой же он революционер?».

Очередному герою времени оценка дана — «общественно-психологическая». Его психика не соответствовала представлениям интерпретатора о той, что свойственна революционерам.

Задачник с решебником

Базаров, согласно Овсяннико-Куликовскому, не «разрушитель», а лишь «отрицатель». Мнения подобного рода формулировали и некоторые современники Тургенева.

Иные мнения Овсяннико-Куликовский игнорировал. К примеру, сказанное Писаревым в статье «Базаров», опубликованной вскоре после издания романа «Отцы и дети»¹⁰.

Писарев, разумеется, следовал традиции, заложенной Белинским. Утверждал, что «надо показать, в каких отношениях находится Базаров к разным Онегиным, Печориным, Рудиным, Бельтовым и другим литературным типам, в которых, в прошлые десятилетия, молодое поколение узнавало черты своей умственной физиономии».

Заведомо иронично отношение к «другим литературным типам». Но вывод оптимистичен. Согласно Писареву, «у Печориных есть воля без знания, у

⁹ Здесь и далее цит. по [Тургенев, 1884].

¹⁰ Далее цит. по [Писарев, 1863].

Рудиных — знание без воли; у Базаровых есть и знание и воля. Мысль и дело сливаются в одно твердое целое».

Что за «дело» — не объяснено. Подробнее тезисы развернуты в статье «Мыслящий пролетариат» (1865)¹¹.

Как раз тогда в разгаре полемика о романе Чернышевского. Писарев и акцентировал внимание читателей на изменениях литературно-политического контекста: «Над существованием новых людей прежде всех задумался в нашей беллетристике Тургенев. Инсаров был неудачною попыткой в этом направлении; Базаров явился очень ярким представителем нового типа; но у Тургенева, очевидно, не хватило материалов для того, чтобы полнее обрисовать своего героя с разных сторон».

Писарев обозначил преемственную связь романов Чернышевского и Тургенева. Она была очевидна современникам: Кирсанов — однофамилец базаровского приятеля, студент-медик, вместе с ним учится Лопухов, и эта фамилия предсказуемо напоминала ироническое суждение тургеневского героя о собственной участи.

Применительно к базаровскому «делу» Чернышевский указал цель масштабную — создание общества справедливости. Указаны и задачи, которые надлежит решить, чтобы цель была достигнута. Определены алгоритмы решения: от выбора профессии до способов освоения иностранных языков, методик развития физической силы и воспитания непреклонной воли. Используя современную терминологию, можно сказать, что автор романа предложил комплекс ролевых моделей [Фельдман, Щербаков, 2020].

Рахметов, конечно же, «русский Инсаров». Значит, будущий лидер пресловутых народных масс, «особенный человек».

Согласно Писареву, «особенный человек» — бесспорная удача Чернышевского. Отмечено, что «Инсаров остается для нас совершенно неосязательным, между тем как Рахметов совершенно понятен...».

Другой вопрос — происхождение «особенного человека». Он, судя по роману, из старинного дворянского рода, и предсказуемые ассоциации вызывает сама фамилия, обозначающая тюркские корни. Но ее нет в «Русской родословной книге», зато вновь налицо гидронимическая переключка — озеро Рахмет.

Совпадение можно признать случайным. Очередной раз.

Характерно, что жизнь Рахметова, как Базаров и говорил, «бобыльная». Семейная возможна лишь в отдаленной перспективе.

¹¹ Далее цит. по [Писарев, 1865].

У Лопухова примерно та же ситуация. Он помогает Рахметову в главном «деле», потому, уехав из России, возвращается и живет под чужим именем. За рамками повествования осталась конкретика, но современникам Чернышевского хватало и намеков.

Кирсанов, будучи примерным семьянином, преуспевающим врачом и ученым, тоже не отрекся от главного «дела». Он — сотрудник Рахметова и Лопухова.

Чернышевский не пропагандировал какую-либо ролевую модель в качестве единственно достойной. Каждому читателю предлагалось выбрать сильную: рахметовскую, лопуховскую, кирсановскую.

Аналогично решена проблема внесемейной социальной реализации для женщин. Здесь опять предложен выбор.

Спутницей Рахметова может стать выбравшая тот же путь. Значит, она — «особенный человек».

Такое мало кому по силам. Потому Вера Павловна организовала сеть швейных мастерских, предоставлявшую владелице стабильный доход, а работницам — и достойный заработок, и социальные гарантии. Алгоритм ясен: основой равноправия женщины станет ее экономическая независимость.

Если непосильно предпринимательство, остается ролевая модель помощницы Веры Павловны. Женщины, сделавшие такой выбор, тоже вовлечены в социальную деятельность.

Что до этики, то Чернышевский доказывал: худшая женская участь — торговля своим телом. Сообразно этой установке Вера Павловна отвергала навязываемые матерью ролевые модели содержанки или даже «законной» жены нелюбимого мужа-богача. Все одно: проституция.

Фиктивный брак — способ избавиться от родительской власти. Иными отношения Лопухова и Веры Павловны могли стать лишь в силу ее свободного выбора. Алгоритм — помочь женщине, уважая ее права.

Сообразно тому же алгоритму Лопухов поступил, узнав, что жена любила Кирсанова. Инсценировав самоубийство, избавил ее от унижительной процедуры развода.

Внимание читателей акцентируется на том, что к Лопухову у Веры Павловны нет претензий. Ну а Рахметов объяснил героине: ее выбор не противоречит этике «новых людей», наоборот, безнравственно сохранять брак, если нет любви.

Система этических воззрений «новых людей» подробно эксплицирована в романе и применительно к их главному «делу». Ее название — тоже риторический прием: «теория разумного эгоизма».

По Чернышевскому, нет плеоназма в таком названии. Согласно роману, «новые люди» живут в гармонии с собой, делая то, что считают нужным делать, хоть и не для себя, и, если они счастливы, значит, лишь кажутся альтруистами, а на самом деле — эгоисты, только «разумные».

Такая система воззрений провоцировала иронию. К примеру, Н. Н. Страхов в 1865 году утверждал, что эта книга «учит быть счастливым» [Косица, 1865].

Издавна отмечено, что в этической системе «новых людей» не было концептуальной новизны. Однако Чернышевский не скрывал это.

Ему многие критики и литературоведы отказывали в писательском даровании, но лишь немногие утверждали, что он бездарен как пропагандист. Успех «рассказов о новых людях» в немалой мере обусловлен пропагандистским мастерством автора, навыками проповеди, сформированными выучкой более семинарской, чем университетской. Пользуясь гимназическим жаргоном, можно сказать, что роман воспринимался в качестве задачника с решебником.

Модельные аргументы

В нашу задачу не входит спор о книге Чернышевского. Главное, что Овсяннико-Куликовский вывел ее за рамки литературы, ссылаясь на критерий художественности, но им же пренебрегал, рассматривая в аспекте «истории русской интеллигенции» некоторые романы Боборыкина — при весьма скептической оценке дарования автора.

Кстати, обоих писателей сопоставлял Д. С. Философов. Он тоже рассуждал о несоответствии масштабов популярности и дарования [Философов, 1910] (см. также [Щербаков, 2021, с. 63–64]).

Применительно к нашей теме важно предложенное Овсяннико-Куликовским определение самого понятия «интеллигенция». Дифференциальные признаки обозначены. Первый — наличие некоего образования. Второй, разумеется, интерес к проблематике интеллектуального характера. Третий — социальная направленность деятельности или хотя бы намерений.

Этим признакам соответствуют Рахметов, Лопухов, Кирсанов и Вера Павловна. Но они, по Овсяннико-Куликовскому, «не типы».

Полемика о значении самого понятия «тип» непродуктивна. Важно другое: по словам Овсяннико-Куликовского, герои Чернышевского выражают протест, «так сказать, бытовой и моральный. Лопуховы и Кирсановы восстают против устарелых форм быта, семейного и общественного, против традиционной морали, противопоставляя ей новые нравственные понятия».

Но тут и сделана оговорка. Исследователь заявил: «Протест политический, по-видимому, не входил в круг интересов и, так сказать, программу этих новых людей...»

В связи с «программой» Рахметов не упомянут. Иначе утратили бы смысл рассуждения о протесте исключительно «бытовом и моральном».

Овсяннико-Куликовский игнорировал авторскую позицию Чернышевского. Таков был произвол исследователя, произвольно же оставлен вне рассмотрения роман «Преступление и наказание».

При этом автора Овсяннико-Куликовский не характеризовал как исключительно публициста. Наконец, он не мог не знать, что современникам был очевиден публицистический характер интерпретации этики «новых людей» в романе Достоевского.

Интерпретатор, как известно, Лебезятников. Спорно его внешнее сходство с Чернышевским, но важны уничижительные характеристики: пропагандист равноправия «глуповат. Прикомандировался же он к прогрессу и к “молодым поколениям нашим” — по страсти. Это был один из того бесчисленного и разноличного легиона пошляков, дохленьких недоносков и всему недоучившихся самодуров, которые мигом пристают непременно к самой модной ходячей идее, чтобы тотчас же опошлить ее, чтобы мигом окарикатурить все, чему они же иногда самым искренним образом служат»¹².

Так, Лебезятников утверждает, что имел право завершить дракой свой конфликт с женой Мармеладова. Нарушения этических норм нет, «если уж принято, что женщина равна мужчине во всем, даже в силе (что уже утверждают), то, стало быть, и тут должно быть равенство».

Аналогично интерпретируется женская инициатива разрушения семьи. По словам Лебезятникова, одна из его знакомых сообщила «мужу в письме: “Никогда не прощу вам, что вы меня обманывали, скрыв от меня, что существует другое устройство общества, посредством коммун. Я недавно все это узнала от одного великодушного человека, которому и отдалась, и вместе с ним завожу коммуну”».

По Лебезятникову, форма протеста и проституция. Такое социальное поведение «не совсем нормально, потому что вынужденное, а в будущем совершенно нормально, потому что свободное».

Вот и Соня Мармеладова, по Лебезятникову, протестует. Использует «фонд, так сказать, капитал, которым она имела полное право располагать. Разумеется, в будущем обществе фондов не надо будет; но ее роль будет обозначена в другом значении, обусловлена стройно и рационально».

¹² Здесь и далее цит. по [Достоевский, 1973, с. 279–284].

Правда, не сказано, как же она «будет обозначена». Мармеладовой, настаивает Лебезятников, довольно лишь попасть в «коммуну», а там ее «роль» сразу «изменит всю теперешнюю свою сущность, и что здесь глупо, то там станет умно...».

Лебезятников, в отличие от Лужина, не труслив и не подл. Только «глуповат», чем и обоснована комичность интерпретаций. Зато вполне серьезно интерпретировалось целеполагание «новых людей». Оно подразумевало не только саму цель, но и средства ее достижения.

«Четвертый сон Веры Павловны» — визуализация главной цели «новых людей». Правда, средства ее достижения лишь обозначены, когда речь идет о подготовке Рахметова к деятельности вождя. Но современникам хватило и намеков. По совокупности из них следовало: волевому силачу во главе пресловутых народных масс надлежит преобразовать несправедливое устройство общества. Значит, «особенный человек» заранее признал допустимым пролитие чужой крови. Достоевский и полемизировал с Чернышевским о нравственном праве на кровопролитие.

Теория Раскольников и результаты ее реализации — своего рода модель. Она создана военным инженером в полемике с искусным ритором.

Свою теорию Раскольников, как известно, проверил опытным путем. Жертва планировалась единственная, да и та — лишенная атрибутов женственности злодейка, такую вроде бы не жалко. Статус, можно сказать, «особенного человека», имеющего нравственное право на кровопролитие, подтвердило бы отсутствие мук совести, если же появятся, так их компенсирует благотворительность — за счет отобранного у ростовщицы. Получается, что экспериментатор планировал минимизировать расходный материал и максимизировать компенсацию нежелательного эффекта при неудаче эксперимента. В современной терминологии — ставил и решал задачу минимаксную.

Знакова попытка Разумихина доказать, что безнравственно признание допустимости убийства как средства. Сам он убежден: в основе теории Раскольникова — «воззрения социалистов» [Достоевский, 1973, с. 196].

Это спорно. Возвращаясь же к гидронимическим ассоциациям, отметим, что параллельными были течения Разумной и Раскола, а разошлись у теории «крови по совести».

Ее погрешности и выявила инженерная модель. Втрое превышен минимум жертв: убита беременная сестра ростовщицы, значит, погиб и ребенок, идея же благотворительности не реализована. Да и топор — символ крестьянского бунта.

Овсяннико-Куликовский не стал анализировать эту полемику с Чернышевским. Зато Страхов еще в 1867 году утверждал: Достоевским впервые «изо-

бражен нигилист несчастный, нигилист, глубоко, человечески страдающий» [Страхов, 1867].

В данном случае понятие «нигилист» соотнесено с героями романов Тургенева, Чернышевского и Достоевского. На уровне гидронимических ассоциаций — от Базара до Раскола.

Писарев в 1867 году отрицал уместность любых сопоставлений героя Достоевского с пресловутыми нигилистами. Безоговорочно заявил: «Теория Раскольникова не имеет ничего общего с теми идеями, из которых складывается мирозерцание современно развитых людей» [Писарев, 1868].

Согласно Писареву, унижение ницетой обусловило расстройство психики и теорией «крови по совести» больной оправдывал стремление к легкой наживе. Так что лишь с точки зрения клиники интересно, есть ли «такое психическое состояние и верно ли оно изображено в романе Достоевского...».

С Писаревым — по умолчанию — Овсяннико-Куликовский и солидаризовался. Однако интенции тут разные.

Другие очевидности

Писарев свел предложенную Достоевским инженерную модель к диагнозу Раскольникова. Тут Лебезятников оказался лишним.

У Овсяннико-Куликовского аполитичны и Базаров, и «новые люди» из романа Чернышевского, только Рахметова там словно бы нет. Ну а Лебезятников как энтузиаст «коммун» и Раскольников с его теорией, восходящей, по Разумихину, к «воззрениям социалистов», оказались вне «истории русской интеллигенции».

Отсутствия знаковые. Овсяннико-Куликовский пытался доказать: понятия «революционеры» и «русская интеллигенция» не пересекались.

Новизны тут не было. Важно, что Овсяннико-Куликовский, ссылаясь на очевидность, противоречил собственному же определению понятия «русская интеллигенция».

Современники рассуждали о другой очевидности. К примеру, Р. В. Иванов-Разумник, опубликовавший статью «Что такое интеллигенция?» (1907)¹³.

По его словам, один из дифференциальных признаков — именно политического характера. Постулировалось, что «история русской интеллигенции ведет свое начало от группы, впервые поставившей своим девизом борьбу за народное освобождение...».

Далее введен и второй дифференциальный признак. Это «внесловность».

¹³ Далее цит. по [Иванов-Разумник, 1911].

Он и отражал российскую государственную специфику. По Иванову-Разумнику, в стране, где узаконено неравноправие сословий, исторически формировалась оппозиционная внесословная «социально-этическая группа».

В этой концепции хронологические рамки «истории русской интеллигенции» шире предложенных Овсяннико-Куликовским. Согласно Иванову-Разумнику, внесословная «социально-этическая группа» формировалась еще в до-грибоедовскую эпоху.

Введен и третий дифференциальный признак. Это так называемый умственный труд как средство решения социальных задач, соответствующих целеполаганию «русской интеллигенции».

Минуло около полувека, и феномен «русской интеллигенции» анализировал эмигрант Н. М. Зёрнов, чью монографию выпустило британское издательство. Он рассуждал о тех же дифференциальных признаках: внесословном единстве, так называемом умственном труде и «непреклонной оппозиционности»¹⁴.

Согласно Зёрнову, «непреклонная оппозиционность» изначально была существенным признаком. Вот почему «вне интеллигенции стояли те писатели, ученые и художники, которые не вмешивались в политику или не усвоили тех принципов, которыми руководствовалась интеллигенция».

Зёрнов, в отличие от Иванова-Разумника, сузил хронологические рамки «истории русской интеллигенции». Утверждал, что лишь в царствование Александра II появилась эта социальная группа. На уровне же гидронимии — от Базара к Рахмету и далее.

История «русской интеллигенции», согласно Зёрнову, завершилась в начале советской эпохи. Значит, феномен рассмотрен «как социальное явление безвозвратно ушедшего прошлого...».

Правда, не только поэтому, утверждал Зёрнов, интересна такая социальная группа. Она — «единственная в своем роде».

Тезис Зёрнов не аргументировал, да и не он первым так рассуждал. Современники знали, что термин «интеллигенция» как обозначение социальной группы был востребован лишь в России.

Это вполне объяснимо. Термин не понадобился бы там, где не было такого, как в России, сословного деления.

Оно в советском государстве упразднено осенью 1917 года. Потому и стал неактуальным относившийся к понятию «русская интеллигенция» дифференциальный признак «внесословности».

¹⁴ Далее цит. по [Зёрнов, 1974, с. 17–46].

Деактуализировался и другой — «оппозиционность». С осени 1918 года противники советского правительства, сообразно проявленной ими активности, подлежали расстрелу без суда или заключению в концентрационный лагерь: «красный террор» [Постановление ... , 1918].

После его формальной отмены любые проявления оппозиционности режиму тоже подавлялись. В итоге понятие «интеллигенция» соотносилось лишь с так называемым умственным трудом, значит, образованием.

На уровне же официального словоупотребления существенно изменилось значение самого понятия «труд». Политически важная характеристика была добавлена: «общественно-полезный».

Имелся в виду не способ заработка, а формы обязательного для всех служения государству. В связи с этим изменился статус так называемого умственного труда — социальный. Образование избавляло от работы физической, а Советский Союз официально именовался «государством рабочих и крестьян».

Соответственно, писатели, характеризуя персонажей, ассоциируемых с понятием «советская интеллигенция», доказывали, что так называемый умственный труд не обязательно легче, а порою тяжелее и/или опаснее физического. Мэру писательской искренности в каждом случае можно не оценивать, важно общее стремление — не противоречить пропагандистской установке [Одесский, Фельдман, 1994].

Она была выражена и терминологически. Занятые так называемым умственным трудом попали в категорию «служащих».

Кстати, в 1938 году И. В. Сталин публично заявил, что не вполне удачно выбран термин «служащие». Есть в нем оттенок пренебрежения, хотя «без этой интеллигенции, без людей, которые живут интеллектом, — государство существовать не может» [цит по: Сталин, 2006, с. 159–160].

Лояльность режиму подразумевалась. К 1938 году термин «интеллигенция» утратил прежние дефиниции, а новые были невняты.

Формы противостояния

Уместно вновь подчеркнуть: мы не ставим задачу определения самого понятия «интеллигенция». Об узусе и контекстах рассуждаем.

К примеру, А. И. Солженицын в 1974 году предложил термин, эмблематизировавший изменения контекста. Вместо досоветской, хорошо ли, худо ли, но свободомыслящей «интеллигенции» — советская всегда конформная «образованщина» [Солженицын, 1974].

Но ситуация постепенно менялась, и важным фактором оказалась своего рода память культуры. С этой точки зрения интересно написанное в 1975 году стихотворение А. А. Вознесенского — «Есть русская интеллигенция»¹⁵.

Вознесенский словно бы отвечал Солженицыну. Причем ответ изначально полемичен: «Есть русская интеллигенция. / Вы думали — нет? Есть. / Не масса индифферентная, / а совесть страны и честь».

Далее — примеры. В первую очередь названы С. Т. Рихтер и С. С. Аверинцев. Оба «постольку интеллигенция, поскольку они честны».

Дифференциальный признак определен невнятно. Однако для осведомленных современников намеки были прозрачны.

Знаменитый пианист «честен», потому что от дружбы с опальными С. С. Прокофьевым и Б. Л. Пастернаком не отрекся. В отличие от многих.

Авторитетный филолог «честен», потому что он, в отличие многих коллег, религию не игнорировал. Добился в 1977 году выпуска монографии о ранневизантийской литературе, разумеется, христианской.

Пример третий и последний — астрофизик Н. А. Козырев. Он в 1970-е годы не отрекся от своей теории физических свойств времени, которая была официально признана не соответствующей базовой установке советской идеологии, атеизму.

Эстетическая оценка стихотворения не входит в нашу задачу. Важна его этическая прагматика: все примеры объединены по критерию несоблюдения поведенческих норм, диктуемых официальными пропагандистскими установками.

Нет оснований полагать, будто Вознесенский доказывал, что «русская интеллигенция» оппозиционна. Однако так получилось.

Весьма интересно с этой точки зрения мнение Д. Сегала, анализировавшего историю отечественного литературоведения XX века. По словам исследователя, «старая идейность, полагавшая, что моральным императивом русского интеллигента является защита простого народа, трансформируется в новую идейность, утверждающую, что на самом деле таким моральным императивом является защита свободы мысли» [Сегал, 2011, с. 210].

Вновь «моральный императив» — оппозиционность. Что и объединяло не принявших официальный советский дискурс литературоведов. Ну а среди них знаковая фигура — Лотман.

Фамилия профессора Тартуского университета стала тоже символом оппозиционности. Подразумевалось, что «непреклонной». Он, как утверждал в 1995 году Б. Ф. Егоров, «противостоял и боролся» [Егоров, 1995, с. 5].

¹⁵ Далее цит. по [Вознесенский, 1976].

Разумеется, «противостоял и боролся» посредством лекций и научных публикаций. Можно сказать, что «слово» и было «делом» Лотмана, а также его последователей, создавших концепцию героев времени, проецированную на советскую эпоху, но формально относящуюся к истории русской литературы.

Наиболее важная компонента этой концепции — история декабристского заговора. В осмыслении Лотмана она полемически ориентирована по отношению к традиции, согласно которой декабристы были первыми отечественными революционерами.

Полемика и подразумевала ориентацию на другую традицию, формировавшуюся в конце XIX века. Ее базовая установка — противопоставление революционеров, готовых к насильственному изменению режима, либералам, уповающим на эволюционные методы. В качестве эталонного примера можно привести лотмановскую статью 1974 года: «Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория)» [Лотман, 1975].

Лотман рассматривал пропагандистскую специфику деятельности заговорщиков. Анализируя грибоедовскую комедию, утверждал: «Главной формой действия оказалось *речевое* поведение декабриста».

Чацкий — декабрист. Он «*публично* называет вещи своими именами, “тремит” на балу и в обществе, поскольку именно в таком назывании видит освобождение человека и начало преобразований».

Влияние полемики с официальной советской историографией заметно и в постсоветскую эпоху. Пример из характерных — проведенная в Санкт-Петербурге международная научная конференция «Истоки и судьбы русского либерализма. К 175-летию восстания декабристов».

Был и сборник, изданный с полемически ориентированным заглавием — «Империя и либералы». Примечательна там статья В. Я. Мотыля. Создатель блокбастера «Звезда пленительного счастья» утверждал, что мятеж декабристы не планировали, 14 декабря 1825 года офицеры на Сенатской площади «так и говорили: “Вот достоим до такого-то часа, и подпишет Николай Конституцию”. Они ждали, они вышли на демонстрацию, зная, что это может кончиться плохо, но это была демонстрация» [Мотыль, 2001, с. 285] (ср. [Фельдман, 2008]).

Мотыль логически завершил концепцию, из которой были изъяты декабристские планы цареубийства, государственного переворота, события военных мятежей. Вот и появилась возможность рассуждать о декабристах вне ассоциаций с понятием «революционеры».

Средства всегда соответствуют цели. Овсяннико-Куликовский противопоставил Чацкого декабристам, а Лотман к ним причислил — тоже в качестве представителя «русской интеллигенции».

Для Лотмана и его последователей хронологически локализован поиск героев времени и представителей «русской интеллигенции»: с 1812 года и до окончания царствования Александра I. Используя гидронимические ассоциации, можно сказать, что от Чацкой протоки и не дальше Онеги.

Локализацию поиска Лотман обозначил в книге о Карамзине. Рассуждал о формировании сообщества, где каждый — «дворянский интеллигент пушкинской эпохи» [цит по: Лотман, 1987, с. 230].

О «внесловности» речи уже не было. Что соответствовало предложенной Овсяннико-Куликовским парадигме, откуда удалены гипотетические радикалы.

Лотман рассуждал о той части «пушкинской эпохи», что завершилась до 14 декабря 1825 года. Лишь в таких пределах возможны проекции на пропагандистскую деятельность советских «шестидесятников», избегавших ассоциации с радикалами, коих считали предшественниками большевиков.

На исходе советской эпохи и такие проекции утратили актуальность. Используя гидронимические ассоциации, можно подвести итог: со временем интерес к характеристикам Чацкой протоки, Базара или Рахмета стал только академическим.

Список источников

Амфитеатров А. Господа Обмановы // Россия. 1902. 13 янв.

Анненков П. Заметки о русской литературе 1848 года // Современник. 1849. № 1, отд. III. С. 1–23.

Белинский В. Сочинения Александра Пушкина. Статья восьмая // Отечественные записки. 1844. Т. XXXVII, № 12, отд. V. С. 45–72.

Белинский В. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова // Отечественные записки. 1840. Т. XI–XII, отд. V. С. 1–38.

Введение: «Реализм» и русская литература XIX века / М. Вайсман, А. Вдовин, И. Клигер, К. Осповат // Русский реализм XIX века: общество, знание, повествование: Сб. ст. М.: Новое литературное обозрение, 2020. С. 5–66.

Вознесенский А. А. Есть русская интеллигенция // Вознесенский А. А. Витражных дел мастер. Стихи. М.: Молодая гвардия, 1976. С. 42–43.

Гончаров И. Лучше поздно, чем никогда (Критические заметки) // Русская речь. 1879. № 6. С. 285–332.

Григорьев А. А. По поводу нового издания старой вещи: «Горе от ума». СПб. 1862 // Время. 1862. № 8. С. 35–50.

[*Добролюбов Н. А.*] Новая повесть г. Тургенева // Современник. 1860. № III, отд. III. С. 31–72.

Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1973. Т. 6: Преступление и наказание. 423 с.

Егоров Б. Ф. Личность и творчество Ю. М. Лотмана // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя; Статьи и заметки, 1960–1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб.: Искусство-СПБ, 1995. С. 5–20.

Зёрнов Н. Русское религиозное возрождение XX века. Paris: YMCA-PRESS, 1974. 382 с.

Иванов-Разумник Р. В. Что такое интеллигенция? // Иванов-Разумник Р. В. История русской общественной мысли. Идеализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX века: в 2 т. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1911. Т. I. С. 3–13.

Косица Н. [Страхов Н. Н.]. Счастливые люди. Один из наших типов. Статья первая // Библиотека для чтения. 1865. № 7–8. С. 142–146.

Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. СПб.: Изд. А. С. Суворина, 1895. 2 т.

Лотман Ю. М. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов. Л.: Наука, 1975. С. 25–74.

Лотман Ю. М. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. Пособие для учителя / 2-е изд. Л.: Просвещение, 1983. 416 с.

Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987. 336 с.

Мотыль В. Я. [Выступление на международной конференции «Империя и либералы»] // Империя и либералы: (Материалы международной конференции). Сб. эссе. СПб.: Журнал «Звезда», 2001.

Н-бов [Добролюбов Н. А.]. Что такое обломовщина? Обломов. Роман И. А. Гончарова. Отечественные записки, 1859 г., № I–IV // Современник. 1859. № V, отд. III. С. 59–98.

Овсяннико-Куликовский Д. Н. История русской интеллигенции. Итоги русской литературы XIX века. М.: Изд. В. М. Саблина. 1906. 2 ч.

Одесский М., Фельдман Д. Выйти живым из строя. Русская литература: поэтика болезни, здоровья и труда // Дружба народов. 1994. № 3. С. 177–192.

Писарев Д. Базаров. «Отцы и дети», роман И. С. Тургенева // Русское слово. 1863. № 3, отд. III. С. 1–54.

Писарев Д. Борьба за существование. (Преступление и наказание, роман Ф. М. Достоевского. Две части. 1867) // Дело. 1868. № 8, отд. Современное обозрение. С. 1–33.

Писарев Д. Мыслящий пролетариат // Русское слово. 1865. № 1, отд. II. С. 1–42.

Постановление Совета Народных Комиссаров «О красном терроре» // Известия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов. 1918. № 195.

Ред(актор) [Дружинин А. В.]. Обломов, роман И. А. Гончарова. Два тома. Санкт-Петербург, 1859 г. // Библиотека для чтения. 1859. № 12, отд. Литературная летопись. С. 1–25.

Сегал Д. Пути и вехи: Русское литературоведение в двадцатом веке. М.: Водолей, 2011. 207 с.

Солженицын А. И. Образованщина // Из-под глыб. Сб. ст. Paris: YMCA-PRESS, 1974. С. 217–259.

Сталин И. В. Выступление на Политбюро ЦК ВКП(б) по вопросам партийной пропаганды в связи с выходом «Краткого курса Истории ВКП(б)» 10 октября 1938 года // *Сталин И. В.* Собрание сочинений. Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006. Т. 18. С. 159–160.

Страхов Н. Н. Преступление и наказание. Роман в шести частях с эпилогом Ф. М. Достоевского // Отечественные записки. 1867. № 3, 4.

Тургенев И. Отцы и дети. М.: Тип. В. Грачева и комп., 1862. 304 с.

Тургенев И. С. Письмо Случевскому К. К. 14 апр. 1862 // *Тургенев И. С.* Первое собрание писем И. С. Тургенева. 1840–1883 гг. СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1884. С. 104–107.

Фельдман Д. М. Декабристоведение сегодня: Терминология, идеология, методология // Декабристы. Актуальные проблемы и новые подходы. М.: Рос. гос. гум. ун-т, 2008. С. 663–713.

Фельдман Д. М., Щербаков Д. А. Магистр игры: Политика и риторика в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать? Из рассказов о новых людях» // Россия и современный мир. 2020. № 3. С. 216–240.

Философов Д. П. Д. Боборыкин // Русская мысль. 1910. № 12. С. 88–99.

Шпет Г. Г. Собрание сочинений. М.: РОССПЭН, 2009. Т. 6: Очерк развития русской философии: II. Материалы / реконструкция Татьяны Щедриной. 845 с.

Щербаков Д. А. Формирование литературной репутации Чернышевского в XIX–XXI веках. М.: Неолит, 2021.

References

Amfiteatrov, A. (1902) “Gospoda Obmanovy” [“Gentlemen Obmanovs”], *Rossiya [Russia]*, 13 Jan.

Annenkov, P. (1849) “Zametki o russkoi literature 1848 goda” [“Notes on Russian Literature of 1848”], *Sovremennik [Contemporary]*, (1), section III, pp. 1–23.

Belinskii, V. (1844) “Sochineniya Aleksandra Pushkina. Stat'ya vos'maya” [“The Works of Alexander Pushkin. Article Eight”], *Otechestvennye zapiski [Domestic Notes]*, 37(12), section V, pp. 45–72.

Belinskii, V. (1840) “Geroi nashego vremeni. Sochinenie M. Lermontova” [“A Hero of our Time. The Work of M. Lermontov”], *Otechestvennye zapiski [Domestic Notes]*, (11–12), section V, pp. 1–38.

Vaisman, M. *et al.* (2020) “Vvedenie: ‘Realizm’ i russkaya literatura XIX veka” [“Introduction: ‘Realism’ and Russian Literature of the 19th Century”], in *Russkii realizm XIX veka: obshchestvo, znanie, povestvovanie: Sbornik statei [Russian Realism of the 19th Century: Society, Knowledge, Narrative: Collection of Articles]*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary Review], pp. 5–66.

Voznesenskii, A. A. (1976) “Est' russkaya intelligentsiya” [“There is a Russian Intelligentsia”], in Voznesenskii, A. A. *Vitrazhnykh del master. Stikhi [Stained Glass Master. Poems]*. Moscow: Molodaya gvardiya [The Young Guard], pp. 42–43.

Goncharov, I. (1879) “Luchshe pozdno, chem nikogda (Kriticheskie zametki)” [“Better Late than Never (Critical Notes)”], *Russkaya rech' [Russian Speech]*, (6), pp. 285–332.

Grigor'ev, A. A. (1862) “Po povodu novogo izdaniya staroi veshchi: ‘Gore ot uma’”. SPb. 1862” [“About the New Edition of the Old Thing: ‘Woe from Wit’. St. Petersburg. 1862”], *Vremya [Time]*, (8), pp. 35–50.

[Dobrolyubov, N. A.] (1860) “Novaya povest' gospodina Turgeneva” [“A New Novel by Mr. Turgenev”], *Sovremennik [Contemporary]*, (3), section III, pp. 31–72.

Dostoevskii, F. M. (1973) *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 tomakh. Tom. 6: Prestuplenie i nakazanie [Complete Works: 30 vols. Vol. 6: Crime and Punishment]*. Leningrad: Nauka Publ.

Egorov, B. F. (1995) “Lichnost' i tvorchestvo Yu. M. Lotmana” [“Personality and Creativity of Yu. M. Lotman”], in Lotman, Yu. M. *Pushkin: Biografiya pisatelya; Stat'i i zametki, 1960–1990; “Evgenii Onegin”: Kommentarii [Pushkin: Biography of the Writer; Articles and Notes, 1960–1990; “Eugene Onegin”: Commentary]*. St. Petersburg: Iskusstvo-SPB Publ., pp. 5–20.

Zernov, N. (1974) *Russkoe religioznoe vrozozhdenie XX veka [Russian Religious Revival of the 20th Century]*. Paris: YMCA-PRESS.

Ivanov-Razumnik, R. V. (1911) “Chto takoe intelligentsiya?” [“What is the Intelligentsia?”], in *Istoriya russkoi obshchestvennoi mysli. Idealizm i meshchanstvo v russkoi literature i zhizni XIX veka: v 2 tomakh. Tom I [The History of Russian Social Thought. Idealism and Philistinism in Russian Literature and Life of the 19th Century: 2 vols. Vol. 1]*. St. Petersburg: Tipografiya M. M. Stasyulevicha, pp. 3–13.

Kositsa, N. [Strakhov, N. N.] (1865) “Schastlivye lyudi. Odin iz nashikh tipov. Stat'ya pervaya” [“Happy People. One of our Types. Article One”], *Biblioteka dlya chteniya* [The Library for Reading], (7–8), pp. 142–146.

Lobanov-Rostovskii, A. B. (1895) *Russkaya rodoslovnaya kniga* [Russian Pedigree Book] (2 vols). St. Petersburg: A. S. Suvorin Publ.

Lotman, Yu. M. (1975) “Dekabrist v povsednevnoi zhizni (Bytovoe povedenie kak istoriko-psikhologicheskaya kategoriya)” [“Decembrist in Everyday Life (Everyday Behavior as a Historical and Psychological Category)”], in *Literaturnoe nasledie dekabristov* [Literary Heritage of the Decembrists]. Leningrad: Nauka Publ., pp. 25–74.

Lotman, Yu. M. (1983) *Roman A. S. Pushkina “Evgenii Onegin”: Kommentarii. Posobie dlya uchitelya* [A. S. Pushkin's Novel “Eugene Onegin”: Commentary. Teacher's Manual]. 2nd edn. Leningrad: Prosveshchenie Publ.

Lotman, Yu. M. (1987) *Sotvorenie Karamzina* [The Creation of Karamzin]. Moscow: Kniga Publ.

Motyl', V. Ya. (2001) “[Vystuplenie na mezhdunarodnoi konferentsii ‘Imperiya i liberaly’]” [“[Speech at the International Conference ‘Empire and Liberals’]”], in *Imperiya i liberaly: (Materialy mezhdunarodnoi konferentsii). Sbornik esse* [Empire and Liberals: (Materials of the International Conference). Collection of Essays]. St. Petersburg: Zhurnal “Zvezda” Publ.

N-bov [Dobrolyubov, N. A.] (1859) “Chto takoe oblomovshchina? Oblomov. Roman I. A. Goncharova. Otechestvennye zapiski, 1859 god, № I–IV” [“What is Oblomovism? Oblomov. The Novel by I. A. Goncharov. Domestic Notes, 1859, no. I–IV”], *Sovremennik* [Contemporary], (5), section III, pp. 59–98.

Ovsyaniko-Kulikovskii, D. N. (1906) *Istoriya russkoi intelligentsii. Itogi russkoi literatury XIX veka* [The History of the Russian Intelligentsia. The Results of the Russian Literature of 19th Century] (2 vols). Moscow: V. M. Sablin Publ.

Odesskii, M. and Fel'dman, D. (1994) “Vyiti zhivym iz stroya. Russkaya literatura: poetika bolezni, zdorov'ya i truda” [“To Get out of the System Alive. Russian Literature: The Poetics of Illness, Health and Work”], *Druzhba narodov* [Friendship of Peoples], (3), pp. 177–192.

Pisarev, D. (1863) “Bazarov. ‘Ottsy i deti’, roman I. S. Turgeneva” [“Bazarov. ‘Fathers and Children’, the Novel by I. S. Turgenev”], *Russkoe slovo* [Russian Word], (3), section III, pp. 1–54.

Pisarev, D. (1868) “Bor'ba za sushchestvovanie. (Prestuplenie i nakazanie, roman F. M. Dostoevskogo. Dve chasti. 1867)” [“The Struggle for Existence. (Crime and Punishment, the Novel by F. M. Dostoevsky. Two Parts. 1867”], *Delo* [The Business], (8), section *Sovremennoe obozrenie* [Contemporary Review], pp. 1–33.

Pisarev, D. (1865) “Myslyashchii proletariat” [“The Thinking Proletariat”], *Russkoe slovo [Russian Word]*, (1), section II, pp. 1–42.

“Postanovlenie Soveta Narodnykh Komissarov ‘O krasnom terrore’” [“Resolution of the Council of People’s Commissars ‘On the Red Terror’”] (1918) *Izvestiya Vserossiiskogo Tsentral'nogo Iсполnitel'nogo Komiteta Sovetov [News of the All-Russian Central Executive Committee of Soviets]*, 195.

Redaktor [Druzhinin, A. V.] (1859) “Oblomov, roman I. A. Goncharova. Dva toma. Sankt Peterburg, 1859 god” [“Oblomov, the Novel by I. A. Goncharov. Two vols. St. Petersburg, 1859”], *Biblioteka dlya chteniya [The Library for Reading]*, (12), section Literaturnaya letopis', pp. 1–25.

Segal, D. (2011) *Puti i vekhi: Russkoe literaturovedenie v dvadtsatom veke [Paths and Milestones: Russian Literary Studies in the Twentieth Century]*. Moscow: Vodolei Publ.

Solzhenitsyn, A. I. (1974) “Obrazovanshchina”, in *Iz-pod glyb. Sbornik statei [From under the Boulders. Collected Articles]*. Paris: YMCA-PRESS, pp. 217–259.

Stalin, I. V. (2006) “Vystuplenie na Politbyuro TsK VKP(b) po voprosam partii-noi propagandy v svyazi s vykhodom ‘Kratkogo kursa Istorii VKP(b)’ 10 oktyabrya 1938 goda” [“The Speech at the Politburo of the Central Committee of the CPSU(b) on Party Propaganda in Connection with the Release of the ‘Short Course of the History of the CPSU(b)’ on October 10, 1938”], in Stalin, I. V. *Sobranie sochinenii. Tom 18 [Collected Works. Vol 18]*. Tver': Informatsionno-izdatel'skii tsentr “Soyuz”, pp. 159–160.

Strakhov, N. N. (1867) “Prestuplenie i nakazanie. Roman v shesti chastyakh s epilogom F. M. Dostoevskogo” [“Crime and Punishment. The Novel in Six Parts with an Epilogue by F. M. Dostoevsky”], *Otechestvennye zapiski [Domestic Notes]*, (3), (4).

Turgenev, I. (1862) *Ottsy i deti [Fathers and Children]*. Moscow: Tipografiya V. Gracheva i komp.

Turgenev, I. S. (1884) “Pis'mo Sluchevskomu K. K. 14 aprelya 1862” [“Letter to K. K. Sluchevsky on April 14, 1862”], in Turgenev, I. S. *Pervoe sobranie pisem I. S. Turgeneva. 1840–1883 gg. [The First Collection of Letters of I. S. Turgenev. 1840–1883]* St. Petersburg: Tipografiya M. M. Stasyulevicha, pp. 104–107.

Fel'dman, D. M. (2008) “Dekabristovedenie segodnya: Terminologiya, ideologiya, metodologiya” [“Decembrist Studies Today: Terminology, Ideology, Methodology”], in *Dekabristy. Aktual'nye problemy i novye podkhody [The Decembrists. Current Problems and New Approaches]*. Moscow: Rossiiskii gosudarstvennyi gumanitarnyi universitet [Russian State University for the Humanities], pp. 663–713.

Fel'dman, D. M. and Shcherbakov, D. A. (2020) “Magistr igry: Politika i ritorika v romane N. G. Chernyshevskogo ‘Chto delat'? Iz rasskazov o novykh lyudyakh” [“Master of the Game: Politics and Rhetoric in N. G. Chernyshevsky’s Novel ‘What to Do?’”]

From Stories about New People”], *Rossiya i sovremennyi mir [Russia and the Contemporary World]*, (3), pp. 216–240.

Filosofov, D. (1910) “P. D. Boborykin”, *Russkaya mysl' [Russian Thought]*, 12, pp. 88–99.

Shpet, G. G. (2009) *Sobranie sochinenii. Tom 6: Ocherk razvitiya russkoi filosofii: II. Materialy [Collected Works. Vol. 6: An Essay on the Development of Russian Philosophy: II. Materials]*. Reconstruction by Tat'yana Shchedrina. Moscow: ROSSPEN Publ.

Shcherbakov, D. A. (2021) *Formirovanie literaturnoi reputatsii Chernyshevskogo v XIX–XXI vekakh [The Formation of Chernyshevsky's Literary Reputation in the 19–21th Centuries]*. Moscow: Neolit Publ.

Информация об авторах:

Михаил Павлович Одесский — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературной критики факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета. Адрес: Российская Федерация, 125993, Москва, Миусская пл., д. 6;

Давид Маркович Фельдман — доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры литературной критики факультета журналистики Российского государственного гуманитарного университета. Адрес: Российская Федерация, 125993, Москва, Миусская пл., д. 6.

Information about the authors:

Mikhail P. Odesskiy — DSc in Philology, Professor, Head of the Department of Literary Criticism of the Faculty of Journalism of the Russian State University for the Humanities. Address: 6 Miusskaya Sq., Moscow, 125993, Russian Federation;

David M. Feldman — DSc in History, Professor, Professor of the Department of Literary Criticism of the Faculty of Journalism of the Russian State University for the Humanities. Address: 6 Miusskaya Sq., Moscow, 125993, Russian Federation.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 15.11.2022;
одобрена после рецензирования 01.03.2023;
принята к публикации 10.03.2023.

The article was submitted 15.11.2022;
approved after reviewing 01.03.2023;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 203–229.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 203–229.

Научная статья / Original article

УДК 821.161.1

doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-203-229

«Я ХОТЕЛ БЫ ПРИНЕСТИ ПОКАЯНИЕ»: ИСПОВЕДЬ АЛЕКСАНДРА БЛОКА



Людмила Федоровна Луцевич

Варшавский университет,
Варшава, Польша, l.lutevici@uw.edu.pl,
<https://orcid.org/0000-0002-6340-2598>



Аннотация. В статье предпринята попытка рассмотреть «Исповедь язычника» (1918) Александра Блока как прозаический текст, где в равной мере проявляются «поэтика» жизненного поведения автобиографического повествователя и развитие литературного сюжета. Обращено внимание на характер творческой исповедальности поэта с ее максимальной искренностью, чистотой и полнотой в выражении чувств. В результате проведенного анализа установлено, что «Исповедь язычника» включает основные компоненты исповедального текста: здесь есть раскаяние в давнем грехе; есть метанойя — перемена настроения (от обожания мальчика к его презрению), есть «исправление», примирение с самим собой, возвращение на путь истинный (выбор розовой девушки). Это значит, что в основе своей текст как исповедь состоялся, и он фактически завершен.



Ключевые слова: Александр Блок, исповедь, язычник, автобиографический повествователь, покаяние, грех, Петербург 1918 года, Великий пост, гимназия, Дмитрий, розовая девушка



Ссылка для цитирования: Луцевич Л. Ф. «Я хотел бы принести покаяние»: исповедь Александра Блока // *Философические письма. Русско-европейский диалог*. 2023. Т. 6, № 1. С. 203–229. doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-203-229.

Memory of Culture

“I WOULD LIKE TO BRING REPENTANCE”: THE CONFESSION OF ALEXANDER BLOK

Ludmila F. Lutsevich

Warsaw University,
Warszawa, Polska, l.lutevici@uw.edu.pl,
<https://orcid.org/0000-0002-6340-2598>



Abstract. The article attempts to consider the “Confession of a Pagan” by Alexander Blok as a prose text, where the “poetics” of the autobiographical narrator’s life behavior and the development of the literary plot are equally manifested. Attention is drawn to the nature of the poet’s creative confessional with its maximum sincerity, purity and completeness in the expression of feelings. As a result of the analysis, it was found that the “Confession of a pagan” includes the main components of the confessional text: there is repentance for an old sin; there is metanoia — a change of mood (from adoration of the boy to his contempt), there is “correction”, reconciliation with oneself, return to the true path (the choice of a pink girl). So, basically, the text as a confession took place, and it is actually completed.



Keywords: Alexander Blok, confession, pagan, autobiographical narrator, repentance, sin, St. Petersburg 1918, Great Lent, gymnasium, Dmitry, pink girl



For citation: Lutsevich, L. F. (2023) “‘I would like to bring repentance’: The Confession of Alexander Blok”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 203–229. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-203-229.

1

Весна 1918 года выдалась для Блока тяжелой — в письмах он не раз жаловался на усталость, — но вместе с тем плодотворной. Написаны «Скифы», «Двенадцать», «Катилина», «Крушение гуманизма», «Интеллигенция и революция», «Сограждане», «Русские денди», «Моя исповедь. Исповедь язычника» и др. Блоковская исповедь и является основным предметом наблюдений в данной статье.

Слово «исповедь» имеет два основных словарных значения:

- церковное таинство покаяния (одно из семи христианских таинств: крещение, причащение, священство, покаяние, миропомазание, брак, елеосвящение), когда «христианин искренно и сердечно раскаиваясь в грехах своих и намереваясь исправить свою жизнь, с верою во Христа и с надеждою на Его милости, излагает устно свои грехи перед священником, который также устно разрешает ему его грехи» [Покаяние, 1913, стб. 1826];

- литературно-публицистический и философский жанр, включающий «откровенное признание героя-рассказчика в совершении безнравственных поступков, обращенное к читателям; рассказ о себе, стремящийся дать слушателю-читателю настолько полное (в этическом смысле) знание чужих поступков и их мотивов, чтобы оно свидетельствовало об ответственности “я” и было поводом для его возможного признания и оправдания другим» [Волкова, 2008, с. 85].

Русские писатели Серебряного века в не меньшей степени, чем классического XIX, обращаются к исповеди. Многочисленные покаяния и признания



А. А. Блок. Фотография. 1918. В апреле 1918 года Блок работал над «Исповедью язычника». В письме к матери от 26 апреля 1918 года он признавался: «...мне трудно жить, ...и физически, и душевно, и матерьяльно»

есть как в стихах, так и в прозе, в произведениях художественных и автобиографических. Стихотворные исповеди пишут Николай Минский и Зинаида Гипшиус, Константин Бальмонт и Вячеслав Иванов, Анна Ахматова и Сергей Есенин, Дон-Аминадо и Марина Цветаева и многие другие. Исповеди прозаические — публицистические и автобиографические — создают Сергей Дурылин «В школьной тюрьме. Исповедь ученика» (1907); Андрей Белый «Каменная исповедь. По поводу статьи Н. А. Бердяева “К психологии революции”» (1908); Валерий Брюсов «Моя исповедь. “Правда о смерти Н. Г. Львовой”» (1913); Николай Толстой «Исповедь священника» (1914), Александр Тиняков «Исповедь антисемита (письмо в редакцию)» (1916), Владимир Короленко «Отклоненная исповедь» (1921), Черубина де Габриак «Исповедь» (1926) и др. У каждого автора обращение к исповеди обусловлено конкретной причиной; и сама исповедь имеет, как правило, определенное толкование. Блоку, например, важна максимальная открытость, откровенность, чистота и полнота выражения чувств. Он считает, что в искусстве

только то, что было исповедью писателя, только то создание, в котором он сжег себя дотла, — для того ли, чтобы родиться для новых созданий, или для того, чтобы умереть, — только оно может стать великим. Если эта сожженная душа... огромна, — она волнует не одно поколение, не один народ и не одно столетие. Если она и не велика, то, рано ли, поздно ли, она должна взволновать по крайней мере своих современников, даже не искусством, даже не новизною, а только искренностью самопожертвования.

[Блок, 1960–1963, т. 5, с. 278]

В религиозном таинстве покаяния «исповедь есть размягчение душевное, желание “исправиться”» [Там же, т. 8, с. 316]. Индивидуальные потребности в исповеди, ее авторские трактовки не исключают некой типологической заданности в обращении к ней русских писателей. Эта общая заданность обусловлена духовной и бытовой воцерковленностью, закрепленной в жизни императорской России на государственном уровне, требовавшей почитания догматов веры, соблюдения церковного календаря, участия в богослужениях, таинствах и проч. Религиозные дисциплины, как известно, преподавались в школах, гимназиях, университетах; каждый учащийся был обязан ежегодно предоставлять справку об исповеди и причастии. Вольно или невольно, глубоко или поверхностно, но человек развивался в рамках религиозного сознания. Большинство авторов обращалось к исповеди в творчестве инстинктивно, когда возникала потребность в анализе событий давно прошедшего времени, в



Гимназист Александр Блок. Фотография. 1891

признании реальных или помысленных неблагоприятных деяний, в осознании каких-то сущностных перемен, в стремлении подвести жизненные итоги и т. д. Автобиографическая исповедь фиксирует на письме и в сознании самого пишущего некий этап духовного развития, нередко процесс «развертывания» собственной личности, когда, описывая себя, автор «расширяет» сознание в осмыслении своей духовной, психической, физической природы (с ее возможностями или ограничениями) [Луцевич, 2020, с. 479–480]. Вот и Александр Блок в 1918 году — как оказалось, к концу жизни — обращается к исповеди.

2

Религиозные настроения поэта были, как известно, достаточно противоречивы [Даниленко, 2013, с. 345–356; Тимощенко, 2003, с. 74–90; Хайруллин, 2015, с. 68–85]. Ортодоксальное христианство отвращало его своим догматизмом с его жесткими формализованными «правилами веры», санкционированными церковью, отсюда неизменно негативное отношение как к официальной церкви: «...общий враг наш — российская государственность, церковность...» [Блок, 1960–1963, т. 8, с. 281], так и к ее служителям — «...сословию нравственно тупых людей духовного звания» [Там же, т. 7, с. 329]. В письмах 1900-х годов он настойчиво демонстрирует свое религиозное неверие: «...я всегда НЕ ВЕРЮ!»; «...я дальше, чем когда-нибудь, от религии»; «У меня нет религии»; «...в бога я не верю и не смею верить», «Эти два больших христианских праздника (Рождество и Пасха) все больше унижают меня; как будто и в самом деле происходит что-то такое, чему я глубоко враждебен» [Там же, т. 8, с. 114, 133, 134, 197, 236]. В статье «Безвременье» (1906) Блок зафиксировал кардинальные перемены, произошедшие в жизни своих современников: «Люди стали жить странной, совсем чуждой человечеству жизнью. Прежде думали, что жизнь должна быть свободной, красивой, религиозной, творческой... Теперь развилась порода людей, совершенно перевернувших эти понятия... Они утратили понемногу... сначала Бога, потом мир, наконец — самих себя» [Там же, т. 5, с. 68]. В 1910-е

годы ситуация не особо изменилась. В дневниках встречаются по-прежнему такие записи: «Искусство и религия умирают в мире»; «В народе говорят, что все происходящее — от падения религии»; «Религия — грязь (попы и пр.)... Романтизм — грязь. Все, что *осело* догматами, нежной пылью, *сказочностью* — стало грязью» [Там же, т. 7, с. 231, 289, 326]. Но вот в письме к матери от 16 июня 1916 года он пишет уже иначе:

Я достал первый том того «Добротолубия», «флoкалiа» — *Любовь к прекрасному (высокому)* (...) Это, собственно, сокращенная патрология — сочинения разных отцов церкви, подвижников и монахов (пять огромных томов). Переводы с греческого, не всегда удовлетворительные, «дополненные» попами, уснащенные церковнославянскими текстами из книг св. писания Ветхого и Нового завета (неизменно неубедительными для меня). Все это — отрицательные стороны. Тем не менее в сочинениях монаха Евагрия (IV века), которые я прочел, есть «гениальные вещи» (выражаясь... неумеренно).

[Там же, т. 8, с. 463]

А в «Возмездии» автобиографический лирический герой признается: «Пусть церковь темная пуста, / Пусть пастырь спит; я до обедни / Пройду росистую между, / Ключ ржавый поверну в затворе / И в алом от зари притворе / Свою обедню отслужу» [Там же, т. 3, с. 302]. В творчестве Блока, по словам В. К. Кантора, «не случайны строки о “мерцанье красных лампад”, о “темных храмах”, о девушке в церковном хоре...», речь идет о «высоком служении Прекрасной Даме, служении, совпадавшем с религиозным» [Кантор, 2017, с. 138].

3

Незавершенный, как принято считать [Шабельская, 1962, с. 501], автобиографический текст, «лирический фрагмент» [Магомедова, 1997, с. 53] получил двойное название: «Исповедь язычника. Моя исповедь». В записной книжке за *апрель 1918 г.* (это и есть указанная автором датировка исповеди) Блок делает две краткие пометки. 14 апреля записывает: «Продолж(ал) “Моя (?) исповедь”. Рассказ? Предисловие к чему-то?» [Блок, 1956, с. 400]. Как видно, автор пока не определился ни со степенью автобиографизма («моя»?), ни с жанром (рассказ, предисловие?), ни с функциональным назначением своего текста. Однако ровно через неделю — 21 апреля — появилась следующая запись: «“Исповедь язычника” — история двух мальчиков» [Там же, с. 401]. Здесь уже означены: жанр (исповедь), повествователь (язычник), сюжетный центр (некая личная история из «давней поры своей жизни» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 38] как

воспроизведение и осмысление реальных фактов прошлого) и персонажи (два мальчика). К. В. Мочульский считал, что «Блок — христианин, аскет и мистик, называет себя “язычником”», потому что он не знал «внутренней жизни церкви» [Мочульский, 1948, с. 417]. Поэт действительно не строил свою жизнь как человек, соразмеряющий свои мысли и поступки с Евангелием и Священным Преданием, но основные церемониальные обряды православной церкви (молитва, посещение храма, участие в таинствах исповеди и причащения и др.) ему были хорошо известны. Ведь от каждого ребенка при поступлении в первый класс гимназии требовалось «знание главнейших утренних и вечерних молитв и важнейших событий Священной истории Ветхого и Нового завета» [Устав ... , 1874, с. 88]. Уже будучи 18-летним юношей, перенося свидание с К. Садовской, Блок оправдывался: «...меня заставляют исповедоваться именно вечером» [Блок, 1960–1963, т. 8, с. 8], то есть на вечернем богослужении. Дневники поэта свидетельствуют, что он постоянно использует в своей речи лексику церковного календаря (Страстная суббота, Пасхальная неделя, Троицын день, Благовещенье, светлая Пасха, Успение, Рождество и т. д.), он венчается с Л. Менделеевой в церкви села Тараканово, читает *Евангелие*, интересуется историей русской церкви, сокрушается, что «Милая не приедет на Пасху», и



Петербург. Введенская гимназия. В 1891 году Александр Блок поступил во второй класс Введенской гимназии, которую окончил в 1898 году

проч. [Там же, т. 7, с. 9, 44, 114, 235]. Обрядовую жизнь православной церкви поэт знал, другое дело, что он не придавал ей высокого религиозного пафоса.

Определение «язычник» в исповеди, думается, имеет иную коннотацию. Согласно словарю В. И. Даля, «язычник» — «идолопоклонник, кумирник [кумиропоклонник [Даль, 1978–1980, т. 2, с. 217]]¹, обожатель земной природы, болван, истукан» [Там же, т. 4, с. 675]. Слово является заимствованием из старославянского языка, где оно имело значение «иноверец» и было образовано как калька с греческого (*ethnikos, ethnos* — «народ»); оно встречается в библейских текстах 49 раз и толкуется как «народы» («языки»), не имеющие Евангелия, то есть иноверцы, в противоположность ранним христианским общинам: Петру было велено нести Евангелие язычникам (Деян. 10:9–48). Со временем христиане стали отождествлять язычество с гедонизмом, культивирующим в разных формах удовольствие, наслаждение, сладострастие. В таком значении «язычник» — человек чувственный, материалистичный, потакающий своим прихотям, прежде всего сексуального характера, трактуемым христианами как безнравственные. Святые отцы Василий Великий, Григорий Нисский, Блаженный Августин и др. рассматривали гомосексуальность (мужеложство) как тяжкий грех, заслуживающий отлучения от церковного общения и многолетнего покаяния. Иоанн Златоуст поучал: «...мужеложство и противозаконно, и противоестественно» [Иоанн Златоуст, 1903, с. 519], «мужеложники хуже убийц» [Там же, с. 520], «у язычников не только учение было сатанинское, но и жизнь дьявольская» [Там же, с. 517], все их «страсти бесчестны, но особенно бесчестна безумная любовь к мужчинам, потому что душа страдает и унижается в этих грехах более, чем тело в болезнях» [Там же, с. 516]. В Российской империи «мужеложство» квалифицировалось как уголовное преступление. Юрист И. Б. Фукс пояснял:

Гомосексуализм... означает плотскую, в той или иной форме любовь мужчины к мужчине, любовь, противоположную гетеросексуальной любви... Громадное распространение этого явления у народов всех стран и всех веков должно было бы, казалось, сделать его предметом всестороннего и тщательного изучения, предметом глубокого теоретического анализа и это тем более, что в то время, как в одну эпоху, у одних народов явление это поощрялось, возводилось в добродетель, в степень религиозно-нравственной обязанности, считалось признаком, доказательством благородства, утонченности природы или, по

¹ Здесь и далее во всех цитатах в квадратных скобках приводятся пояснительные тексты, принадлежащие автору настоящей статьи. — *Примеч. ред.*

крайней мере, считалось и считается делом личных совести и наклонностей индивидуума, — в иное время, в других государствах оно влекло и влечет за собою тяжелую уголовную кару, жестокое наказание, причисляется законами к тягчайшим посягательствам на общественный порядок, на семейный уклад, на жизненность нации, а в некоторых странах, претендующих на исключительную гуманность своих уголовных кодексов, клеймится позором и наказуется продолжительным тюремным заключением или каторжными работами наравне с убийством...

[Фукс, 1914]

Давая двойное название тексту «Исповедь язычника. Моя исповедь», автор, с одной стороны, сохранял элемент автобиографизма («моя»); с другой — ассоциировал образ повествователя с «язычником» как нарушителем христианской морали. Стоит отметить, что исследователи, непосредственно писавшие об «Исповеди язычника», прежде всего К. Мочульский и А. Эткинд, как правило, объединяют образ исповедующегося повествователя с биографическим Александром Блоком [Мочульский, 1948, с. 23, 415–417; Эткинд, 2019]. В этом тексте действительно многие суждения отражают позиции и оценки самого



Александр Блок (стоит в 4-м ряду, 1-й справа) среди педагогов и учащихся Введенской гимназии. С.-Петербург. 1895 (?)

поэта, но наряду с этим в тексте есть персонажи, чьи лица (при наличии реальных прототипов) все-таки скрыты за вымышленными именами, поэтому, наверное, правомерно использовать применительно к повествователю такую нейтральную в данном случае категорию, как автобиографический герой, то есть литературный образ, наделенный реальными фактами авторской биографии, соответственно чертами внешности и характера. Д. М. Магомедова обратила внимание на то, что поэт «непрерывно создает автобиографические версии как документального, так и художественного типа», то есть произведения, объединяющие два ряда «биографических событий: эмпирический и эзотерический», причем второй значим «только для посвященных или даже исключительно для самого поэта» [Магомедова, 1997, с. 8, 9]. Если распространить это наблюдение на «Исповедь язычника», то можно отметить, что в этом тексте в равной степени проявляются и «“поэтика” жизненного поведения Блока», и литературное «развитие сюжета» [Там же].

4

Исповедальное повествование «от первого лица» начато с констатации оксюморонной ситуации, невиданной в русской христианской истории: «Петербургская весна 1918 года и Великий пост» (кстати, с описания «Первой недели Великого поста» начнет свою «Исповедь» и Надежда Тэффи [Тэффи, 1921, с. 125]). Блок сохраняет первоначальное название города — Петербург, хотя уже в августе 1914 года на волне антигерманских настроений по указу Николая II город был переименован в Петроград. В ходе Октябрьской революции власть перешла к большевикам — возникла Российская Советская Республика. 23 января (5 февраля) 1918 года Ленин подписал декрет Совнаркома «Об отделении церкви от государства и школы от церкви», что было воспринято основной частью населения страны с непониманием, недоумением, негодованием. Указанные в блоковской исповеди время и место — не просто реальный хронотоп, но и символическое обозначение нового социально-политического устройства, где, как пишет автор, «Церковь умерла, а храм стал продолжением улицы» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 38]. Акцент в данном случае сделан на семантической разнице слов «церковь» и «храм», которые обозначают две взаимосвязанные, но различные реальности. Современник Блока — богослов, духовный писатель, профессор Иларион (Вл. Троицкий), опираясь на послания апостола Павла в толковании Церкви как «Тела Христова» (1 Кор. 12:27), видел в Ней «благодатное соединение возрожденных Богочеловеком людей в союз любви» и давал такое ее общее определение: *«Церковь есть общество верующих в Господа Иисуса Христа Сына Божия людей, возрожденных Им и Духом Святым, соединенных в любви»*

и под непрекращающимся воздействием Святого Духа достигающих совершенства» [Троицкий, 1912, с. 10–11]. Дух Христов, согласно апостолу Павлу, производит переоценку всех ценностей и человеческих отношений, в Церкви мир обретает данную Богом цель: люди становятся «совершенными» (1 Кор. 2:6), через Церковь (как Свое Тело) Христос продолжает дело спасения мира. Вера в Христа призвана была сформировать новое человечество, живущее в согласии с волей Божией. Церковь именно в таком высоком религиозно-нравственном назначении (с ее призванием распространять благодать на человека, осуществлять его освящение, преображение, спасение и проч.), согласно восприятию Блока, с победой большевиков совершенно исчезла: «...русской церкви больше нет. Я и многие подобные мне лишены возможности скорбеть об этом потому, что церкви нет» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 38]. Остались «храмы», то есть «хоромы, жилой дом, храмина... здания» [Даль, 1978–1980, т. 4, с. 564], как «продолжение улицы». Возникают дополнительные коннотации, соотносящиеся со словом «уличный» в значении «беспризорный», «низкопробный, пошлый», вполне проявленные в тексте далее:

...храмы не заперты и не заколочены; напротив, они набиты торгующими и продающими Христа, как давно уже не были набиты... Двери открыты, посредине лежит мертвый Христос. Вокруг толпятся и шепчутся богомолки в мужских и женских платьях: они спекулируют; напротив, через улицу, кофейня; двери туда тоже открыты; там сидят за столиками люди с испытанными лицами и тусклыми глазами; это картежники, воры и убийцы; они тоже спекулируют. Спекулянты в церкви предают большевиков анафеме, а спекулянты в кофейне продают аннулированные займы; те и другие перемигиваются через улицу; они понимают друг друга.

[Блок, 1960–1963, т. 6, с. 38]

Повествователь выступает не просто в функции объективного наблюдателя, он открыто занимает позицию правоверного христианского проповедника-обличителя. Новая власть, руководствуясь материалистическими, атеистическими концепциями, учением об отмирании в будущем государства и других институтов, включая церковь, решила в одночасье освободить сознание людей от «религиозного дурмана», начав гонения на духовенство и церковь. В сложившихся обстоятельствах сам хронотоп «Петербургская весна 1918 года и Великий пост» должен восприниматься как бессмысленный, нелепый, лишенный какой-либо логической составляющей, что и подтверждает риторический вопрос: «Кому, кроме обывателя да бедного составителя календаря,

тщетно пытающегося приспособить старых святых к новому стилю, придет в голову такое сочетание?» [Там же].

Однако и в такой абсурдной ситуации для православного верующего, а таковым сейчас позиционирует себя нарратор, Великий пост остается временем внутреннего нравственного обновления. В толковании святых отцов и теологов, Великий пост — «настоящая школа покаяния, в которой каждый человек должен ежегодно учиться углублять свою веру, пересматривать свою жизнь и, насколько это возможно, ее изменять. ...это ежегодное паломничество к самым истокам православной веры, где нам вновь открывается, как должен жить православный человек» [Шмеман, 1993, с. 4–5]. Церковь специально определила семь недель покаяния, призывая верующих к раскаянию в грехах и к духовному деланию, то есть к неустанной работе над собственной духовной сущностью.

В апреле 1918 года автор исповеди, как пишет, осознал, что он — «русский, а русские всегда ведь думают о церкви; мало кто совершенно равнодушен к ней; одни ее очень ненавидят, а другие любят; то и другое — с болью»; он вспомнил, что «тоже ходил когда-то в церковь», но очень «давно не исповедался, а... надо исповедаться» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 39]. Это признание произвело исключительно сильное впечатление на биографа Блока К. В. Мочульского:

Безбожная революция, объявившая религию «опиумом для народа», открыла Блоку те «пропасти сознания», которые были доселе для него закрыты. Борьба между отрицающим и разрушающим умом и душой, погруженной в мистические видения, — кончилась победой религиозной стихии. Теперь, когда больше нет церкви, он вспоминает, что находил в ней то, «чего напрасно искал в мире»; понимает, что любит ее... с болью. И самое удивительное: прожив почти всю жизнь без исповеди — теперь, в эпоху официального атеизма, он осмеливается заявить публично: «мне надо исповедаться». Это свидетельство поэта непреложно. ...душа Блока по природе своей христианка.

[Мочульский, 1948, с. 416–417]

Потребность в исповеди повествователь сейчас связывает не с церковью, а с революцией, «одно из благодеяний» которой он видит в том, что «она пробуждает к жизни всего человека... напрягает все его силы и открывает те пропасти сознания, которые были крепко закрыты» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 39]. Для Блока — человека и художника — всегда были значимы, как он признавался, «бесконечные воспоминания», при этом он старался «схватить и вспомнить все — и не одной памятью головной, а и сердцем, и волей» [Там же, т. 7, с. 40]. Память,

как видно, мыслится многоуровнево: не только как процесс интеллектуального запечатления и сохранения в сознании событий прошлого, но и как процесс эмоционально окрашенный, волюнтаристский, делающий возможным повторное возвращение опыта прошлого в сферу сознания и использование его в творческой деятельности. В исповеди автор признается: «Так и я вспомнил одну давнюю пору своей жизни, которая меня преследует и не дает мне покою. Я хотел бы принести покаяние в одном из грехов, который я совершил» [Там же, т. 6, с. 39]. При этом сохраненное памятью восприятие («вспомнил», «совершил») оказывается не прошлым, а настоящим («преследует», «не дает»), обуславливающим когнитивное будущее («хотел бы»), которое проявляется в самом процессе создания (написания) текста исповеди.



Александр Блок по окончании гимназии. Фотография Е. Л. Мрозовской. Весна 1898 года

5

Структурно блоковская исповедь состоит из пяти небольших главок: в первой представлены размышления о церкви и революции; во второй — воспоминания о первом гимназическом дне и отдельно о некоем мальчике-гимназисте; в третьей — общая атмосфера, характер обучения и воспитания в «очень захолустной» гимназии, где «мальчики вышли по большей части из семей неинтеллигентных; ...быстро развращались. ...Учились курить, говорили и рисовали много сальностей. К середине гимназического ученья кое-кто уже обзавелся романом; некоторые свели дружбу с классными наставниками и их помощниками, и стало чувствоваться, что, кроме обязательных гимназических, существуют еще какие-то приватные и частные отношения между воспитателями и некоторыми учениками» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 41–42]; в четвертой главке кратко сказано об успеваемости и поведении гимназиста Дмитрия, который «был мало замечен в классе. Учился он не плохо, но и не особенно хорошо, был обыкновенно в первом десятке» [Там же, с. 43]; «гораздо незаметнее и тише меня; в его характере было что-то самодовлеющее и успокаивающее

окружающих и отклоняющее всевозможные их притязания» [Там же, с. 44]; в пятой главке речь идет о конной поездке повествователя вместе с Дмитрием из Шахматово в Боблово и видении «девушки в розовом платье» [Там же, с. 48].

Большая часть исповеди посвящена гимназическому обучению в «деляновские времена»². Блок поступил во Введенскую гимназию, расположенную сравнительно недалеко от дома на Большом проспекте Петербургской стороны, в 1889 году. Впечатление она произвела тяжелое: «...товарищи, учителя, самый класс, все казалось ему диким, чуждым, грубым» [Бекетова, 1930, с. 47]. О первом дне занятий Блок на всю жизнь сохранил впечатление жуткое. «Мама привела меня в гимназию; в первый раз в жизни из уютной и тихой семьи я попал в толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков; мне было невыносимо страшно... Проявить свое отчаяние и свой ужас, выразить их в каких-нибудь словах или движениях или просто — слезах было немислимо. Мешал ложный стыд» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 40]. Память сохранила остро пережитые негативные эмоции: страх, отчаяние, ужас, обусловленные состоянием полной незащитности в новом внешнем окружении. Однако в тот же день первоклассник пережил и совсем другое, более сильное, «ни с чем несравнимое чувство», возникшее под влиянием внезапно увиденного незнакомого мальчика (одного из дежурных в классе), внешний образ которого и эмоциональное отношение к нему запечатлены в исповеди так:

Мальчик был довольно высок ростом, худоцав и строен, у него был нежный и правильный профиль, и волосы были не совсем острижены, так что было видно, что они завивались и на лоб опустился один завиток. Я почувствовал к нему, к его лицу, ко всей фигуре, ко всему существу его, острое и пламенное обожание, которое залило горячей волной все мое сердце, все мое тело.

[Там же]

К. В. Мочульский увидел в этом описании впервые пробудившееся эротическое волнение юного поэта, когда «на мгновение приоткрывается эротическая стихия его духа» [Мочульский, 1948, с. 21]; а Александр Эткинд — свидетельство «гомоэротического греха» [Эткинд, 2019]. Оба исследователя, констатируя

² И. Д. Делянов — министр народного просвещения с 1882 по 1897 год, сторонник «классической системы преподавания», в основе которой лежало формализованное изучение древних языков, «учили почти исключительно грамматикам, ничем их не одухотворяя, учили свирепо и неуклонно, из года в год, тратя на это бесконечные часы. ...никому из учителей и в голову не приходило пробовать научить мальчиков чему-нибудь, кроме того, что было написано в учебниках “крупным” шрифтом (“мелкий” обыкновенно позволяли пропускать)» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 41].

гомосексуальную аллюзию, оставили без внимания последующее признание повествователя: «Не-что подобное я испытывал в детстве на елке, когда играл с моими сверстниками. Старшей среди них была стройная девочка полька³. Раз я случайно взглянул на нее... в ту минуту, когда она, наклонившись вперед и сложив перед собой худые руки, как будто приготовилась полететь и на мгновение застыла. Тогда волна обожания тоже обожгла меня...» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 40]. Девочка-полька и мальчик-гимназист вызвали, как видно, аналогичные, равнозначные чувства: «...волна обожания... обожгла»; «пламенное обожание... залило горячей волной». Однако Блок пытается дифференцировать свои детско-отроческие ощущения: с девочкой он связывает «просыпающуюся детскую чувственность»; с гимназистом — «особенный, древний ужас», под которым разумеется «ужас судьбы», предначертанной свыше, на которую нельзя ни повлиять, ни изменить [Иванов, 1994, с. 330–331]. А. Эткинд считает, что «в прозе... 1918 года Блок приходит к новому пониманию своей “двойственности”. Теперь амбивалентность интерпретируется как бисексуальность» [Эттинд, 2019].



Любовь Дмитриевна Менделеева.
Фотография. 1896–1897

6

Идею изначальной бисексуальности каждого человека развивал Отто Вейнинггер в книге «Пол и характер» [Вейнинггер, 1908], получившей широкое распространение в России. В печатном обсуждении книги приняли участие многие видные представители Серебряного века: Вячеслав Иванов, Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Николай Бердяев, Василий Розанов, Павел Флоренский, Михаил Кузмин и др. В новое время, когда в России «гомосексуальность становится возможной, поскольку она более не подвергается уголовному преследованию»

³ М. А. Бекетова вспоминает только об одной девочке, подруге детских игр Александра — Наташе Ивановой [Бекетова, 1930, с. 47].

[Клещ, 2012, с. 96], актуализировалось внимание к проблемам сексуальной самореализации, к «русскому вейнингеризму и уайльдизму, литературному поведению и эротическому кодексу русского декадента» [Павлова, 2004, с. 6], к вопросам взаимоотталкивания/взаимопритяжения мужского/женского начал, телесной и психической андрогинии [Кон, 2016], при этом остро интересовало, по словам исследовательницы, «влечение к собственному полу, ставшему на рубеже веков альтернативой гетеросексуальной любви» [Матич, 2008], и проч. Эти вопросы нередко приобретали характер личностный. Вспомним хотя бы Н. А. Бердяева, писавшего будущей жене Лидии Рапп: «С ранних лет вопрос о поле казался мне страшным и важным, одним из самых важных в жизни. С этим связано у меня очень много переживаний, тяжелых и значительных для всего существования» [Бердяев, 1981, с. 240]. Встреча Розанова с Варварой Бутягиной в конце 1890 года побудила философа к глубоким размышлениям о «религии пола», где пол, мыслимый как «мировой феномен; ...не орган и не функция, а что-то духовное и одновременно физическое» [Розанов, 1999, с. 216], является физической, метафизической и мистической основой брака. З. Н. Гиппиус, разделяя воззрения знаменитого австрийца относительно «постоянно действующей двуполости человека» [Вейнингер, 2012, с. 8], отмечала, что эта тема будоражила ее сознание задолго до непосредственного знакомства с книгой Вейнингера. Еще в юности, 16 августа 1899 года, в дневнике “*Cop-tes d’amour*” она писала об «обмане возможностей», о «намёках на двуполость», когда человек «кажется и женщиной, и мужчиной» [Гиппиус, 2003, с. 48]. Проблемы пола, секса, любви глубоко волновали и Блока. Наблюдая «явное обновление путей человечества» нового времени, когда ломается «человеческая душа», поэт фиксировал: «...культура вы-



«Розовая девушка». Л. Д. Менделеева в роли Офелии в домашнем спектакле по пьесе Шекспира «Гамлет». Фотография И. Д. Менделеева. Боблово. 1898

пустила в эти “переходные” годы из своей лаборатории какой-то временный, так сказать, “пробный” тип человека, в котором в различных пропорциях смешано мужское и женское начало» [Блок, 1960–1963, т. 5, с. 464]. Попытки «создать нового человека, приспособленного для новой, изменившейся жизни», не дали позитивного результата, но «положили печать патологии, недосказанности, странности на всю литературу нашего молодого века» с ее «уродствами» и «порнографией» [Там же, с. 464–465]. В культуре через символику мужского/женского начала представлена и закреплена биологическая половая дифференциация: многие понятия и явления, такие как природа, культура, божественный или потусторонний мир, добро, зло, стихии, цвета и многие другие, ассоциируются с «мужским/маскулинным» или «женским/фемининным» началом. В настоящее время, отмечает Блок, «дело идет о новом “половом подборе”, о гармоническом распределении мужественных и женственных начал, тех начал, которые до сих пор находятся в дисгармонии и кладут препятствия освобождению человека» [Там же, с. 465].

7

Повествователь запечатлевает в исповеди чувства, пережитые в детстве/отрочестве. Он отмечает, что долгое время почти не знал ни самого мальчика, на которого упал его взгляд «в первый день гимназической жизни», ни его имени (лишь в 4-й главе появится имя — Дмитрий). В блоковедении существует версия относительно реального прототипа образа Дмитрия. Согласно семейным воспоминаниям, в младших классах у Саши не было друзей [Бекетова, 1930, с. 49], в старших ситуация изменилась, появились постоянные приятели: Леонид Фосс и Николай (Кока) Гун. Мария Андреевна Бекетова вспоминала так:

Фосс был еврей, сын богатого инженера, имевшего касательство к Сормовским заводам. Это был щеголь и франт, но не без поэтических наклонностей, и хорошо играл на скрипке. Гун принадлежал к одной из отраслей семьи известного художника Гуна. Это был мечтательный и страстный юноша немецкого типа. Друзья часто сходились втроем у Блока или в красивом доме Фоссов на Лицейской улице. Вели разговоры «про любовь», Блок читал свои стихи, восхищавшие обоих, Фосс играл на скрипке серенаду Брага, бывшую в то время в моде. В весенние ночи разгуливали они вместе по Невскому, по островам. С Гуном Блок сошелся гораздо ближе, Фосса же скоро потерял из вида. Гун приезжал и в Шахматово. А после окончания гимназии они вдвоем ездили в Москву, где отпраздновали свою свободу выпивкой и концертом Вяльцевой. На

последнем курсе университета Гун застрелился внезапно по романтическим причинам. По этому поводу написано Блоком стихотворение. Случай произвел на него сильное впечатление.

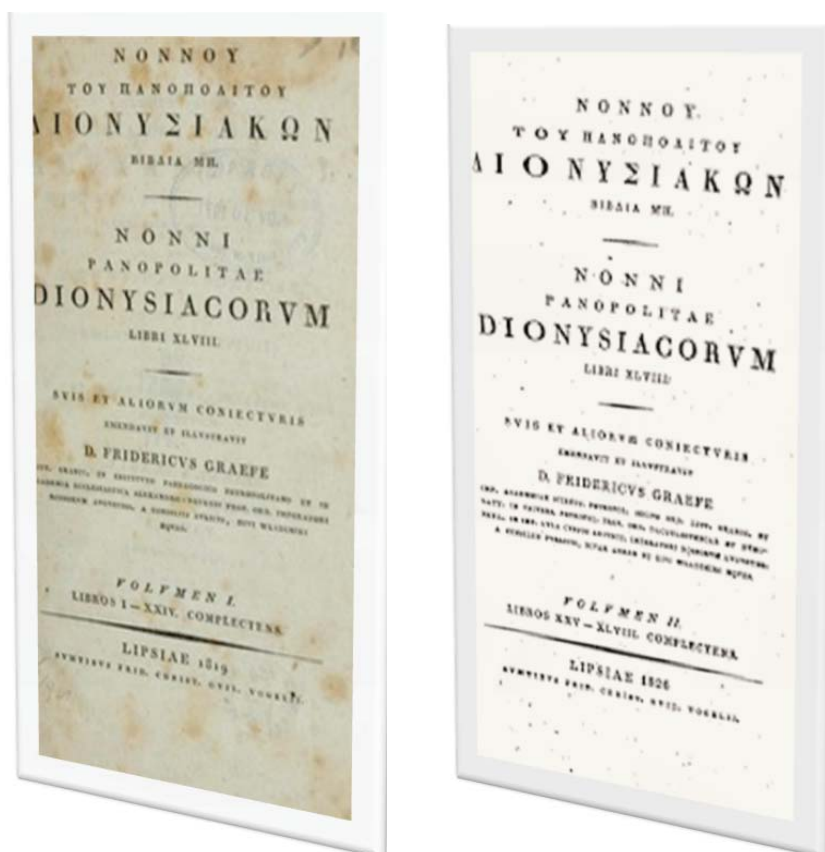
[Там же]

Двоюродный брат Блока Феликс Кублицкий-Пиоттух считал, что «Н. В. Гун едва ли мог быть действительно близок Блоку, так как по всем своим привычкам и вкусам был далек от духа и интересов, господствовавших в бекетовской семье» [Кублицкий, 1980, с. 82]. Независимо от степени приятельской «близости»/«дальности», вероятно, именно Николай Гун и стал прототипом образа Дмитрия. Исследователи отмечают: «...в образе Дмитрия выведен гимназический приятель главного героя — Кока Гун» [Грякалова, Иванова, 2013]; «возможно, существует сложно опосредованная связь между Гуном и художественным образом гимназического товарища... Дмитрием» [Кумпан, Конечный, 1987, с. 608].

В исповеди автор вспоминает: «Дмитрий и в старших классах остался таким же нежным и стройным мальчиком. Пушок бороды и усов пробивался еле заметно на его нежном лице, на котором сквозь тонкую кожу проступал совершенно отроческий румянец [на лбу вольный завиток]. Он напоминал лицом и телом, как мне кажется теперь, Лидийского Диониса⁴» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 44]. Под блоковские описания Дмитрия (в первый гимназический день во второй главке и в «старших классах» в четвертой) подходит скорее возлюбленный Диониса — Ампелос, известный как «Лидийский Ампел (Ampelos — виноградная лоза)» [Иванов, 1994, с. 88]. Образы Диониса и Лидийского Амπεла, их взаимоотношения описал древнегреческий поэт V века Нонн Панополитанский в грандиозной поэме «Деяния Диониса». Переводы поэмы на русский язык до 1997 года не известны. Но в принципе Блок мог познакомиться с древнегреческой поэмой в переводе на немецкий язык. В 1813 году немецкий профессор Фридрих Грефе (Fridericus Graefe), преподававший греческую литературу в Глав-

⁴ Наиболее авторитетное исследование дионисийства на русском языке, как известно, принадлежит Вяч. Иванову «Дионис и прадионисийство», где Дионис во всем мыслим «двуликим и двуприродным» [Иванов, 1994, с. 92]. «Двуликость его божественного существа обуславливает двойственность его культа [Там же, с. 93]. Он «мужеженский» бог, «повязанный женской головной повязкой», двигатель и виновник женского полового иступления [Там же, с. 138]. До издания книги (Баку, 1923) ее значительные фрагменты в виде серии статей печатались в ежемесячнике «Новый Путь» за 1904 год под заглавием «Эллинская религия страдающего бога» (Введение, Глава I — № 1. С. 110–124; Глава II — № 2. С. 48–77; Глава III — № 3. С. 38–61; Глава IV — № 5. С. 29–40; Глава IV — № 8. С. 17–26; Глава V — № 9. С. 47–70), а затем в сменившем его ежемесячнике «Вопросы Жизни» за 1905 год под заглавием «Религия Диониса» (Главы I–II — № 6. С. 185–220; Главы IV–V — № 7. С. 122–148). См.: [Иванов, 1904; 1905].

ном Педагогическом институте и в Духовной Академии в Санкт-Петербурге, издал книгу “Des Nonnos Hymnos und Nikaia” [Graefe, 1813], которая включала в себя греческий текст части «Деяний Диониса», комментарий и стихотворный перевод на немецкий язык, а позже опубликовал поэму полностью [Nonni Panopolitae, 1819–1826] в Лейпциге в двух томах [Захарова, Торшилов, 2003, с. 15].



В 10-й песне «Деяний» молодой Дионис, путешествуя по Лидии, встречается юношу, влюбляется в него: «Юношей Вакх пленился с ликом румяным и нежным. / Ибо в отрогах фригийских юноша Ампелос вырос / И возмужал... / Нежный пушок подбородка, юности цвет золотистый / Не препоясал ланиты округлые... пряди [волос его]... Вились вольно» [Нонн Панополитанский, 1997, с. 105–106]. Если сравнить описание Амπεла у Нонна и описания Дмитрия у Блока, то переключки очевидны. Согласно мифу, Ампелос и Дионис вместе путешествовали, охотились, пели, играли, пировали, соревновались в спортивных состязаниях. Дионису было пророчество: Ампелос умрет молодым. Он пытался предотвратить трагедию, но юноша погиб. И прототип образа Дмитрия — Николай Гун, как отмечалось, погиб молодым. В 1898 году Блок подарил ему свою фотографию с надписью: «Не забывай... в тяжелые минуты жизни своего друга, который всегда будет готов помочь тебе...» [Кумпан, Конечный, 1987, с. 610].

В последней, пятой главке исповеди автор рассказывает о своей поездке с Дмитрием верхом из Шахматова в Боблово, описывает конное соревнование своего серого «мерина в яблоках» с «золотисто-рыжей кобылой» Дмитрия и «тот особый задор, который роднит между собою ветер, лошадь и человека и связывает их одним стремлением к неизвестным далям, открывающимся по весне» [Блок, 1960–1963, т. 6, с. 45]. Неожиданно появляется странный эпизод:

...подъехал отставший от меня Дмитрий... Вдруг его нижняя губа дрогнула, и он произнес проникновенным голосом... стихи. ... взглянул на меня круглыми глазами, в которых было желание узнать мое мнение о его стихах. Я почувствовал внезапный прилив презрения к этому мальчику, отвернулся, сцепил зубы и ударил серого хлыстом. ...Серый... помчался.

[Там же, с. 46–47]

Испытанное презрение и стремительное удаление от него как бы ставит точку в отношении к «мальчику». Перемена настроений и отношений закрепляется итоговой картиной: безумная гонка автобиографического героя завершается идиллическим видением «розовой девушки». «Вдруг пронесся неожиданный ветер и осыпал яблоневого и вишневого цвет. За вьюгой белых лепестков, полетевших на дорогу, я увидел сидящую на скамье статную девушку в розовом платье с тяжелой золотой косой» [Там же, с. 48]. Образ девушки, основанный на жизненном факте, реальном прототипе (Люба Менделеева), несет в себе и будущий символ Вечной Женственности, фиксируя таким образом зарождение блоковского мифа — автобиографического и художественного. «Применительно к творчеству Блока, — отмечала Д. М. Магомедова, — мало видеть границы между “жизненным” и “литературным” рядами. Важно понять, что в сознании поэта существовал третий ряд событий — сакральный, эзотерический... Это и есть автобиографический миф, равно определяющий и осмысление эмпирической реальности, и “поэтику” жизненного поведения Блока, и развитие... мотивов его творчества» [Магомедова, 1997, с. 3].

Исповедь, будучи признанием, связанным с биографическим опытом автора, благодаря символично-эстетической оптике последнего эпизода — «видения», свидетельствует об обретении истинного пути. В совершении таинства исповеди, — учил И. Ильин, — происходит отрыв от «прежнего» и начало «нового», должен «“зачаться” новый человек — по-новому видящий, любящий, постигающий, желающий и действующий...» [Ильин, 2004, с. 300]. «Исповедь язычника» включает основные компоненты исповедального текста: здесь есть раскаяние в давнем грехе; есть метанойя — перемена настроения (от обо-

жания мальчика к его презрению), есть «исправление», примирение с самим собой, возвращение на путь истинный (выбор розовой девушки). Значит, в основе своей текст как исповедь состоялся, и он завершен.

Список источников

Бекетова М. А. Александр Блок. Биографический очерк. 2-е изд. Л.: Academia, 1930. 321 с.

Бердяев Н. А. Письма молодого Бердяева / публ. Д. Барас // Память: Исторический сб. Париж: ИМКА-Пресс, 1981. Вып. 4. С. 220–245.

Блок А. А. Записные книжки. 1901–1920 / под общ. ред. В. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского. М.: Худож. лит., 1956. 663 с.

Блок А. А. Собрание сочинений: в 8 т. / под общ. ред. В. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского. М.-Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1960–1963. 8 т.

Вейнингер О. Пол и характер. Теоретическое исследование / пер. с нем. В. Лихтенштадта, под ред. и с предисл. А. Л. Волынского. СПб.: Посев, 1908. 484 с.

Вейнингер О. Пол и характер / пер. с нем. В. Лихтенштадта. М.: Астрель, 2012. 512 с.

Волкова Т. Н. Исповедь // Поэтика: Словарь актуальных терминов и понятий / гл. науч. ред. Н. Д. Тамарченко. М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. С. 85–86.

Гиппиус З. Н. Собрание сочинений / сост., примеч. Т. Ф. Прокопова, вступ. ст. А. Н. Николюкина. М.: Русская книга, 2003. Т. 8: Дневники 1893–1919. 576 с.

Грякалова Н., Иванова Е. Записные книжки Александра Блока без купюр // Наше наследие. 2013. № 105. С. 91–105. URL: <http://www.nasledie-rus.ru/print/rhprint.php> (дата обращения: 29.06.2022).

Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Русский язык, 1978–1980. 4 т.

Даниленко В. П. Александр Блок о духовной культуре (на материале его дневников) // Magister Dixit. 2013. № 4. С. 345–356.

Захарова А. В., Торшилов Д. О. Глобус звездного неба: Поэтическая мастерская Нонна Панополитанского. СПб.: Алетейя, 2003. 377 с.

Иванов В. И. Дионис и прадионисийство. СПб.: Алетейя, 1994. 350 с.

Иванов В. И. Религия Диониса // Вопр. жизни. 1905. № 6. С. 185–220; № 7. С. 122–148.

Иванов В. И. Эллинская религия страдающего бога // Новый путь. 1904. № 1. С. 110–124; № 2. С. 48–77; № 3. С. 38–61; № 5. С. 29–40; № 8. С. 17–26; № 9. С. 47–70.

Ильин И. А. Аксиомы религиозного опыта. М.: ООО АСТ, 2004. 386 с.

Иоанн Златоуст. Творения: в 12 т. СПб.: С.-Петербург. духов. акад., 1903. Т. 9, кн. 2. 1018 с.

Кантор В. К. Изображая, понимать, или *Sententia sensa*: философия в литературном тексте. М.; СПб.: ЦГИ Принт, 2017. 832 с.

Клеиш А. Русский гомосексуал (1905–1938 гг.): парадоксы восприятия // Новое лит. обозрение. 2012. № 5 (117). С. 96–115.

Кон И. С. Клубничка на березке: Сексуальная культура в России. 3-е изд. испр. и доп. М.: Время, 2016. 608 с. URL: <https://znanium.com/catalog/product/1018493> (дата обращения: 29.06.2022).

Кублицкий Ф. А. Саша Блок. Из воспоминаний детства и юности // Александр Блок в воспоминаниях современников: в 2 т. М.: Худож. лит., 1980. Т. 1. С. 82–90.

Кумпан К. А., Конечный А. М. Александр Блок во Введенской гимназии // Александр Блок: Новые материалы и исследования: в 4 кн. / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. [Отв. ред. И. С. Зильберштейн и Л. М. Розенблюм]. М.: Наука, 1987. Кн. 4. С. 597–619. (Лит. наследство. Т. 92).

Луцевич Л. Ф. Автобиографические исповеди в литературе: Претексты. Тексты. Контексты. М.: Наука, 2020. 502 с.

Магомедова Д. М. Автобиографический миф в творчестве Александра Блока. М.: Мартин, 1997. 224 с.

Матич О. Эротическая утопия: новое религиозное сознание и *fin de siècle* в России / пер. с англ. Е. Островской. М.: Новое лит. обозрение, 2008. 400 с. URL: <https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9C/matich-oljga/eroticheskaya-utopiya-novoe-religioznoe-soznanie-i-fin-de-sicle-v-rossii/4> (дата обращения: 29.06.2022).

Мочульский К. В. Александр Блок. Париж: YMCA-PRESS, 1948. 443 с.

Нонн Панополитанский. Деяния Диониса / пер. Ю. А. Голубца, вступ. ст. А. В. Захаровой. СПб.: Алетейя, 1997. 595 с. URL: <http://simposium.ru/ru/node/11836> (дата обращения: 29.06.2022).

Павлова М. М. От составителя // Эротизм без берегов: Сб. статей и материалов / сост. М. М. Павлова. М.: Новое лит. обозрение, 2004. С. 5–6.

Покаяние // Полный православный богословский энциклопедический словарь. СПб.: Изд-во П. П. Сойкина, [1913]. Т. II. Стлб. 1826–1827.

Розанов В. В. Пол и душа // Розанов В. В. Собрание сочинений: Во дворе язычников / под общ. ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 1999. С. 213–220.

Тимошенко М. И. Христология Александра Блока // Научные труды кафедры русской литературы БГУ. Минск: БГУ, 2003. Вып. II. С. 74–90.

Троицкий В. А. Очерки из истории догмата о Церкви. Сергиев Посад: Тип. Св.-Тр. Сергиевой Лавры, 1912. 559 с.

Тэффи Н. А. Исповедь // Тэффи Н. А. Тихая заводь. Париж: Книгоиздательство «Русская земля», 1921. С. 125–133.

Устав гимназий и прогимназий министерства народного просвещения // Полное собрание законов Российской империи. Собр. второе. СПб.: Б. и., 1874. Т. XLVI, отд. 2: 1871. № 49860. С. 85–99.

Фукс И. Б. Гомосексуализм как преступление. Юридический и уголовно-политический очерк. СПб.: Тип. т-ва «Обществ. польза», 1914. 94 с.
URL: <http://www.bibliard.ru/vcd-1000000-1-1000008/index.html> (дата обращения: 29.06.2022).

Хайруллин К. Бог и революция // Зарубежные записки. 2015. № 27. С. 68–85.

Шабельская Г. А. Примечания // Блок А. А. Собрание сочинений: в 8 т. М.-Л.: Гос. изд-во худож. лит., 1962. Т. 6: Проза 1918–1921. С. 493–551.

Шмеман А., *протопр.* Великий Пост / сост. С. А. Шмемана, пер. с англ. матери Серафимы (Осоргиной). М.: Моск. рабочий, 1993. 111 с.

Эткинд А. Хлыст: Секты, литература и революция. 3-е изд. М.: Новое лит. обозрение, 2019. 648 с. URL: <https://www.litres.ru/aleksandr-etkind/hlyst/chitat-onlayn/> (дата обращения: 29.06.2022).

Graefe F. Des Nonnos Hymnos und Nikaea. St. Petersburg, 1813.

Nonni Panopolitae. Dionysiacorum libri XLVIII. Suis et aliorum co niecturis emendavit et illustravit D. Fridericus Graefe, litt. graecc. in instituto paedagogico Petropolitano et in academia ecclesiastica Alexandro-Nevensis prof. ord., imperatori Rossorum augustiss. a consiliis aulicis, divi Wladimirieques. Vol. I: libros I–XXIV complectens. Lipsiae: Sumptibus Frid. Christ. Guil. Vogelii, 1819; Vol. II: libros XXV–XLVIII complectens. Lipsiae: Sumptibus Frid. Christ. Guil. Vogelii, 1826.

References

Beketova, M. A. (1930) *Aleksandr Blok. Biograficheskij ocherk [Alexander Blok. Biographical Sketch]*. 2nd edn. Leningrad: Academia Publ.

Berdjaev, N. A. (1981) “Pis'ma molodogo Berdjaeva” [“Letters of the Young Berdy-aev”], *Pamjat': Istoricheskij sbornik. Vypusk 4 [Memory: A Historical Collection. Iss. 4]*. Paris: YMCA-PRESS Publ., pp. 220–245.

Blok, A. A. (1965) *Zapisnye knizhki. 1901–1920 [Notebooks. 1901–1920]*. Ed. by V. N. Orlov, A. A. Surkov, K. I. Chukovsky. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ.

Blok, A. A. (1960–1963) *Sobranie sochinenij: v 8 tomakh [Collected Works: 8 vols]*. Ed. by V. N. Orlov, A. A. Surkov, K. I. Chukovsky. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel'stvo khudozhestvennoj literatury [State Publishing House of Fiction].

Vejninger, O. (1908) *Pol i harakter. Teoreticheskoe issledovanie [Gender and Character. Theoretical Research]*. Transl. from the Ger. by V. Lihtenshtadt. St. Petersburg: Posev Publ.

Vejninger, O. (2012) *Pol i karakter* [*Gender and Character*]. Transl. from the Ger. by V. Lihtenshtadt. Moscow: Astrel' Publ.

Volkova, T. N. (2008) “Ispoved” [“Confession”], in *Pojetika: Slovar' aktual'nyh terminov i ponjatij* [*Poetics: Dictionary of Current Terms and Concepts*] Ed. by N. D. Tamarchenko. Moscow: Kulaginoj Publ.; Intrada Publ., pp. 85–86.

Gippius, Z. N. (2003) *Sobranie sochinenij. Tom 8: Dnevniky 1893–1919* [*Collected Works. Vol. 8: Diaries 1893–1919*]. Comp., notes by T. F. Prokopov, preface by A. N. Nikolyukin. Moscow: Russkaja kniga Publ.

Grjakalova, N. and Ivanova, E. (2013) “Zapisnye knizhki Aleksandra Bloka bez kupjur” [“Alexander Blok’s Notebooks without Notes”], *Nashe Nasledie* [*Our Legacy*], 105, pp. 91–105. Available at: <http://www.nasledie-rus.ru/print/phprint.php> (Accessed: 29 June 2022).

Dal', V. I. (1978–1980) *Tolkovyj slovar' zhivogo velikoruskogo jazyka: v 4 tomakh* [*Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language: 4 vols*] Moscow: Russkij jazyk Publ.

Danilenko, V. P. (2013) “Aleksandr Blok o duhovnoj kul'ture (na materiale ego dnevnikov)” [“Alexander Blok on Spiritual Culture (Based on the Material of his Diaries)”], *Magister Dixit*, 4, pp. 345–356.

Zaharova, A. V. and Torshilov, D. O. (2003) *Globus zvezdnogo neba: Pojeticheskaja masterskaja Nonna Panopolitanskogo* [*The Globe of the Starry Sky: The Poetic Workshop of Nonna Panopolitan*]. St. Petersburg: Aletejja Publ.

Ivanov, V. I. (1994) *Dionis i pradionisizstvo* [*Dionysus and Pradionisism*]. St. Petersburg: Aletejja Publ.

Ivanov, V. I. (1905) “Religija Dionisa” [“The Religion of Dionysus”], *Voprosy zhizni* [*Questions of Life*], 6, pp. 185–220; 7, pp. 122–148.

Ivanov, V. I. (1904) “Jellinskaja religija stradajushhago boga” [“The Hellenic Religion of the Suffering God”], *Novyj put'* [*A new Path*], 1, pp. 110–124; 2, pp. 48–77; 3, pp. 38–61; 5, pp. 29–40; 8, pp. 17–26; 9, pp. 47–70.

Il'in, I. A. (2004) *Aksiomy religioznogo opyta* [*Axioms of Religious Experience*]. Moscow: OOO AST Publ.

Ioann Zlatoust (1903) *Tvorenija: v 12 tomakh. Tom 9, kniga 2* [*Creations: 12 vols. Vol. 9, Book 2*]. St. Petersburg: Sankt-peterburgskaya dukhovnaya akademiya Publ.

Kantor, V. K. (2017) *Izobrazhaja, ponimat', ili Sententia sensa: filosofija v literaturnom tekste* [*Portraying, Understanding, or Sententia sensa: Philosophy in a Literary Text*]. Moscow; St. Petersburg: CGI Print Publ.

Klesh, A. (2012) “Russkij gomoseksual (1905–1938 gg.): paradoksy vosprijatija” [“The Russian Homosexual (1905–1938): Paradoxes of Perception”], *Novoe literaturnoe obozreniye* [*New Literary Review*], 5(117), pp. 96–115.

Kon, I. S. (2016) *Klubnichka na berezke: Seksual'naja kul'tura v Rossii* [*Strawberry on a Birch Tree: Sexual Culture in Russia*]. 3rd edn. Moscow: Vremja Publ. Available at: <https://znanium.com/catalog/product/1018493> (Accessed: 29 June 2022).

Kublickij, F. A. (1980) “Sasha Blok. Iz vospominanij detstva i junosti” [“Sasha Blok. From the Memories of Childhood and Youth”], in *Aleksandr Blok v vospominanijah sovremennikov: v 2 tomakh. Tom 1* [*Alexander Blok in the Memoirs of Contemporaries: 2 vols. Vol. 1*]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura Publ., pp. 82–90.

Kumpan, K. A. and Konechnyj, A. M. (1987) “Aleksandr Blok vo Vvedenskoj gimnazii” [“Alexander Blok in the Vvedenskaya Gymnasium”], in *Aleksandr Blok: Novye materialy i issledovanija. Kniga 4* [*Alexander Blok: New materials and research. Book 4*]. Ed. by I. S. Zil'bershtein and L. M. Rozenblyum; AN SSSR. Institut mirovoi literatury imeni A. M. Gor'kogo. Moscow: Nauka Publ., pp. 597–619. (Literaturnoe nasledstvo. Tom 92 [Literary Legacy. Vol. 92]).

Lucevich, L. F. (2020) *Avtobiograficheskie ispovedi v literature: Preteksty. Teksty. Konteksty* [*Autobiographical Confessions in Literature: Pretexts. Texts. Contexts*]. Moscow: Nauka Publ.

Magomedova, D. M. (1997) *Avtobiograficheskiy mif v tvorchestve Aleksandra Bloka* [*Autobiographical Myth in the Works of Alexander Blok*]. Moscow: Martin Publ.

Matich, O. (2008) *Jeroticheskaja utopiya: novoe religioznoe soznanie i fin de siècle v Rossii* [*Erotic Utopia: A New Religious Consciousness and fin de siècle in Russia*]. Transl. from the Engl. by E. Ostrovskaja. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ. Available at: <https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%9C/matich-oljga/eroticheskaya-utopiya-novoe-religioznoe-soznanie-i-fin-de-sicle-v-rossii/4> (Accessed: 29 June 2022).

Mochul'skij, K. V. (1948) *Aleksandr Blok* [*Alexander Blok*]. Paris: YMCA-PRESS Publ.

Nonn Panopolitanskij (1997) *Dejanija Dionisa* [*Acts of Dionysus*]. Transl. by Ju. A. Golubets, preface by A. V. Zakharova. St. Petersburg: Aletejja Publ. Available at: <http://simposium.ru/ru/node/11836> (Accessed: 29 June 2022).

Pavlova, M. M. (2004) “Ot Sostavitelja” [“From the Compiler”], in *Jerotizm bez beregov: Sbornik statej i materialov* [*Eroticism without Shores: A Collection of Articles and Materials*]. Comp. by M. M. Pavlova. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ., pp. 5–6.

“Pokajanie” [“Repentance”] (1913) in *Polnyj pravoslavnyj bogoslovskij jenciklopedicheskij slovar'. Tom 2* [*The Complete Orthodox Theological Encyclopedic Dictionary. Vol. II*]. St. Petersburg: P. P. Sojkin Publ, col. 1826–1827.

Rozanov, V. V. (1999) “Pol i dusha” [“Gender and Soul”], in Rozanov, V. V. *Sobranie sochinenij: Vo dvore jazychnikov* [*Collected Works: In the Yard of the Pagans*]. Ed. by A. N. Nikoljukin. Moscow: Respublika Publ., pp. 213–220.

Timoshhenko, M. I. (2003) “Hristosologija Aleksandra Bloka” [“The Christology of Alexander Blok”], in *Nauchnye trudy kafedry russoj literatury BGU. Vypusk II* [Scientific Works of the Department of Russian Literature of Belarusian State University. Iss. 2]. Minsk: BSU Publ., pp. 74–90.

Troickij, V. A. (1912) *Očerki iz istorii dogmata o Cerkvi* [Essays from the History of the Dogma of the Church]. Sergiev Posad: Tipografiya Svyato-Troitskoi Sergievoj Lavry.

Tjeffi, N. A. (1921) “Ispoved” [“Confession”], in Tjeffi, N. A. *Tihaja zavod’* [Quiet Backwater]. Paris: Knigoizdatel’stvo “Russkaja zemlja”, pp. 125–133.

“Ustav gimnazij i progimnazij ministerstva narodnogo prosveshhenija” [“The Charter of gymnasiums and progymnasiums of the Ministry of Public Education”] (1874) in *Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii. Sobranie vtoroe. Tom XLVI, ot-delenie 2: 1871* [Complete Collection of Laws of the Russian Empire. The Second Collection. Vol. XLVI, Unit 2: 1871]. St. Petersburg, pp. 85–99.

Fuks, I. B. (1914) *Gomoseksualizm kak prestuplenie. Juridicheskij i ugolovno-politicheskij ocherk* [Homosexuality as a Crime. Legal and Criminal-political Essay]. St. Petersburg: Tipografiya tovarishchestva “Obshchestvennaya pol’za”. Available at: <http://www.bibliard.ru/vcd-1000000-1-1000008/index.html> (Accessed: 29 June 2022).

Hajrullin, K. (2015) “Bog i revoljucija” [“God and the Revolution”], *Zarubezhnye zapiski* [Foreign Notes], 27, pp. 68–85.

Shabel’skaja, G. A. (1962) “Primechanija” [“Notes”], in Blok, A. A. *Sobranie sochinenij: v 8 tomakh. Tom 6: Proza 1918–1921* [Collected Works: 8 vols. Vol. 6: Prose 1918–1921]. Moscow; Leningrad: Gosudarstvennoe izdatel’stvo khudozhestvennoj literatury [State Publishing House of Fiction], pp. 493–551.

Shmeman, A. (1993) *Velikij Post* [Great Lent]. Comp. by S. A. Shmeman, transl. from the Engl. by mother Serafima (Osorgina). Moscow: Moskovskij Rabochij Publ.

Jetkind, A. (2019) *Hlyst: Sekty, literatura i revoljucija* [The Whip: Sects, Literature and Revolution]. 3rd edn. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie Publ. Available at: <https://www.litres.ru/aleksandr-etkind/hlyst/chitat-onlayn/> (Accessed: 29 June 2022).

Graefe, F. (1813) *Des Nonnos Hymnos und Nikaea*. St. Petersburg.

Nonni Panopolitae (1819–1826) *Dionysiacorum libri XLVIII. Suis et aliorum coniecturis emendavit et illustravit D. Fridericus Graefe, litt. graecc. in instituto paedagogico Petropolitano et in academia ecclesiastica Alexandro-Nevensis prof. ord., imperatori Rossorum augustiss. a consiliis aulicis, divi Wladimirieques. Vol. I: libros I–XXIV complectens; Vol. II: libros XXV–XLVIII complectens*. Lipsiae: Sumptibus Frid. Christ. Guil. Vogelii.

Информация об авторе: Людмила Федоровна Луцевич — доктор филологических наук, профессор кафедры литературоведения и межкультурных исследований Института специальной и межкультурной коммуникации Факультета прикладной лингвистики Варшавского университета. Адрес: Polska, 00-312, Warszawa, ul. Dobra, 55.

Information about the author: Ludmila F. Lutsevich — DSc in Philology, Professor of the Department of Literature and Intercultural Studies at the Institute of Special and Intercultural Communication, Faculty of Applied Linguistics of the Warsaw University. Address: 55 Dobra ul., Warszawa, 00-312, Polska.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 02.07.2022;
одобрена после рецензирования 01.03.2023;
принята к публикации 10.03.2023.

The article was submitted 02.07.2022;
approved after reviewing 01.03.2023;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 230–236.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 230–236.

Рецензия на книгу / Book Review

УДК 141.31

doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-230-236

БАРОККО. СХОЛАСТИКА. ENS RATIONIS

Рецензия на монографию: Вдовина Г. В. Химеры в лесах схоластики.

Ens rationis и объективное бытие. СПб.: Изд-во СПбПДА;

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2021. 440 с.

(Теология: история и современность)

Марина Сергеевна Киселева

Институт философии Российской академии наук,

Москва, Россия, markiseleva2023@mail.ru



Ссылка для цитирования: Киселева М. С. Барокко. Схоластика. Ens rationis // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 230–236. doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-230-236.

Academic Life. Reviews

BAROQUE. SCHOLASTICISM. ENS RATIONIS

Review of the monograph: Vdovina, G. V. Chimeras in the Forests of Scholasticism.

Ens rationis and objective Being. St. Petersburg: Publishing House of SPbPDA;

Publishing House of A. I. Herzen RSPU, 2021. 440 p.

(Theology: History and Modernity)

Marina S. Kiseleva

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences,

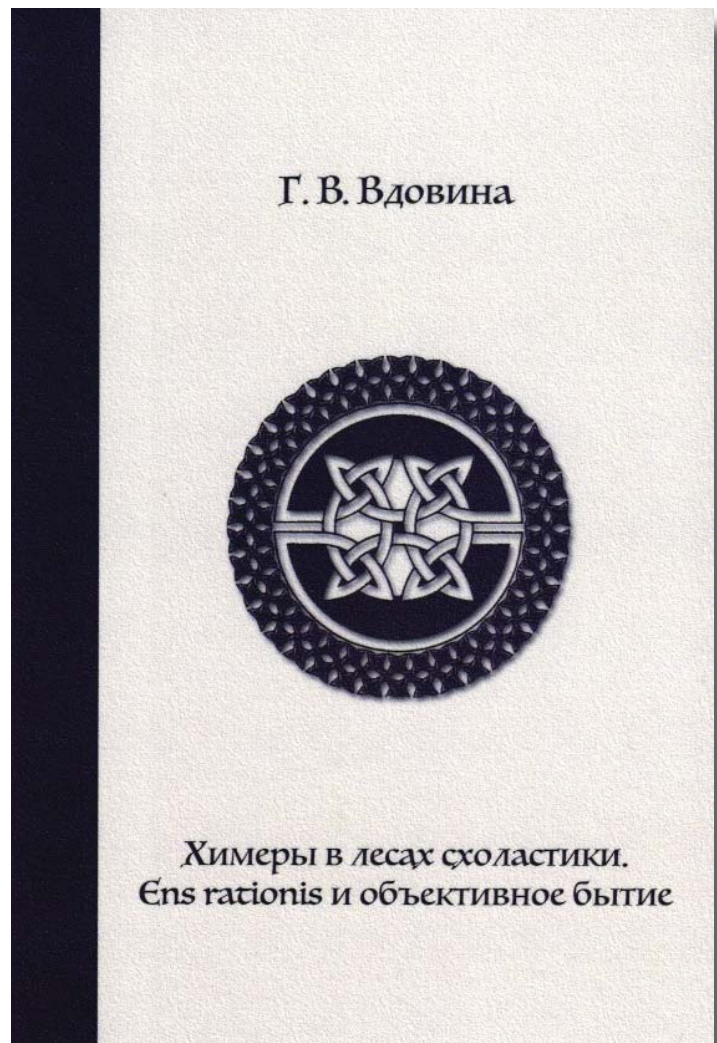
Moscow, Russia, markiseleva2023@mail.ru



For citation: Kiseleva, M. S. (2023) “Baroque. Scholasticism. *Ens rationis*”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 230–236. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-230-236.

В своей новой монографии известный историк средневековой европейской философии особенно ее позднего периода Г. В. Вдовина исследует «поле ментального сущего», где одной из значимых проблем интенциональной философии барочной схоластики являются *ens rationis* или *ens mentale* (сущее разума, рациональное или ментальное сущее). Чтобы понять, о чем идет речь, надо вообразить кентавра или козлооленя из античной литературы или химер, проживающих под крышами средневековых соборов в их практическом качестве сливных устройств для дождевой воды. Но не архитектурные решения, а высказывания о подобных «вымыслах» (откуда и название книги), с которыми имеет дело разум человека, стали предметом логических задач и метафизических рассуждений средневековых схоластов. Исследователю идей, отстоящих столь далеко от сегодняшнего дня, редко удастся продемонстрировать актуальность, а тем более разведывать и проследивать барочные смыслы в современных философских штудиях. Именно такая авторская забота обнаруживается в анализе текстов постсхоластики XVII века. Отметим также, что монография открывает новую книжную серию «Теология: история и современность» и имеет рекомендации к публикации от пяти светских и духовных академических и образовательных институций России.

Исследования оригинальных средневековых источников, которые даны в переводах произведений схоластов середины и второй половины



XVII века на русский язык, давно стали предметом научного интереса и глубокой работы Г. В. Вдовиной¹. И в этой книге русскоязычный читатель знакомится с новыми переводными текстами, причем часть из них не имеет исследовательской литературы не только среди философского сообщества нашей страны, но и в мировых медиевистских философских исследованиях. Монографию завершает Приложение, где опубликованы переводы фрагментов из «Метафизических рассуждений» Франсиско Суареса и «Всеобщей философии» Томаса Комптона Карлтона. Все эти тексты необходимы для того, чтобы читатель смог познакомиться и убедиться в оригинальности и логической организованности аргументов и дискуссий позднесcholастической литературы. Автор замечает, что среди историков философии за последние пятьдесят лет «фокус исследовательского интереса сместился от вершинных достижений высокой схоластики XIII в. к послетомистской теологии и философии конца XIII — первой половины XIV вв., схоластическая мысль этого ключевого периода изучается с доселе невиданной интенсивностью» (с. 6). С начала 2000-х годов этот же процесс заметен и среди российских философов, особенно петербуржцев, которые интенсивно работают с проблемами поздней схоластической мысли, защищая диссертации, публикуя книги, статьи, читая учебные курсы².

* * *

Исследование Г. В. Вдовиной о ментальном сущем (*ens rationis*) ведется в книге по направлениям, определенным самими барочными схоластами, которые задавали интересующие их вопросы и искали на них логичные и непротиворечивые ответы:

- что такое эти ментальные объекты?
- существуют ли они?
- какой способ (вид или модус) бытия им свойствен?
- каковы они в себе и в отношении к мыслящему их субъекту?
- какими потенциями души и в каких актах они производятся?

¹ См.: Вдовина Г. В. Интенциональность и жизнь. Философская психология постсредневековой схоластики. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив. 2019. *Ее же*. Язык неочевидного. Учения о знаках в схоластике XVII в. М.: Изд-во Института философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. Нельзя не упомянуть коллективное историко-философское исследование: Мера вещей. Человек в истории европейской мысли / под общ. ред. Г. В. Вдовиной. М.: Аквилон, 2015, в котором ей принадлежит семь статей (три в соавторстве) и один перевод неизвестного и непереводимого ранее на русский язык Иоанна Капреола.

² См.: Шмонин Д. В. В тени Ренессанса: вторая схоластика в Испании. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006; Схоластический рационализм в истории мышления: от Средних веков к Новому времени / отв. ред. Д. В. Шмонин. СПб.: Изд-во РХГА, 2013; и др.

Структура книги такова, что в каждой из глав эти вопросы исследуются через анализ произведений, в которых онтологические, эпистемологические и собственно теологические проблемы прорабатываются в полемическом противостоянии позиций их позднесредневековых авторов.

В четырех параграфах первой главы проблематика *ens rationis* излагается по источникам шести авторов-схоластов XVII века. Разбор аргументов каждого построен таким образом, что у читателя создается впечатление схоластического диспута по заданной в каждом параграфе теме. Вся глава, отвечая замыслу исследователя, становится экспозицией разнообразия вопросов и ответов, каждый из которых в последующих главах будет подробно исследован со всем вниманием к логическим и эпистемологическим аргументам. Ментальное сущее у каждого автора понимается и эксплицируется различно:

- на примере курса «Всеобщей философии» (1649) Томаса Комптона Карлтона представлена концепция, в которой признаются только «невозможные сущие», выраженные простыми понятиями (кентавр, человек-лев и т. д.) или суждениями («человек тождествен лошади», «существует другой Бог»);

- при чтении «Философского курса» (1672) Дионисио Бласко выявлены два типа: *ens rationis* — «выделенная внутри широкого пространства “сущего в душе” область, куда входит только то, что никогда, даже абсолютной властью Бога, не может существовать вне души» (с. 63); однако эта область разделена: один тип — «невозможные объекты» (*химерические* или *метафизические* ментальные сущие), другой — вторые интенции (*логические* ментальные сущие), обладающие «непосредственным основанием (*fundamentum*) в реальности» (там же);

- позиции ирландца Джона Панча по его «Целостному курсу философии в духе Скота» (1642) и иезуита Себастьяна Искьердо в трактате «Маяк наук» (1659) объединены на основании общего им понимания, что «сущностное бытие ментальных сущих утверждается как предшествующее их актуальному мышлению» (с. 87);

- концепция, отрицающая «наличие *ens rationis* как особых объектов, не сводимых к реальному сущему» (с. 116), выявлена в книге III «Метафизических диспутов» (1658) Пьетро Конти и в курсе «Логики» Стефано Спинолы; однако обзор их аргументов и выводов показал разное основание, на котором строится отрицание невозможных объектов *ens rationis*.

Онтологический статус «не-сущего» стал предметом анализа второй главы. Именно здесь дискутируется тема бытия химер (§§ 3–4). Как показывает исследователь, она имела этапы развития в барочной схоластике: от «реалистской метафизики» Франсиско Суареса, которая, как казалось, исчерпала вопросы по

поводу статуса *ens rationis*, до аргументов Гаэтано Феличе Верани и Стефано Спинолы в их дискуссии о природе и признаках ментально существ как объектов. Барочные схоласты рассматривают вопрос о том, «как работает когнитивная интенциональность, как она конструирует объекты — чистые объекты — интеллекта, каковы отношения, возникающие между конститутивным актом и объектом как таковым...» (с. 144). «Объективность» *ens rationis* обсуждалась в их ментальном отношении как процедуры интенциональности, и только тогда ментальное сущее являло свою «сущую объективность». Проблема самих способов этого продуцирования, например в случаях отрицаний и негативности, имела отдельную аргументацию, так же как и вопрос о Божественных творческих актах: может ли Бог создавать ментально сущие и познавать их? И тогда возникал спор о «возможностном» статусе вещей. Заметим, что Вдовина указывает в этой главе на те самые проблемы, над которыми работал Ф. Brentano и его ученики два века спустя, и возвращается к современной полемике, посвященной Brentановой философии в заключение всей книги.

Подробное исследование познаваемости ментального сущего исследуется в третьей главе монографии. Выяснение содержания процедур интенционального конституирования ментального сущего проведено с опорой на тексты схоластов в нескольких аспектах:

- «внутренней и внешней» познаваемости (Т. Комптон Карлтон);
- присутствия Божественного интеллекта как условия познаваемости (Тирс Гонсалес де Санталья);
- абсолютной познаваемости *ens rationis* (Себастьян Искьердо и Людвиг Бабенштубер);
- парадоксальном, в связи с вопросом о невозможности постигать невозможное (Пьетро Сфорца Паллавичино и Пьетро Конти);
- познаваемости того, что не дано (С. Спинола).

В четвертой главе обсуждаются модусы отрицания и лишенности (*carentiae*) также с опорой на источники барочной схоластики. В ней прослеживается разработка логических моделей формирования обще- и частноотрицательных суждений, выясняется, есть ли у них референция и как они могут определяться в качестве истинных (дается анализ термина *verificativum* негативных актов и ставится вопрос о негативном бытии). Последний параграф этой главы показывает, как решается проблема воображаемого пространства и времени в «Логике» Дионисио Бласко. В целом же проблема онтологического статуса отрицаний стала существенным аспектом обновления схоластической метафизики.

В последней, пятой главе *ens rationis* рассматриваются «под взглядом Бога», то есть в теологическом контексте, что, как пишет исследователь, позволяет

радикализировать дискуссию предшествующих глав. Такая возможность связана с тем, что Божественный интеллект не подчинен ограничениям, которые сковывают интеллект тварный, а именно зависимости от тела и врожденной конечности. Автор различает шесть вариантов позиций, по которым Бог в Его собственном разуме зависимо/независимо от тварного интеллекта познает/не познает и производит/не производит *ens rationis*. Вдовина рассматривает аргументы сторонников и критиков каждого из вариантов отмеченных ею схоластических позиций. Результат позволяет сделать вывод о двух аспектах исследуемой проблемы: философском, где статус *ens rationis* заключается «в прояснении общих условий мышления и познания, а также тех видов бытия, которые свойственны мыслимым вещам» (с. 344), и теологическом, когда философствующие теологи «нащупывают пределы богопознания, доступные тварному разуму» (с. 345), анализируя познание и порождение Богом ментальных сущих. Таким образом, заключает исследователь, метафизика в барочной схоластике разворачивалась от исследования бытия как внеположенного интеллекту начала к исследованию бытия как общего поля реальности и мыслимости.

Заключение определяется признанием автора: Вдовина пишет, что книга была задумана как «своего рода разведывательная экспедиция» для составления топографической карты поля ментального сущего, центром которого являются многочисленные *entia rationis*. Поэтому интенциональная проблематика — выяснение отношения между когнитивным актом и объектом — включает не только теологические проблемы, но и традиционные области знания: логику, метафизику и учение о душе. Автор заключает, что *entia rationis* являются тем видом объектов, которые служат *инструментом интенционального анализа* вопросов, интересующих барочных схоластов. А раз так, то, утверждает автор, разноголосица концепций возможна в «многоцветном» поле ментального сущего (с. 346).

Несомненным для исследователя является утверждение, что центром дискурса о ментальном сущем являются онтологическая и эпистемологическая проблематики без их жесткого разграничения, что объясняет обязательность темы *ens rationis* в философских курсах XVII — первой половины XVIII века. Именно поэтому, пишет Вдовина, «анализ содержания онтологических понятий не мог обойтись без их интенциональной конституции; именно поэтому так важно было для этих философов понять, какими потенциями и в каких актах производится ментальное сущее; именно поэтому вопрос о возможности Бога породить и познавать *entia rationis* стал неотъемлемой частью более широких дискуссий о *scientia Dei* — внутрибожественном знании» (с. 349).

Завершая чтение монографии, нельзя не согласиться с автором, что при всей важности изучения схоластики барокко как таковой в ней просматриваются глубокие исторические корни интенциональной философии XIX–XX веков. В современной литературе по этому вопросу есть разные суждения, но, как показано в исследовании Вдовиной, в работе Ф. Brentano «Психология с эмпирической точки зрения» (1874) «упакованы» именно те вопросы, которые формулировали и обсуждали философы XVII века. И в дальнейшем творчестве философа исследователь опознает аргументы и обсуждаемые схоластами проблемы. Более того, в современной философии присутствует различие *entia rationis* как логического (например, идеальные научные модели) и метафизического ментального сущего (самопротиворечивые объекты или фикции на почве воображения).

Иными словами, учебники по истории философии требуют серьезной коррекции. Дальнейшая работа, которая необходима в этом направлении, уже намечена автором в последнем абзаце Заключения этой монографии.

Информация об авторе: Марина Сергеевна Киселева — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.

Information about the author: Marina S. Kiseleva — DSc in Philosophy, Professor, Principal Research Fellow at the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Address: 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 06.02.2023;
принята к публикации 10.03.2022.

The article was submitted 06.02.2023;
accepted for publication 10.03.2022.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 237–242.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 237–242.

Рецензия на книгу / Book Review

УДК 130.2

doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-237-242

ЗАЧЕМ ЭСТОНЦУ ПОНИМАТЬ РОССИЮ?

Рецензия на книгу: Тинн Э. Бронзовая голова. Статьи и эссе разных лет.

Таллинн: Изд-во Aleksandra, 2021. 576 с.

Алина Андреевна Жукова

Национальный исследовательский
университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия, aazhukova@hse.ru



Благодарности: Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).



Ссылка для цитирования: Жукова А. А. Зачем эстонцу понимать Россию? // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 237–242. doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-237-242.

Academic Life. Reviews

WHY SHOULD AN ESTONIAN UNDERSTAND RUSSIA?

Review of the book: Tinn, E. Bronze Head. Articles and Essays From Different Years.

Tallinn: Aleksandra Publ., 2021. 576 p.

Alina A. Zhukova

National Research University “Higher School of Economics”,
Moscow, Russia, aazhukova@hse.ru

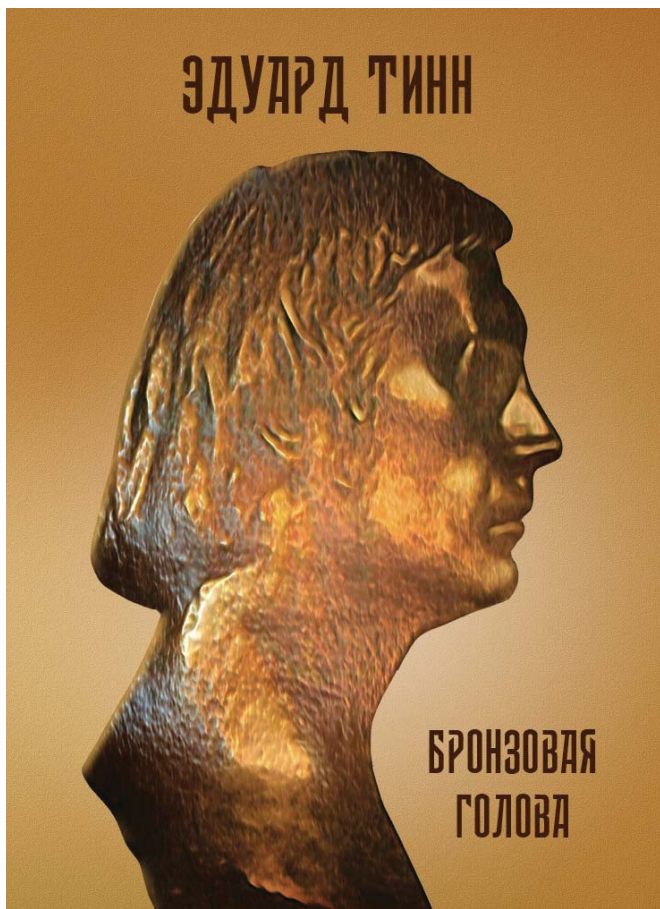


Acknowledgments: The article was prepared within the framework of the Basic Research Program at the National Research University “Higher School of Economics” (HSE University).



For citation: Zhukova, A. A. (2023) “Why Should an Estonian Understand Russia?”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 6(1), pp. 237–242. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2023-6-1-237-242.

«**К**ак представитель народа, история которого тесно связана как с Западом, так и с Россией, я стою на том, что Евросоюз не имеет права отказываться от своих классических, европейских, ценностей и становиться бесхребетным образованием, а Россия не должна забывать наследие Петра I и Екатерины Великой, утверждавшей, что “Россия — европейская держава”» (с. 5–6), — именно так с самого начала книги, в предисловии, обозначает



свою позицию эстонский доктор философии Эдуард Тинн. Именно к трансформации ценностей он сводит проблему русско-европейского интеллектуального диалога. В 2021 году в «Философических письмах» была опубликована его статья о моделях мышления Запада и России [Тинн, 2021] (она есть и в сборнике), а в прошлом году читателям этого журнала удалось познакомиться и с личностью автора — сквозь призму воспоминаний В. К. Кантора о многолетней дружбе с ним в контексте амбивалентности русско-эстонских отношений [Кантор, 2022]. В «Бронзовой голове» Э. Тинн собирает свои статьи и эссе, написанные с конца 1980-х годов. Этому сборнику по-

счастливилось успеть выйти в 2021 году в небольшом таллинском издательстве Aleksandra, специализирующемся на русскоязычной литературе. Посвятил его автор, что примечательно, своей русской бабушке Лидии Алексеевне.

Предисловие в «Бронзовой голове» является ключом к восприятию всей книги. Во-первых, автор помещает здесь несколько предупреждений, которые необходимо иметь в виду при чтении. Хотя изначально сборник и задумывался как русскоязычный, некоторые статьи в нем переведены с эстонского. Это, однако, малозаметно. По своей форме текст не претендует быть научным трудом — здесь нет привычного научно-справочного аппарата; тем не менее на протяжении всего текста под звездочкой даются пояснения касательно сложных терминов, имен исследователей и упоминаемых автором исследовательских трудов — за это, полагаю, стоит поблагодарить редакторов издательства. Но за что точно нельзя поблагодарить издательство Aleksandra, так это за помещение года написания статьи в ее конец, потому что в предисловии Э. Тинн указывает, что на этот аспект желательно обращать внимание при чтении, особенно если статья на политическую тематику. К сожалению, чтобы следовать совету автора, читателю постоянно приходится листать книгу туда-сюда. Во-вторых, как уже сказано, Э. Тинн обозначает в предисловии свою идейную позицию: автор выступает против евразийских тенденций, которые распространяются в России. Для него наша страна является прежде всего страной европейской культуры и европейских ценностей. Обоснованию этого тезиса посвящена часть статей и эссе, вошедших в этот том. На таком пристальном внимании Э. Тинна к России мне хочется остановиться и обсудить вопрос, вынесенный в заголовок: зачем, собственно, эстонцу нужно понимать Россию?

У эстонцев по сравнению с другими европейскими народами есть неоспоримое преимущество в стремлении понять Россию — эстонская культура сформировалась под влиянием и европейской немецкой, и русской. Особенно тесным взаимовлияние было во времена СССР. В последние три десятилетия Эстония взяла курс на Запад и вместе со свободой позаимствовала формалистский подход западных исследователей к происходящему в России. Вместо реализации собственного духовного потенциала эстонцы и эстонские интеллектуалы пошли по пути вторичности, неоригинальности, а в качестве ориентира выбрали аналитическую философию, предав забвению наследие европейских философов. За это своих соотечественников и критикует Эдуард Тинн, предлагая альтернативный путь, который хоть и требует больших усилий и автономности со стороны эстонцев, но позволит Эстонии стать если не европейским центром исследования России, то интеллектуальным «посредником» между Россией и Европой. И только сделавшись таковыми, проникнувшись историей и культурой России, поняв мировоззрение и загадочную русскую душу, эстонские интеллектуалы смогут стать знатоками русского мира и тем самым

обогащать европейскую политику. Кстати, идею Эстонии как посредника можно обнаружить не только имплицитно содержащуюся в тексте, но и на уровне структуры книги: разделы «Россия», «Эстония» и «Европа» идут последовательно и образуют смысловое ядро сборника.

Зачем вообще нужно такое посредничество? Между Западом и Россией всегда была и будет принципиальная разница, суть которой Э. Тинн определяет через две пары понятий: рассудок и разум — по Канту, эпистему и софию — по Аристотелю. В отличие от Запада Россия меньше тяготеет к *рассудочности*, логическому осмыслению, упорядочиванию действительности, у нас мышление склонно к *разумному* постижению мира, бесконечному поиску смысла жизни. Э. Тинн выделяет три базовых различия в ценностях, которые отсюда проистекают:

- вместо человеческой жизни наивысшей ценностью представляется идея;
- свобода понимается и толкуется скорее в духе Гегеля (гарантом ее является государство), а не в духе Канта;
- справедливость противопоставляется праву и принципу его верховенства.

Даже при этих различиях автор утверждает, что Россия — «Европа, но более архаичная Европа» (с. 247), потому что предпочтение эта страна отдает классическим европейским ценностям, а не современным неолиберальным. В предисловии Э. Тинн даже пишет, что Россия «не может не отстаивать» их (это одна из ключевых идей сборника, на мой взгляд), и причина этого — в логике развития страны. Если западные историки «грешат» в толковании этого вопроса излишним рационализмом, то отечественные в исторических исследованиях склонны к мифотворчеству, придают большое значение мифам и выдумкам. Это тоже одно из следствий различия в мышлении, которое не может быть преодолено непосредственно. Единственным исключением здесь оказывается русский европеец. Европейство — это понятие ценностное, поэтому русский европеец не просто может, но даже обязан защищать классические европейские ценности и на Западе, и в России — это то, что его определяет. К классическим европейским ценностям Э. Тинн относит личность, гуманизм, честь, достоинство, родину, семью, совесть, справедливость, суверенитет — все то, что в современной Европе уходит в забвение.

Европе угрожает исламизация, именно от нее нужно защищать европейские ценности. Исламский мир обращен в прошлое, в Средневековье, которое Европа сумела преодолеть титаническими усилиями через Возрождение, Просвещение и гуманизм. И вот теперь, когда мигранты с Ближнего Востока массово приезжают в Европу, с собой они привозят средневековое мышление — «это

намного серьезней, чем терроризм» (с. 416). Утверждая это, Э. Тинн выступает против глобализма и мультикультурного равенства в европейском пространстве, о котором заявляют и руководства отдельных стран (за исключением экс-канцлера ФРГ А. Меркель), и сам Евросоюз, опасаясь упреков в нетолерантности и расизме: «Уважая все национальные культуры и религии, все же следует ясно понимать, что в Европе именно европейская культура, а не какая-то другая, интегрирует в себя (обогащая при этом и саму себя) все другие культуры» (с. 417). Мультикультурное равенство, конечно, можно считать реакцией на исламскую угрозу, но такая реакция неадекватна классическим европейским ценностям и может привести в конечном счете к самоуничтожению Европы на ценностном, цивилизационном уровне. Это главный страх автора как европейца. Но есть и надежда. Э. Тинн видит ее в России: даже если Европа в один не очень прекрасный момент обнаружит себя мусульманской по ценностям, ее центр сместится в Восточную Европу и Россию — подобно тому, как после падения Константинополя православным центром стала Русь. Именно это культурное пространство станет ковчегом, в котором классические европейские ценности смогут пережить трудные времена Западной Европы, ее новое Средневековье.

Задачу эстонцев и Эстонии в настоящее время Э. Тинн видит в поддержании собственного благополучия: «Мы, эстонцы, небольшой народ, имеющий свои интересы, поэтому нам не следует автоматически перенимать все то, что делается в западных частях Европейского Союза... Мы должны сохранить трезвость ума и думать прежде всего об интересах своей страны и народа» (с. 559). Действительно, Эстония находится на периферии Европы, она прошла большой путь в западном направлении, но «работа в направлении Востока еще только предстоит» (с. 327). Ее могут сделать только европейцы в определенном выше ценностном смысле. Одно из направлений этой работы — изменение национальной политики в отношении русскоязычного населения Эстонии, потому что, как указывает Эдуард Тинн, «в “русском вопросе” мы, эстонцы, — никакие не европейцы, а узко мыслящие псевдопатриоты» (с. 531) и «русские в Эстонии — это ведь ценность» (с. 533). Таким образом, без преувеличения можно заключить, что глубокое понимание России эстонцами важно не только с точки зрения интеллектуального посредничества. Это прежде всего залог благополучия самой Эстонии, сохранения ее суверенитета (языкового и культурного в том числе) и преодоления нерелексивного заимствования современных европейских тенденций.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

Кантор В. К. Эстония как любовь и как проблема // *Философические письма*. Русско-европейский диалог. 2022. Т. 5, № 3. С. 11–32.

Тинн Э. Запад и Россия — разные модели мышления // *Философические письма*. Русско-европейский диалог. 2021. Т. 4, № 1. С. 123–130.

References

Kantor, V. K. (2022) “Estonia as Love and as a Problem”, *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 5(3), pp. 11–32. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2022-5-3-11-32.

Tinn, E. (2021) “The West and Russia — Different Thinking Models”. *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 4(1), pp. 123–130. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2021-4-1-123-130.

Информация об авторе: Алина Андреевна Жукова — стажер-исследователь Международной лаборатории исследований русско-европейского интеллектуального диалога Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Адрес: Российская Федерация, 105066, Москва, ул. Старая Басманная, д. 21/4.

Information about the author: Alina A. Zhukova — Research Assistant at the International Laboratory for the Study of Russian and European Intellectual Dialogue, National Research University “Higher School of Economics” (HSE University). Address: 21/4 Staraya Basmannaya Str., Moscow, 105066, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 24.02.2023;
принята к публикации 10.03.2023.

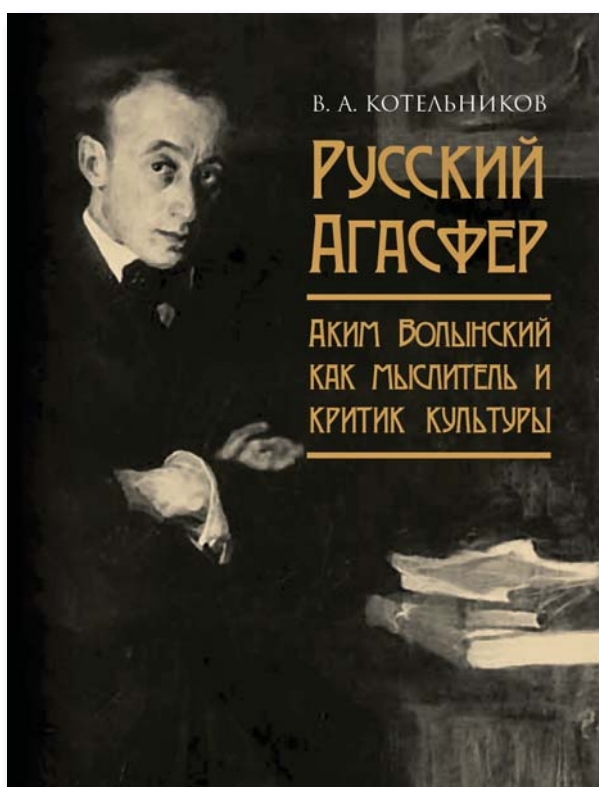
The article was submitted 24.02.2023;
accepted for publication 10.03.2023.

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2023. Т. 6, № 1. С. 243–247.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2023. Vol. 6, no. 1. P. 243–247.

ЗЕРКАЛО ГУТЕНБЕРГА

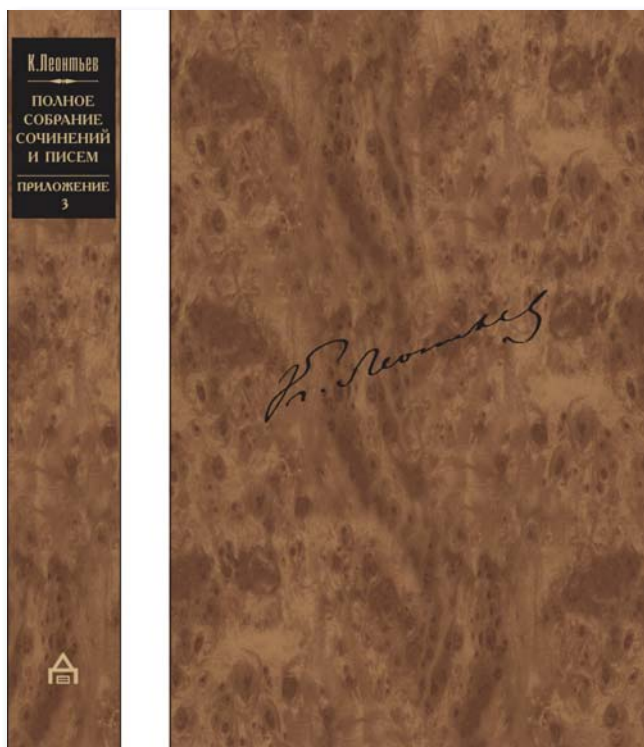
Редакция журнала «Философические письма. Русско-европейский диалог» представляет читателю новые книги, вышедшие в 2021–2023 годах



Котельников В. А. Русский Агасфер: А. Волынский как мыслитель и критик культуры. — СПб.: Владимир Даль, 2023. — 509 с.

В книге рассматривается многообразная деятельность русского мыслителя, литературного, театрального и балетного критика, искусствоведа Акима Львовича Волынского (1863–1926), его сложная эволюция, в ходе которой он от аналитического углубления в наследие Б. Спинозы и И. Канта пришел к своему «критическому идеализму» и с этой позиции обратился к исследованию русской литературы и критики XIX – начала XX веков. Значительнейшими результатами такой работы стали его книги «Ф. М. Достоевский», «Н. С. Лесков», «Русские критики».

Более трехсот его статей о балете и «Книга ликований» составляют своеобразную «философию танца» в эпоху расцвета русского балета в первой четверти двадцатого века. Как искусствовед он создал фундаментальные труды о Леонардо да Винчи и Рембрандте. В книге использованы многочисленные историко-культурные материалы, в том числе извлеченные из архивов, и впервые публикуется работа Волынского «Гиперборейский гимн», сопровождаемая подробным комментарием.

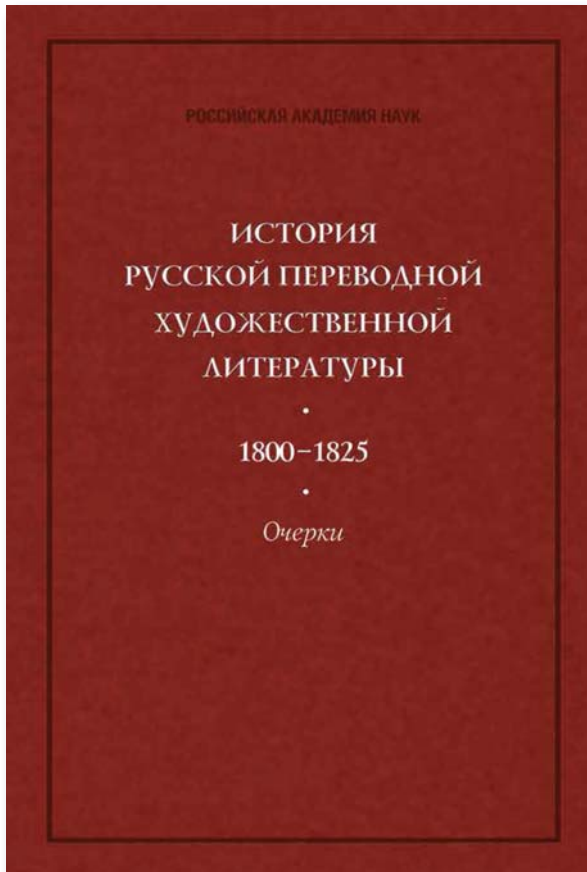


Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем в 12 томах. Приложение. Кн. 3. Летопись жизни и творчества К. Н. Леонтьева (1831–1891). Ч. 1: 1831–1880 / Сост. О. Л. Фетисенко. — СПб.: Владимир Даль, 2022. — 703 с.

Леонтьев К. Н. Полное собрание сочинений и писем в 12 томах. Приложение. Кн. 4. Летопись жизни и творчества К. Н. Леонтьева (1831–1891). Ч. 2: 1881–1891 / Сост. О. Л. Фетисенко. — СПб.: Владимир Даль, 2022. — 735 с.

Впервые созданный хронологический свод, посвященный жизни и творчеству Константина Николаевича Леонтьева (1831–1891), подготовлен на основе завершеного в 2021 году Полного собрания сочинений и писем этого выдающегося русского мыслителя и писателя, дополняет его и может послужить фактологической основой для будущих исследований. Здесь в сжатом виде собрано и систематизировано все, что известно о биографии К. Н. Леонтьева, его предках, круге общения, прижизненной рецепции его творчества. В научный оборот впервые вводится множество архивных документов и материалов

редкой периодики, оставшихся за рамками историко-литературного комментария к упомянутому собранию. Издание состоит из двух книг (1831–1880 и 1881–1891 годы) и сопровождается библиографическими и предметными указателями. Книги адресованы не только специалистам-гуманитариям, но и широкому кругу читателей, интересующихся русской культурой.



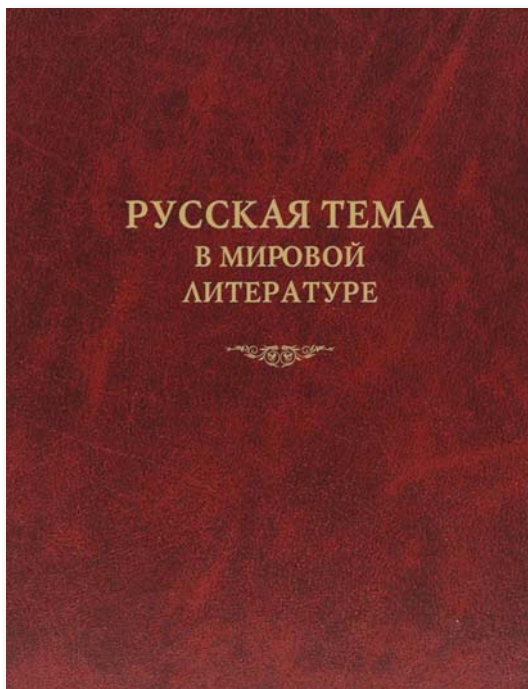
История русской переводной художественной литературы 1800–1825 гг.: Очерки / Отв. ред. В. Е. Багно, Е. Е. Дмитриева, М. Ю. Коренева. — СПб.: Нестор-История, 2022. — 712 с.

Коллективная монография Отдела взаимосвязей русской и зарубежных литератур является продолжением «Истории русской переводной художественной литературы» под редакцией Ю. Д. Левина, вышедшей в свет в 1995–1996 гг. и охватывавшей период от Древней Руси до конца XVIII в. В основу нового тома положен «национальный принцип», предполагающий рассмотрение материала по отдельным странам, из которых выбраны наиболее значимые для русского культурного пространства в 1800–1825 гг.: Франция,

Англия, Германия, Италия и Испания. Особое место в этом ряду занимает античная литература, «вечный спутник» литературы отечественной, которому посвящена отдельная глава данного коллективного труда. Внутри каждого раздела материал распределяется по жанрам (поэзия, проза, драма).

Фронтальный просмотр вышедших в эти годы переводов, сличение их с оригиналами, анализ откликов в печати, в письмах и воспоминаниях участников литературного процесса, позволил представить общую картину бытования переводной литературы внутри русской литературы, выявить литературные приоритеты эпохи, читательские предпочтения, очертить формирующийся русский канон европейской литературы, не всегда совпадающий с канонами, существовавшими внутри описываемых европейских литератур, и отличающийся от современного канона, принимаемого за основу в истории европейских литератур. Особое внимание уделено переводческим принципам данного периода, рассматриваемых в контексте становления русского литературного языка, а также критике перевода и формирующимся критериям оценки переводного текста.

Общий объем коллективной монографии — 65 а. л.



Русская тема в мировой литературе: Коллективная монография / Алексеев М. П., Дмитриева Е. Е., Заборов П. Р. и др. — СПб.: Нестор-История, 2023. — 360 с.

Подводя итоги в статье «Борис Годунов и Дмитрий Самозванец в западноевропейской драме», академик М. П. Алексеев, выдающийся гуманитарий XX в., писал: «Наш обзор закончен. Возможны ли еще обновления сюжета о Дмитрие и Борисе — покажет будущее. Но уже теперь следует признать, что этот сюжет за свои трехвековые странствования по мировой литературе дал немало крупнейших драматических произведений огромного литературного значения.

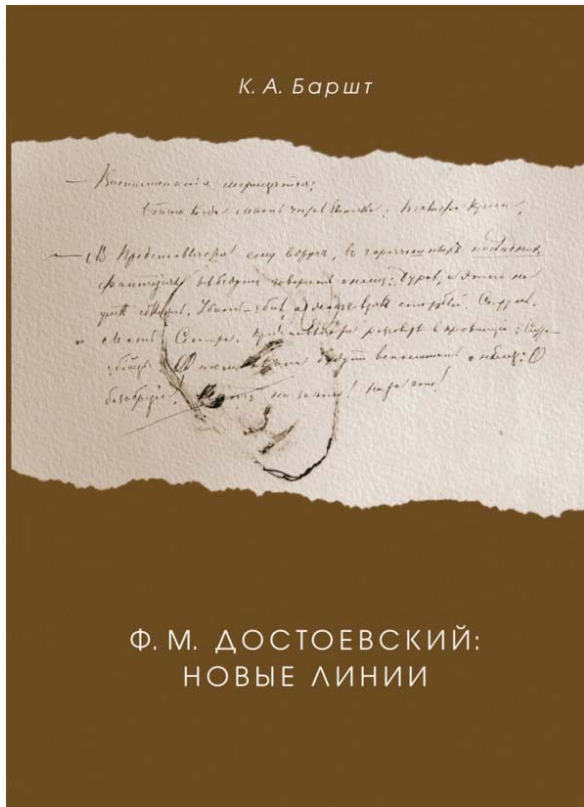
Вариации его были многочисленны и раз-

нообразны — от обстановочных исторических драм с занимательной интригой к трагедиям большого философского смысла». Этими же словами можно было бы охарактеризовать в целом все те художественные произведения, которые посвящены русской теме и русским темам в зарубежной художественной литературе. «Обновления сюжета», т.е. выявление и анализ новых фактов, имеющих отношения к огромному массиву литературных текстов на всех языках мира, в которых Россия и русские увиденны сквозь призму интересов, осведомленности и прозорливости различных народов, не прекращаются.

Ученики и единомышленники М. П. Алексеева, авторитетные специалисты в области изучения международных связей русской литературы, как отечественные ученые, так и их коллеги из Италии, Польши, Южной Кореи и Бразилии, показывают, как частные события отечественной истории, через литературы стран Востока и Запада, не только формируют образ России в мире, но становятся фактами мировой истории. В их работах затронуты такие вопросы, как восприятие России в мире: культурные стереотипы и литературные клише; «русское присутствие» в произведениях зарубежных авторов; отражение тематики, проблематики и сюжетно-образной системы русской литературы в иностранной словесности и многие другие.

Представленные в коллективной монографии исследования позволяют расширить и уточнить наши представления о «русской теме» в немецкой, французской, английской, испанской, итальянской, австрийской, польской, грузинской, китайской, корейской и бразильской литературах XVI–XX вв.

Общий объем коллективной монографии — 24 а. л.



Баршт К. А. Ф. М. Достоевский: Новые линии. — СПб.: Нестор-История, 2022. — 544 с.

Книга доктора филологических наук К. А. Баршта содержит новые сведения о творческом процессе писателя, об истории создания его романов, выдвигает новые версии прототипов ряда его произведений, раскрывает смысл не прочитанных ранее записей в его записных тетрадях, анализирует перспективы инновационных текстологических решений при изучении и публикации черновых рукописей писателя, а также роль, которую сыграло в его жизни и творчестве знакомство с трудами архимандрита Феодора (А. М. Бухарева).

Книга предназначена для широкого круга читателей, включая студентов филологических факультетов и специалистов в области изучения истории русской литературы.

Багно В. Е. Под абсурдинку: 11 / Предисловие А. Ю. Арьева. — СПб.: Вита Нова, 2021. — 40 с.

Книга известного петербургского филолога Всеволода Багно — сборник комических текстов в афористическом жанре: каламбуров, парадоксов, алогизмов. Используя в названии созвучие слов «сурдинка» и «абсурд», автор приглашает читателя к своеобразной игре, основанной на неожиданном смешении смыслов, обнажении парадоксальных стереотипов современного языка и массового сознания. Это уже одиннадцатая книга В. Е. Багно в этом жанре: первый по счету сборник «Под абсурдинку» вышел в 2001 году, десятый — в 2019-м.

Научный электронный журнал
Философические письма. Русско-европейский диалог
2023. Т. 6, № 1

ISSN: 2658-5413

Журнал основан в 2018 году.
Периодичность: 4 раза в год

Учредитель и издатель — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Адрес: Российская Федерация, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 77668 от 17 января 2020 года

Главный редактор *В. К. Кантор*
Зам. главного редактора *М. С. Киселева*
Ответственный секретарь *А. А. Доронина*
Шеф-редактор *С. М. Малков*
Редактор-практикант *Е. А. Гуреева*
Серийное оформление *П. П. Ефремов*
Верстка *И. Ю. Кротов*
Корректор *М. В. Нагришко*

Публикуемые материалы прошли процедуры рецензирования
и экспертного отбора.

Адрес редакции: Российская Федерация,
105066, Москва, ул. Старая Басманная,
д. 21/4, стр. 1, каб. 217
Телефон: +7 (495) 772-95-90 доб. 12786
E-mail: philletters@hse.ru
Сайт: <https://phillet.hse.ru>

Номер вышел в свет
20 марта 2023 года.

Эл. почта: philleters@hse.ru

Веб-сайт: phillet.hse.ru